

НИЖНИЙ  
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 4 ( 1 1 ) / 2 0 1 6



ЗАХАР  
ПРИЛЕПИН  
Нижний Новгород

4



ИГОРЬ  
ГРАЧ  
Нижний Новгород

34



АННА  
РЕВЯКИНА  
Донецк

43



АНДРЕЙ  
ШЕВЦОВ  
Тюмень

47



ЕВГЕНИЙ  
ШИШКИН  
Москва

50



ПАВЕЛ  
ТУЖИЛКИН  
Саров

65



ЕВГЕНИЯ  
КАРЕЗИНА  
Нижний Новгород

78



ВЛАДИМИР  
ГОФМАН  
Нижний Новгород

87



ИННА  
КАБЫШ  
Москва

95



ВЛАДИМИР  
РЕШЕТНИКОВ  
Семёнов

106



СЕРГЕЙ  
ЕСИН  
Москва

151



МАКСИМ  
АМЕЛИН  
Москва

226



АЛЕКСЕЙ  
ИВАНОВ  
Пермь

232



ЮЛИЯ  
ЗАЙЦЕВА  
Пермь

232



АЛЕКСАНДР  
РЯБОВ  
Нижний Новгород

241

## В НОМЕРЕ

### Внутри эпохи

**Захар ПРИЛЕПИН**

ПЁТР ЧААДАЕВ: «НАЧАЛО, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ НАС СТОЛЬ ОТВАЖНЫМИ» . . . 4

### Поэзия

**Игорь ГРАЧ**

ДОНБАССКОЕ ИНФЕРНО . . . . . 34

**Анна РЕВЯКИНА**

А В ДОНЕЦКЕ СНОВА ГУДИТ ЗЕМЛЯ... . . . . 43

**Андрей ШЕВЦОВ**

...И ПРОТРУБИТЬ В КОРОВИЙ РОГ НАД РУСЬЮ . . . . . 47

### Проза

**Евгений ШИШКИН**

*Из цикла «ГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКА»*

УБЕЙ НЕМЦА . . . . . 50

КАВАЛЕР . . . . . 57

ЛАПТИ . . . . . 61

**Павел ТУЖИЛКИН**

ДЕДУНЯ ФЕДУНЯ . . . . . 65

**Евгения КАРЕЗИНА**

ОДЕРЖИМАЯ НАТАЛЬЮШКА . . . . . 78

**Владимир ГОФМАН**

ДВА ТИМОФЕЯ . . . . . 87

### Поэзия

**Инна КАБЫШ**

...И МНЕ УЖЕ НЕ СТРАШНО БЫТЬ ВТОРОЙ . . . . . 95

**Бахыт КЕНЖЕЕВ**

ЭЛЕГИИ . . . . . 99

**Евгений ЧИГРИН**

СТИХАМИ КОЛЕБЛЕТСЯ МОРЕ.... . . . . 103

**Владимир РЕШЕТНИКОВ**

ПОНАПРАСНУ ТВЕРДЯТ: МЫ БЕЗРОДНЫЕ... . . . . 106

### Проза

**Марина НЕКРАСОВА**

УЛИЦА ЖЁЛТЫХ ФОНАРЕЙ . . . . . 109

**Дмитрий ФИЛИПШОВ**

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ . . . . . 118

**Соня АЛЕКСАНДРОВА**

ПРЕКРАСНЫЕ РЕПЕЙНИКИ . . . . . 130

<b>Елена ТУЛУШЕВА</b>	
ОДИННАДЦАТЬ ПЛАТЬЕВ . . . . .	135
<b>Дмитрий ФАМИНСКИЙ</b>	
СЕВЕРНЫЕ ЛЮДИ. . . . .	143
<b>Дмитрий КАЛИН</b>	
ФОТО НА ПАМЯТЬ . . . . .	147

Публицистика

<b>Сергей ЕСИН</b>	
ДНЕВНИК-2014. . . . .	151

Стихи по кругу

<b>Максим АМЕЛИН</b> . . . . .	226
<b>Виктор МАХРОВ</b> . . . . .	227
<b>Рустам МАВЛИХАНОВ</b> . . . . .	228
<b>Александр ВДОВИН</b> . . . . .	229
<b>Петр РОДИН</b> . . . . .	230

Из будущих книг

<b>Алексей ИВАНОВ, Юлия ЗАЙЦЕВА</b>	
ДЕБРИ. Книга по истории российской государственности в Сибири: от Ермака до Петра (фрагменты). . . . .	232

Литпроцесс

<b>Александр РЯБОВ</b>	
ДАРВИН? О романе Романа Сенчина «Зона затопления» . . . . .	241
<b>Константин ВАСИЛЬЕВ</b>	
КРЫЛАТАЯ ГАЛИМАТЯ. . . . .	254
<b>Юрий НЕМЦОВ</b>	
ПОГОДА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ О романе Алексея Иванова «Ненастье» . . . . .	262

Круг чтения

КТО ЛЮБИТ, МОЖЕТ СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ. О трех новых книгах трех поэтов: Елизавета Емельянова-Сенчина «Кобальт», Владимир Решетников «Вязь», Олег Захаров «Есть повод». . . . .	267
--	-----

### Захар ПРИЛЕПИН

Родился в 1975 году в д. Ильинке Рязанской области. Окончил Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, филологический факультет. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Русский прозаик, публицист. Автор романов «Патологии», «Санька», «Грех», «Чёрная обезьяна», «Обитель», сборников прозы. Лауреат многочисленных премий, в том числе премии «Ясная Поляна» (роман «Санька», 2007), «Супернацбест» (за лучшую прозу десятилетия, 2011), «Книга года» и «Большая книга» (роман «Обитель», 2014).

Секретарь Союза писателей России. Шеф-редактор сайта «Свободная пресса». Живет в Нижнем Новгороде.

### ПЁТР ЧААДАЕВ: «НАЧАЛО, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ НАС СТОЛЬ ОТВАЖНЫМИ»\*

Известный дипломат Карл-Андрэ Поццо ди Борго, корсиканец по происхождению, говорил:

– Если бы я имел на то власть, то заставил бы Чаадаева непрерывно разъезжать по многолюдным местностям Европы, чтобы показывать европейцам русского человека, в высшей степени порядочного.

Бесстрашный гренадер, а затем гусар, офицер, профессиональный военный, «наш первый философ» (оценка Пушкина), один из самых знаменитых российских сумасшедших (таковым не являвшийся) Пётр Яковлевич Чаадаев родился 27 мая 1794 года в дворянской семье.

В «Родословной книге князей и дворян российских и выезжих» записано: «Чаадаевы. Выехали из Литвы. Название получили от одного из потомков выехавшего и прозывавшегося Чаадай, но почему, неизвестно».

Прапрадед Чаадаева был при царе Алексее Михайловиче приближён ко двору, выполнял дипломатические функции, служил воеводой в Киеве после воссоединения Украины с Россией. Как дипломат бывал в Польше, Вене, Венеции. Один из инициаторов «вечного мира»

---

\* Глава из новой книги Захара Прилепина «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы». Готовится к выходу в издательстве АСТ: редакция Елены Шубиной.

с Польшей – по которому поляки отказались от Киева. (Говорим всё это не случайно, потому что польский вопрос будет иметь и для Петра Чаадаева значение, взгляды его во многом определяющие).

Дед пошёл по военной линии, служил офицером в лейб-гвардии Семёновском полку, в какой-то момент якобы сошёл с ума или имитировал сумасшествие (ещё одно семейное лыко в строку), чтобы избежать наказания за взяточничество.

Отец, Яков Петрович Чаадаев, тоже служил в лейб-гвардии Семёновском полку, участвовал в шведской кампании, получил Георгиевский крест. К моменту рождения сына был отставным подполковником. Пробовал себя в литературе: в частности написал под псевдонимом комедию, где высмеял управляющего экономии в Нижегородской губернии. Тот, прочтя комедию, в ужасе и бешенстве, скупил весь тираж.

Мать: Наталья Михайловна Щербатова – дочь историка Михаила Михайловича Щербатова, также отслужившего своё в Семеновском полку. Щербатов едва ли не первый в нашей традиции историк, который выразил некоторые сомнения в безусловном благе петровских реформ, заложивших основы российского западничества.

Род Чаадаева по материнской линии восходил к святому князю Михаилу Черниговскому.

В младенчества Пётр был перевезён в родовое имение – село Хрипуново Ардатовского уезда Нижегородской губернии.

Отец умер, когда ему не исполнилось и года, в 1795-м. В 1797 году умерла мать.

Пётр и брат его Михаил, на два года старше, воспитывались заботливый, влюблённой в них без памяти тётушкой и дельным дядей.

В доме дяди, по собственному признанию, получил образование «дорогое, блистательное и дельное». (У братьев Чаадаевых осталось состояние, оценивавшееся в один миллион ассигнациями и 2718 душ в имениях – нижегородском и владимирском. То есть возможности имелись изначально).

Он отучился в Московском университете, где не раз доставлял преподавателям неудобства своими неординарными знаниями в самых разных сферах.

Ко времени окончания университета Пётр Чаадаев собрал собственную огромную библиотеку более чем в 10 тысяч книг, владел французским, английским и немецким языками, свободно читал по-гречески и по-латыни, знал философию, усвоил философские системы Канта, Фихте и Шеллинга, изучил законоведение, историю, возможно, математику и физику.

Это был уникальный тип.

«Одевался он, – замечал современник, – можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога, напротив того – никаких драгоценностей, всего того, что зовут bijou, на нём никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью».

И далее: «Искусство одеваться Чаадаев возвёл почти на степень исторического значения».

Более того, у него была ещё и репутация лучшего танцора в Москве: новомодную кадрили он исполнял не хуже танцмейстера.

Он был всеобщий любимец и баловень.

По окончании Московского университета, где был одним из первых учеников, поступил, по семейной традиции, в лейб-гвардии Семёновский полк (и брат его тоже).

Переезжает в Санкт-Петербург, где заранее снимает квартиру в семь комнат с мебелью – привычки у него, нет смысла умолчать об этом, сложились богатые.

Но обжиться как следует братья Чаадаевы даже не успели: в марте 1812 года Семёновский полк покинул Петербург – война с Наполеоном приближалась.

Полк входил в пехотную дивизию генерала Алексея Петровича Ермолова, корпусом командовал великий князь Константин Павлович.

12 мая согласно приказу «...недоросли из дворян Михайла и Пётр Чаадаевы определяются в полк подпрапорщиками и приписываются в 3-ю гренадерскую роту».

Гренадеры были отборной частью пехоты. Изначально предназначались они для штурмов и осад. Фузеи – ружья – у гренадеров были немного короче и следовательно легче общепехотных. На вооружение у них помимо ружья со штыком и тесака были ручные гранаты – «гренады» или «гренадки»: полый чугунный шар, заполненный порохом, с фитилём. (На лядунках у гренадеров было изображение горящей гренады).

Гренадкой надо было уметь пользоваться, кто плохо умел – оставался без руки или головы. Пётр Чаадаев – умел. Их учили.

Другой вопрос, что в Отечественную войну гренадеры имели такое же вооружение как пехота, крепостей не брали и с гренадками не таскались.

Боевое крещение семёновцы приняли уже под Бородином. До полудня их полк стоял в резерве (позади правого фланга 2-й армии) – но уже там французская артиллерия достигала их, и были потери.

В разгар сражения Наполеон выдвигает войска по направлению к центральной батарее Раевского, стоящей на кургане, с намерением обойти левое крыло русской армии.

Барклай-де-Толли, разгадав намерение противника, отдал приказал 4-му корпусу вступить в первую линию левее и позади центральной батареи, а за ним в резерве поставил полки Преображенский и Семёновский, под начальством тридцатипятилетнего красавца генерал-майора барона Григория Владимировича Розена.

(Если в Семёновском были братья Чаадаевы, то в Преображенском, по соседству – ещё один блестящий молодой человек, полиглот и большой умница, поэт Катенин. В 4-м корпусе, тоже совсем неподалёку, со своими двумя орудиями некоторое время присутствовал на этих позициях не меньший талант – поэт Владимир Раевский).

Стоять под перекрёстным огнём неприятельской артиллерии преображенцам и семёновцам было не просто: ядра прилетали в строй – и убивали гренадеров, не имеющих возможности врагу ответить. Потом их били картечью, а следом доставали уже и оружейным огнём – но тут, наконец, стало можно было давать ответные залпы.

Дабы избежать лишних потерь, полки, не отступая, смещались, меняя позиции.

В 4 часа дня канонада прекратилась: выехавшая для наступления французская кавалерия закрыла батарею.

И вот атака: уланы и кирасиры, бешеная скорость, жуткое сближение...

Розен с барабанным боем выводит колонну вперед: французская кавалерия встречена и опрокинута в коротком штыковом бою...

Семёновцы потеряли за эти минуты четырёх офицеров и 24 нижних чинов убитыми, не считая раненых.

...здесь, видимо, и выяснилось, что знание философии, привычка к более чем обеспеченной жизни, безупречность внешнего вида и вкус к одежде никак не мешают Петру Чаадаеву стрелять в людей и работать штыком.

За мужество оба Чаадаева были произведены из подпрапорщиков в прапорщики, – именно они: приказ не коснулся всех подпрапорщиков полка.

Более того, только Пётр получил Владимира 4-й степени с формулировкой «отличился мужеством и храбростию в сражении 26-го августа при Бородине».

Этот 18-летний юноша сделал что-то такое, что рядом с ним не сделал никто; и уж точно в бою он был дерзок и самоуверен.

11 сентября, согласно полковым документам, «вновь произведенные прапорщики пишутся в роты Чаадаев 1-й в 7-ю, Чаадаев 2-й в 9-ю роту, коих завтрешняго числа и привести к присяге капитану Пушкину».

Всю кампанию 1812 года Чаадаевы отслужили гренадерами; участвовали в деле под Тарутином – первой серьёзной победе русских, когда были побиты войска Мюрата, – и затем преследовали в составе русской армии бегущих со всё большим и большим позором захватчиков.

Офицер, их сослуживец по Семёновскому полку, Александр Чичерин оставил любопытные записки о своих впечатлениях: собственно говоря, он видел и переживал то, что переживали Чаадаевы.

«7 октября. Как все, я жаловался на наше бездействие. Как все, я не мог удержаться от сравнения отличного состояния нашей армии с тем, что мы узнавали о французской от перебежчиков и пленных; я терялся в предположениях и не мог понять, почему мы словно робеем неприятеля.

Наконец вечером 5-го числа вся армия выступила в поход. Причины, мне неизвестные или слишком позорящие наших генералов, помешали совершить это ранее. Мы перешли Нару. Французы стояли в пяти верстах от реки. Десять кавалерийских полков атаковали их с тыла, а Багговут – с левого фланга; панический ужас овладел неприятельскими войсками, они побросали весь свой обоз; канавы забиты различными экипажами, овраги и кусты завалены снарядами ящиками и лазаретным снаряжением. Захвачено 33 орудия и множество пленных. До самой ночи мы преследовали бегущих в беспорядке, а затем наша армия немедля вернулась на свои позиции.

Мы находились всё время в пяти верстах от огня. Сражение ни разу не достигло такого напряжения, чтобы можно было опасаться за его исход...

Время нами использовано не так уж плохо, а главное – дух наших солдат поднялся от сего удачного нападения; неприятельская же армия, должно быть, пришла в полнейшее расстройство. Пользоваться артиллерией французы уже почти не смогут. И – что всего важнее – их солдаты, привыкшие к тому, что мы отступаем, теперь так поражены неистовством нашего нападения, в такой ужас пришли от ярости, увлекавшей вперед наших храбрецов во время атаки, что теперь дух неприятельских войск, надо думать, совершенно упал».

«6 ноября... 4-го утром нас поставили на биваки. 5-го армия имела сражение, а мы разбили лагерь здесь, в пяти верстах от Красного. Вчера

утром, когда началось дело, мы шли полями. Сегодня мы оказались на том же месте, в нескольких верстах от Красного. Пленных берут партиями непрестанно, они складывают оружие без боя, сами выходят сдаваться и идут к нам, не дожидаясь нападения».

«28 ноября. Ершевичи. Меня очень тревожит тяжелое положение нашей армии. Гвардия уже двенадцать дней, вся армия целый месяц не получает хлеба, тогда как дороги забиты обозами с провиантом и мы захватываем у неприятеля склады, полные сухарей. В чем же дело? Да в том, что артиллерийский обоз, столь же громоздкий, сколь бесполезный, загородил дорогу, что, находясь в 150 верстах от неприятеля, у нас не умеют устроить этапы.

Разве нельзя извинить солдата, измученного голодом, знающего, что, придя на место, он должен будет ночевать на открытом воздухе у разведенного им самим костра, если он попытается задержаться в деревне, где всего изобильно?

Когда мы вышли из Петербурга, в наших ротах было по 160 человек. Ранеными и убитыми в Бородинском сражении выбыло не более десятка на роту. А теперь в каждой остается едва 50–60 солдат».

«8 декабря. Видишь тех, кто валяется на снегу, не в силах шевельнуться, не в силах произнести последнюю мольбу, но еще дышит? Видишь телеги, наполненные трупами, которые будут ввержены в пламя? И это еще счастливейшие среди сих отверженных судьбой... Должно быть у меня сильно закружилась голова, когда я проходил по коридорам и помещениям этой тюрьмы, где был сегодня в карауле... Поистине я не в силах передать ужас, охвативший меня сегодня утром. Страшное зловоние, которым был полон двор, заставило меня броситься прочь. Я вошел в кордегардию... Надо было видеть, с какой жадностью французы оспаривали друг у друга сухари, которые им принесли... Ежеминутно какой-нибудь несчастный протискивался к окну, прося хлеба, со двора слышались ужасные вопли, каждую минуту пронесли мертвецов, кругом вспыхивали ссоры, выворачивающие душу, – и я страдал так, словно сам был в положении этих несчастных. В этой же кордегардии находилась молодая голландка с обмороженными ногами; она была маркитанткой в армии и попала в плен к казакам, которые ее ранили; какой-то генерал хотел взять ее к себе, а пока что она оставалась здесь...»

«30 декабря. Молодой драгунский офицер в начале кампании дезертировал и уехал в Вильну к своей сестре; когда наша победная армия вступила в этот город, его нашли, судили и приговорили к расстрелу. Казнь должна была совершиться сегодня. На улице замечалось сильное движение, все наши ушли смотреть казнь. Облака затянули небо... я оделся, вышел из дому и последовал за толпой, как идут, чтобы увидеть нечто любопытное, не ожидая себе приятности, но не испытывая волнения!

На берегу Немана перед ямой и столбом выстроился отряд в 600 человек, впереди стояли 16 лучших стрелков. Я... услышал, что ведут преступника. Повернув голову, я увидел его в сопровождении стражи. Он опирался на руку своего духовника, читавшего молитвы. Перед ямой он остановился, исповедался, выслушал приговор и высказал свою последнюю волю. Наконец религиозная церемония окончилась, стрелки сделали шаг вперед, на него надели саван, подвели и привязали к столбу...

Раздался роковой выстрел, за ним последовал залп, кровь брызнула из ран, предсмертные муки сотрясли тело преступника... Несчастного отвязали, тело еще подёргивалось, и, чтобы прикончить его, в него ещё несколько раз выстрелили в упор, словно это была просто мишень, а не

человек, подобный тем, кои его убили. Наконец тело бросили в яму; я прошёл мимо нее, даже не вздохнув».

(Это был корнет Нежинского драгунского полка Городецкий, поляк по национальности, умышленно отставший от своего полка во время отступления русских войск).

По итогам русской кампании оба брата Чаадаевых были награждены: медаль участника войны 1812 года с выбитыми на ней словами «Не нам, не нам, а имени Твоему».

Зимой 1813 года, в Польше, Пётр заболел горячкой. Лежал у какого-то местного еврея в бреду. Через две недели его выносили.

Чаадаев вернулся в строй: начинался заграничный поход русской армии.

Люцен, Бауцен, Кульм, Лейпциг – он участвовал во всех этих сражениях (равно как и Павел Катенин; под Бауценом были также Денис Давыдов и Фёдор Глинка, а при Кульме – поэт Батюшков).

Дела под Люценом (в апреле 1813-го по старому стилю) и под Бауценом (8–9 мая) по результатам заканчивались вничью, хотя перевес был всё-таки на стороне Наполеона – гениального, что тут говорить, – полководца.

После Бауцена, Чаадаев в составе своей роты был в арьергарде.

Наполеон тогда лично возглавил преследование войск союзников, пытаясь навязать им бой – однако умелые действия генерала Ермолова, командовавшего арьергардом, не дали никаких шансов французам.

Но самой страшной битвой в послужном списке Чаадаева – была Кульмская.

Почти сорокатысячному корпусу наполеоновского генерала Вандама было поручено отрезать от Теплицкого шоссе отступающую Богемскую армию (командовал ей австрийский фельдмаршал Шварценберг, в состав входила русско-прусская армия).

Вандаму противостоял отряд генерала Евгения Вюртембергского и гвардейская пехотная дивизия Ермолова, где и служили братья Чаадаевы. Всего – 17, 5 тысяч человек. Командование над сводным войском поручили генералу Александру Ивановичу Остерману-Толстому.

Остерман-Толстой понимал, что, выступая против Вандама, имеющего колоссальное численное превосходство – более чем в два раза, он обречён на страшные потери и поражение.

Но выбора не оставалось: в случае выхода корпуса Вандама к Теплицу французы могли перекрыть узкий путь через Рудные горы, и тогда Богемской армии (при которой находились русский император Александр I и король Пруссии), грозило окружение, полный разгром, пленение или смерть. Такие ставки были.

28 августа произошёл бой у Гисгюбеля: французы преградили войскам Остермана-Толстого путь. После решительной и яростной атаки преобразенцев (в этом полку служил Павел Катенин) во главе русской колонны встал Семёновский полк.

В течение одного дня не раз пришлось участвовать в рукопашных и в перестрелках с малого расстояния. За всю войну до этого дня не было ничего подобного.

(Стоило бы где-то у Гисгюбеля разместить памятную доску: всё-таки здесь, спасая европейских монархов, ходили в штыковую сразу два будущих русских классика: часто ли такое случалось?)

К вечеру уцелевшие русские войска собрались к Гисгюбеле. Часть их была отрезана и свернула на другую дорогу. Погибло людей больше,

чем за предыдущий год, но цель уже была достигнута – наши войска встали лицом к неприятелю, заслонив от него союзную армию.

29 августа в десять утра Вандам начал наступление.

Перед самым началом битвы к Остерману прибыл адъютант прусского короля генерал К.Ф. Кнезебек, сообщив, что «все колонны армии и император Александр всё ещё находятся в горах, что от твёрдости русских воинов теперь зависит участь армии».

После арьергардной схватки семёновцы и остальные полки отошли от Кульма в сторону Теплица и закрепились у селения Пристен, растянувшись в две линии и перекрыв дорогу на выходе из ущелья.

Сначала была отбита атака авангарда Вандама.

В 12 часов пополудни Вандам скоординировал общий штурм русских позиций.

Сражение развернулось на горных склонах вдоль дороги Кульм–Теплиц. Позиции для русских были весьма сомнительные – но выбора не имелось.

Вандам не стал ждать сосредоточения всех своих сил и вводил части в бой по мере их прибывания. Первой пошла в атаку бригада Рейсса (6 батальонов). Она атаковала русские позиции у селения Страден. Однако атаку противника отразили, а командир французской бригады принц Рейсский, погиб. Ермолов поддержал контратаку, введя в бой Семёновский полк, и французы отступили.

(Один из приказов Ермолова гласил: «Колоннам, идущим в атаку, бить в барабаны... В атаках, на неприятеля производимых, войскам воспретить кричать: “ура”. Разве в десяти уже от неприятеля шагах, тогда сие позволяется»)

Успели прокричать «ура!» Чаадаевы в тот раз?)

На первом этапе сражения был тяжело ранен Остерман-Толстой: его перебитая ядром левая рука висела на суставе.

Далее цитируем «Походные записки русского офицера» Ивана Лажечникова, описавшего ту ситуацию: «Вынесенный с поля сражения, готовясь к труднейшей операции, при дверях гроба – он весь на поле битвы; он весь среди храбрых своих сподвижников! “О чём плачете вы? – говорит он с твёрдостью патриота и христианина. – Левая рука у меня лишняя: осталась ещё другая для защиты Отечества, служения государю и творения святого креста!”»

Остерман-Толстой выбрал молодого врача и приказал: «Твоя физиономия мне нравится, отрезывай мне руку».

Во время операции он приказал солдатам петь русскую песню. Вместо Остермана командование принял генерал Ермолов.

(Чаадаев, конечно, ничего из выше описанного сам не видел; но если не в тот же день, то на следующую историю эту наверняка узнал).

Тем временем битва только разгоралась.

Около 14 часов к Вандаму подошла дивизия Филипона (14 батальонов).

Ближе к пяти часам Вандам атаковал левый фланг русских двумя колоннами. Французские колонны прорвали позиции русских, овладели селением Пристен на дороге, захватили русскую батарею, но снова нарвались на штыковую контратаку батальона Семёновского полка.

Чаадаевы со штыками наперевес кололи врага – крик, выпущенные кишки, кошмар; в ходе контратаки отбили, между прочим, несколько орудий.

Из донесения генерала Ермолова: «К вечеру 29 августа в Теплиц, цель Вандама, вошли отступающие из-под Дрездена русские войска ос-

новой армии Барклай-де-Толли, при которой находились также царь Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III».

30 августа начальство над сражением принял командующий прусско-русской армией Барклай-де-Толли. Царь Александр I с утра наблюдал за развернувшимся сражением с высокой горы близ Теплица.

В тот день союзники разбили неприятеля.

По итогам сражения около 12 тысяч французов во главе с Вандамом организовано сдались в плен, вся их артиллерия (80 орудий) стала трофеем русских и пруссаков.

Общие потери русских составили шесть тысяч человек. Но больше всего погибших пришлось на долю именно у Семёновского полка: 900 человек убитыми и ранеными из 1800 списочного состава. Половина! Это ж какая трёхдневная резня должна была идти, чтоб выбить каждого второго.

Выжившие, все заляпанные своей и чужой кровью, семёновцы запомнили момент: когда они, с победой, возвращались с поля боя, прусские полки встретили их восторженным: «Ура!»

Чаадаевы не досчитались огромного количества сотоварищей, с которыми отвоевали год.

«За храбрость в кульмской битве прапорщик Пётр Чаадаев был награждён орденом св. Анны 4-го класса». А он даже ранен не был: своя звезда хранила.

Впоследствии Семёновский полк получит Георгиевское знамя с надписью «За оказанные подвиги в сражении при Кульме».

Все русские гвардейцы будут награждены специальной наградой прусского короля – Кульмским крестом, или, как его именовали, Знаком отличия Железного креста. К награждению этим крестом было представлено 12 066 человек, но награду смогли получить в 1816 году лишь 7131 уцелевших: почти половина погибли в последующих сражениях или умерли от ран.

В Теплице армия простояла полтора месяца: хоронили товарищей, лечились, пили, вспоминали только что здесь творившееся.

Обеспечение, правда, было сомнительное: питались картофелем и фруктами; с какого-то момента стало настолько мучительно, что – любой марш, лишь бы тут не стоять.

Дожидались Польскую армию, которая должна была явиться в помощь.

Наконец дождались; путь далее лежал к Лейпцигу, до него было шесть переходов.

«Битва народов», случившаяся там в октябре 1813-го – главное событие всей кампании.

Пока остальные армии союзников ещё подходили (Польская, к примеру, и здесь не спешила, находясь в 40 километрах), Наполеон собрал 120 тысяч человек на юге Лейпцига, чтоб разбить Богемскую армию.

В том сражении ряд ключевых решений принял император Александр I, навязавший союзникам свою волю и по сути спасший Богемскую армию от разгрома.

На третий день сражения Наполеон упустил инициативу и принял решение отступить.

Финал битвы был катастрофичным для войск Наполеона: отступление происходило через реку Эльстер по единственному мосту. После его подрыва в Лейпциге оказались запертыми четыре французских маршала со своими войсками. Среди них был легендарный польский

военачальник Юзеф Понятовский, участник похода 1812 года. Пытаясь переплыть Эльстер, он утонул.

Союзники взяли в плен 30 тысяч человек.

Русские потеряли в том страшном сражении 22 тысячи человек.

Наполеон отступал за Рейн.

Безусловная потеря Наполеоном позиций в Европе омрачалось состоянием русской армии. Главнокомандующий Барклай-де-Толли писал Александру I: «При всех, однако, громких успехах кампании нынешней признаться надо... она стоит нам половины армии... Есть полки, в коих налицо уже не более 100 человек... В амуниции, и особливо в сапогах, рубахах, одежде, солдаты терпят крайнюю нужду».

Позволим себе процитировать неизданные записки сослуживца Петра Чаадаева, прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Михайловича Казакова, из них станет ясен тот быт, которым жил до какой-то поры и Чаадаев тоже.

«В приказах по армии был строго запрещен грабеж (как бывает в неприятельской земле), и велено было обращаться как можно осторожнее с огнем. Всё это прекрасно, но неисполнимо: как только армия приходит на место, назначенное для ночлега, тотчас наряжаются команды для фуражировки, за кормом для лошадей, за дровами, соломой, водою – не есть ли это тот же грабеж, – и близ лежащая селения около сотысячной армии, ночующей на бивуаках, оказываются разоренными и разграбленными, несмотря ни на какие приказы. Назначается офицер, с каждой роты по унтер-офицеру и 25 рядовых, что составит человек 300 с полка. Команда идет в порядке до селения, где все распускаются, для поисков нужного и необходимого. Жители большею частью уходят или скрываются. Спрашивается: как сохранить порядок там, где селение растянуто на полуверсте, да еще, как это большею частью случается, в ночное время. Первые пришедшие на бивуак скоро и легко достают нужное, а последние по неволе должны вместо соломы стаскивать крышу, а на дрова избы разбирать; можно ли усмотреть, чтоб они не пошершили и не стянули бы чего вовсе ненужного. Мне случилось раз зимой, в небольшой деревушке, почти разграбленной, видеть, как стащили соломенную крышу с одной избы, в которой поместился наш главнокомандующий Барклай, и каково же было мое положение, когда он вышел поспешно из избы и стал смотреть, как снимают солому и стропила, которые зимой не нужны, так как дождя не бывает. Когда же жандармы и казаки стали сгонять с крыши фуражиров, то Барклай, смеясь, приказал их не трогать, чтоб не замерзли и не остались бы без пищи. Не есть ли это чистый, систематически организованный разбой и грабеж, которого нет возможности избежать... Фуражиры нередко прикатывали, вместо воды, бочки с вином. Скот был брошен по полям и деревням, так что мяса иногда бывало очень много и резались такие коровы красавицы, которых трудно нарисовать; а начальники, от которых поступали строжайшие приказания – не жечь и не грабить, – преспокойно кушали чудную говядину, сваренную в хорошем вине. Вот неизбежные плоды войны, всюю тягостью ложащиеся на несчастных жителей, на поля которых приводят армию по научным, тактическим и стратегическим распоряжениям. Это есть великая война, а разбойничанье – малая».

Во время зарубежного похода Пётр Чаадаев перешёл в состав Ахтырского гусарского полка. Надо сказать, что этим поступком он преломил настоящую семейную традицию – до этого момента его предки

служили в Семёновском полку. Более того, там продолжал служить его брат Михаил.

Причины перехода неизвестны, но, вполне допустимо, что они объяснялись сугубо материальными вещами: и на коне всё проще, чем пешком, и обеспечение получше.

После потери половины состава Семёновского полка, Чаадаев лишился тех товарищей, с которыми был связан – и теперь его не держало ничего.

Да и сентиментальным он точно не был.

Но зато он любил жест и был, в хорошем смысле, по-своему тщеславным – будучи готовым за тщеславие своё платить по высоким счетам.

Слава Семёновского полка уже была при нём, но гусарская слава – это совсем другое.

Гусары тоже были элитой, но с другой поэзией, с другими нравами. Маршал Наполеона Мюрат говорил, что настоящий гусар никогда не доживает до тридцати пяти лет (или, в другом пересказе, даже до тридцати). В любом случае у 19-летнего Чаадаева была уйма времени.

От общего числа кавалерии гусары составляли только десятую часть (основная часть – драгуны, следом – уланы и кирасиры; не считая иррегулярных казачьих и башкирских частей). У Наполеона гусар было тоже меньше всех остальных видов кавалерии: в том числе и потому, что гусары в своей великолепной форме оказывались элементарно дороже в содержании.

Гусары были заметны издалека, им завидовали, к их славе ревновали, на них злились. Всё это было Чаадаеву по душе.

«Ни кирасиры, ни уланы, ни драгуны, ни тем более пехотинцы и артиллеристы такого внимания общества не удостоивались. Их форменная одежда была слишком простой. Красоту же гусарского мундира, имеющего прямые аналогии с национальным венгерским костюмом, составляли декоративные детали: пуговицы, шнуры, галуны, меховая выпушка, кисти», – пишет Алла Бегунова в книге «Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I».

Говорят, все гусары, как правило, брили бороды и носили усы. Значит, Чаадаев был усат? Любопытно было бы взглянуть.

При общей гусарской форме Ахтырский полк носил коричневые доломаны (короткие суконные куртки со стоячим воротником), ментики (такая же куртка, но опушённая мехом) и тапки (плоская кожаная сума с обшитой сукном крышкой, на которой красовались вензель и корона государя). Чакчиры (узкие суконные штаны, обшитые галунами) и чепраки темно-синие. Воротник, обшлага, обкладка чепраков и ташек – желтые.

Серого цвета походные рейтузы, застегивающиеся на боковые пуговицы и обшитые кожей в шагу и внизу.

Только мундир потрёпанный: откуда взять в походе новый.

С 1812 года гусары так же как, как и уланы, драгуны, кирасиры были вооружены пиками (до тех пор как войска, предназначенные для разведки, быстрых рейдов и погонь, обходились саблями и огнестрельным оружием).

Чаадаев был в усах и с пикой!

Гусарские лошади были самыми дорогими по породе и по выездке, быстрые, выносливые, высокие (от 155 см в холке); и хоть далеко не у всех ахтырцев сохранились свои лошади, всё это придавало гусарскому

полку дополнительный блеск. Так как одним из основных качеств гусарского полка была стремительность, в отличие от кирасир и драгун, которые могли идти в атаку лёгкой рысцой, то все гусары были отличными наездниками. Судя по тому, что Чаадаев в гусарском полку задержится надолго, он не только кадрили умел отлично танцевать.

Но быть наездником – мало. «При быстром карьере каждый кавалерист должен уметь сильно рубить» – говорил ещё Суворов.

Сидя на лошади гусару надо было уметь наносить удары саблей, закрывая голову и тело, и отводить удар противника сзади и на скаку. Также учили заряжать пистолеты и карабины, не покидая седла, ну и, естественно, стрелять из них с любой руки, держа пистолет «между ушей лошади», как гласил устав.

Надо понимать, что такое было зарядить гладкоствольный пистолет, сидя в седле.

Устав писал: «На команду: “Заряжай!” – наклонить как карабин, равно и пистолет, на левую руку, ни опуская, ни придерживая поводов; потом вынимать патрон, отворять полку, сыпать порох на полку, обрачивать прикладом к левому колену, класть патрон в дуло, заряжать как можно проворнее и, поставя карабин на правую ляжку, примечать команду».

«В этих уставных описаниях опущены некоторые весьма важные детали, – поясняет Алла Бегунова в книге “Повседневная жизнь русского гусара...” – Во-первых, держа левою рукой пистолет с уже откинутым огнивом, правой надо было, не глядя, открыть лядунку и сразу взять патрон... Во-вторых, по команде: “Скуси патрон!” – надо было зубами надорвать узкий край патрона так, чтобы языком почувствовать вкус пороха (он был сладковатым).

Следующей операцией была засыпка пороха на открытую полку. Делалось это на глазок и требовало от гусара немалой сноровки, так как при недостаточном количестве пороха на полке могло не произойти воспламенения заряда в стволе, а при избыточном – солдат рисковал обжечь руку. Насыпав порох на полку, огниво опускали вниз, поворачивали пистолет дулом к себе и весь оставшийся в патроне порох пересыпали в дуло. Вслед за порохом туда опускали пулю из патрона, за пулей – сам патрон, который выполнял роль пыжа. Затем отдавалась команда: “Прибей заряд!” – при которой солдат доставал шомпол и несколькими ударами уплотнял порох, пулю и пыж в стволе... После работы шомполом взводили курок с кремнем. Спуск тогда занимал исходное положение, и оружие было готово к стрельбе. Пистолет следовало держать дулом вверх, чтобы не выкатилась пуля... Дальность стрельбы из кремнево-ударного пистолета достигала 40–50 метров. Поразить из него цель, особенно сидя верхом на двигающейся лошади, было очень трудно. “Стреляй, – говорилось в одном кавалерийском наставлении, – и ты попадешь, если это угодно Богу!” Тем не менее заряжать оружие быстро, за полминуты, гусар учили...»

А ведь надо было ещё и уметь атаковать в сомкнутом развернутом строю, когда при всех аллюрах (шаг, рысь, галоп и карьер) сохраняется ровная линия – и даже раскинувшийся на километр полк идёт как нарисованный, «ноздря к ноздре» (имелась в виду конская ноздря, и выражение это пошло, скорей всего, оттуда).

Ахтырский гусарский полк, как и Семёновский, входил в состав Богемской армии П.Х. Витгенштейна (переименованной в Главную), а затем на некоторое время был передан в авангард армии Блюхера.

Шефом Ахтырского полка был генерал-майор, затем генерал-лейтенант Илларион Васильевич Васильчиков, полком командовал его младший брат, полковник, затем генерал-майор Дмитрий Васильевич Васильчиков.

Но что знаменательно: в нескольких сражениях командование полком принимал... Денис Давыдов: легендарный на тот момент военачальник, партизан, известнейший поэт.

Так, под Краоном Давыдов командовал сразу двумя гусарскими полками: Ахтырским и Белорусским.

То сражение началось 7 марта, в 9 часов утра.

Наполеон разместил 6 артиллерийских батарей на возвышенности вблизи Краона. На левый фланг русской позиции он направил три штурмовые колонны под общим командованием маршала Нея. На правый фланг русских Наполеон направил гвардейцев Мортье и кавалерию Нансути. В центре атаковал маршал Виктор. Всего с французской стороны в сражении приняло участие 29 400 солдат.

В рядах французской армии было много новобранцев, поэтому французским генералам и маршалам приходилось лично вести их в атаку.

Колонны Нея захватили деревню Айлес, но были выбиты контратакой русской пехоты. Французы установили напротив Айлеса батарею, огонь которой вынудил русских покинуть деревню. Охваченные с обоих флангов русские дивизии на плато оказались в опасном положении.

Было принято решение отступить.

Наполеон, заметив отходящие каре русской пехоты, вывел на передовую линию около сотни орудий. Одновременно французская кавалерия пыталась атаковать спускающуюся с плато пехоту.

Здесь в дело вступили русские драгуны и давыдовские гусары – Чаадаев в их числе.

Атака, сшибка, откат кавалерийской волны. Атака, сшибка, откат.

За это время на плато русские успели установить батареи.

Когда русская пехота миновала свои орудия, те стали бить с такой интенсивностью, что французы были вынуждены убрать батареи с линии огня. Жесточайшая артиллерийская дуэль продолжалась 20 минут.

Сражение закончилось вничью – никто не получил трофеев; но по количеству потерь оно стало одним из самых кровопролитных за всю кампанию.

Затем было дело под Фер-Шампенаузом – в котором победу одержала исключительно кавалерия.

Полк, где служил Чаадаев принял участие не в основной части сражения, а в более чем успешной операции, случившейся в 12 километрах от места основного действия.

Там 900 всадников Дениса Давыдова встретили и остановили обоз боеприпасов и продовольствия, идущего к Наполеону в сопровождении солдат национальной гвардии – 4300 солдат.

Денис Давыдов вспоминал: «Я семь раз атаковал колонну Пактода – и всё безуспешно. Несколько раз наезжал на рогатки штыков, поставленные этой колонной, и всё тщетно. Причина упрямства моего состояла не в том, чтобы я надеялся врезаться в середину этой огромной массы, ибо я в сравнение с нею много уступал ей в числительной силе, – но для того, чтобы не давать ей ходу до прибытия артиллерии и большого числа конницы мне на подмогу, что и случилось».

Когда подошла артиллерия и подкрепления (в числе русских войск был сам император Александр I), французам предложили сдаться, но они предпочли сражение.

После артиллерийского обстрела, пробившего французское каре, конвой был снова атакован русской кавалерией.

То была натуральная бойня.

Один из участников того боя вспоминал: «Вмиг колонна легла пораженною на дороге в том строе, как она двигалась: люди лежали горами, по которым разъезжали наши всадники и топтали их».

В том бою два французских дивизионных генерала (Пакто и Аме) и до 3 тысяч французских гвардейцев попали в плен, трофеями стали весь огромный обоз и 12 орудий. В Сен-Гондских болотах скрылось около 500 солдат из всего конвоя, остальные – «лежали горами», по которым «разъезжал и топтал» гусар Чаадаев.

По окончании боя подъехал Александр I со своею свитою и начал говорить с пленным Пакто, который, не осознавая, кто перед ним, называл русского государя генералом.

«Вы видите перед собою императора», – поправили Пакто.

«Это невозможно, – отвечал он. – Ваш государь, верно, не пойдет в атаку на пехоту с одною конницей».

Александр I приказал не разубеждать Пакто.

Лично Петра Чаадаева исполняющий обязанности командира Давыдов, видимо, не запомнил тогда: ну мало ли, ещё один гусар, тут все гусары. По крайней мере Давыдов впоследствии не обронил ни слова об их совместной службе. Хотя на то были и другие причины, о чем позже.

В начале весны Богемская (Главная) армия и союзники взяли Париж – Ахтырский полк тоже принимал участие в деле. Наполеон отрёкся от престола.

Существует легенда, что после взятия Парижа Ахтырский полк стоял в Аррасе, вблизи монастыря. Денис Васильевич Давыдов, естественно, зная о скором торжественном входе в Париж, нашёл внешний вид своих гусар для парада не пригодным. Недолго думая, изъяли все сукно со склада монастыря, монахини которого носили рясы подходящего коричневого цвета.

Когда въезжали в Париж, ахтырские гусары выглядели едва ли не лучше всех.

Если в этой легенде есть хоть малейшее зерно истины, можно выдвинуть ироническую версию о зарождении впоследствии католических симпатий у Чаадаева: пропитался католическим от монашеского сукна.

И вот – французская столица.

Когда гусары двинулись по шоссе, «предстала, – пишет современник, – весьма непривлекательная картина: по всему пространству направо и налево было много неубранных трупов людей и лошадей и валялись разбитыя орудия».

«Бог не судил им видеть торжество наше» – так говорили русские люди, прошедшие с победами Европу.

За отличия Ахтырский полк был награжден Георгиевским штандартом с надписью «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в благополучно оконченную кампанию 1814 года».

Зарубежный поход для всей русской армии и для Петра Чаадаева был завершён.

Пребывание его в Париже было для него и вдохновенно, и увлекательно, но никаких выводов на тот момент о каком-то видоизменении взглядов Чаадаева делать не стоит. Ему только-только должно было исполниться двадцать – после более полутора лет военных походов, – и он выжил, что может быть вдохновенней и увлекательнее. Мемуа-

рист М.А. Жихарев рассказывает о какой-то германской деревне, где Чаадаев стоял ещё в составе Семёновского полка – и был поражён её ухоженностью... Ну, быть может. Но одной деревеньки мало для мировоззренческого переворота.

В 1814 году Чаадаев безусловно связывает свою будущность с воинской службой. Хотя интересы его по-прежнему крайне разносторонни.

В составе Ахтырского полка он перемещается по Европе, в сторону Польши.

В пору нахождения полка в Кракове, Чаадаев вступает в масонскую ложу «Соединённые друзья».

Если попытаться предположить причины этого, если позволительно так сказать, приключения, то биограф Чаадаева Борис Тарасов сформулировал весьма точно: «Сочетание благородных помыслов и деклараций, таинственности, избирательности, театральности естественно влекло неопытных молодых людей в ложи. Помимо жажды герметичного знания, их вела сюда и возможность налаживания связей, самоутверждения в социальном окружении».

В апреле 1816 года Чаадаев перейдёт в лейб-гвардии Гусарский полк. Он занимал особое положение.

«В эпоху Александра I гвардейские полки имели свои штаты, свои оклады жалованья, свои способы комплектования и даже шили мундиры из особого – гвардейского – сукна, – пишет Алла Бегунова в книге “Повседневная жизнь русского гусара...” – По штатам 1802 года в его составе числилось только 5 эскадронов, а не 10, как в армейских полках.

Попасть в лейб-гусары можно было по рекрутскому набору, а можно – и по выбору... Если для нижних чинов принципы отбора были объективными: рост, внешний вид, безупречное поведение, награждение знаком отличия Военного ордена, – то на перевод офицера в гвардию влияли совсем другие обстоятельства. Это могли быть и семейные связи, и знатность рода, и богатство, и заслуги ближайших родственников, и собственные военные отличия офицера, и, наконец, наличие влиятельных покровителей при дворе или в штабе гвардейского корпуса. Перевод же из армии в гвардию тем же чином вообще считался наградой...

Гвардия, как и при Петре, продолжала быть “кузницей кадров”. Ротмистр гвардии, переходя в армию, получал чин подполковника и мог командовать батальоном в легкой кавалерии. Полковники гвардии, командуя в своих частях эскадронами, в армии занимали должность командира полка.

Производство в чины по гвардии шло гораздо быстрее, чем по армии. Но соискателям следовало быть осторожными: средних дворянских состояний здесь хватало года на три-четыре.

Большую часть расходов гвардейского офицера можно назвать представительскими. Например, в театре им не разрешалось сидеть дальше пятого ряда партера; мундиры требовалось шить каждый год и только из английского сукна (стоило оно в два-три раза дороже отечественного), с золотыми пуговицами, шнурами и галунами; предметы униформы заказывались у определенных портных; собственных строевых лошадей надо было иметь не менее двух и ценою от 500 рублей и выше».

Судя по всему, на тот момент у Чаадаева были колоссальные военные амбиции.

Хотя его знакомый, М.И. Муравьев-Апостол, основной причиной перевода Петра Чаадаева называл... желание щеголять в гвардейском кавалерийском мундире.

За год до перехода, отмечает биограф Чаадаева Борис Тарасов, «офицеры лейб-гусарского полка получили приказ носить шляпы с белой лентой вокруг кокарды (белую ленту впоследствии заменили серебряною). Бобровый мех на мундире, галун по ремням португепи и золотые кисточки у сапог также служили своеобразным украшением».

«В мундире этого полка, – пишет современник о Чаадаеве, – всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими...»

Пожалуй, в первое время и масонство Чаадаева было для него своеобразным мундиром: а вот так – я ведь отлично выгляжу, в фартуке и с молотком?

В августе 1816 года Чаадаев получил звание поручика.

Тем же летом он познакомится с Пушкиным, который полюбит проводить время в гусарском кругу до такой степени, что начнёт добиваться у отца разрешения пойти в гусары.

Отец откажет, и Пушкин останется штатским; Чаадаев, успокаивая его, напишет тогда, что не стоит судить о гусарах только по стихам Дениса Давыдова – в первую очередь это суровое и рутинное дело, которое требует огромного количества навыков и знаний.

Но, думается, Пушкин справился бы с этим.

В ближайшие годы они станут с Чаадаевым ближайшими товарищами («твоя дружба заменила мне счастье»: вот оценка Пушкина).

В 1817 году Чаадаева – этого кажущегося ирреальным со всеми его достоинствами молодого человека – берёт в адъютанты командир гвардейского корпуса Илларион Васильевич Васильчиков – он-то дельного офицера, в отличие от Дениса Давыдова, запомнил ещё в иностранном походе, будучи шефом Ахтырского полка.

Дочь генерала Николая Раевского говорила, что «Чаадаев со своими репутацией, успехами, знакомствами, умом, красотой, модной обстановкой, библиотекой... был неоспоримо, положительно и без всякого сравнения самым видным, самым заметным и самых блистательным из всех молодых людей в Петербурге».

Одним из важных признаков чаадаевской неотразимости будет его постепенная, печоринского толка, утомляемость от своих, в самом широком смысле, увлечений.

В том числе и от масонства.

Документально зафиксирован только один факт присутствия там Чаадаева – в 1817 году. Учитывая то, что он достиг звания мастера (третья степень после «ученика» и «товарища») – он бывал там чаще. Но понимая, кто такой Чаадаев, можем догадаться о том, как скоро мог он двигаться даже внутри масонских иерархий.

Современник писал, и мы не удивимся этому, что ложа, к которой принадлежал Чаадаев, характеризовалась «настроениями салонного либерализма» (о, как ново) и «походила на оживлённый столичный клуб» (кто бы мог подумать).

«Трудно искать направления в этой ложе, аристократической и пёстрой по своему составу, – мы цитируем историка Н.М. Дружинина, – одинаково чуждой и глубокого морального настроения, и сосредоточенной политической мысли».

Даже скучно, до чего всё повторяемо: именно «чуждой и морального настроения», и «сосредоточенной политической мысли», как и большинство политических клубов и сообществ по сей день – с их по-

заимствованной непонятно у кого клейкой массой малопродуманных убеждений и ложным чувством избранности.

Однако присутствие в масонской ложе «Соединённые друзья» великого князя, брата государя Константина Павловича, будущего видного декабриста Петра Пестеля (впоследствии, добавим, желавшего умертвить всю царскую фамилию), будущего начальника III отделения Бенкендорфа и первого российского философа Чаадаева – выглядит и многозначительно, и пугающе: аристократия не имела понятных ей русских основ в своём мировоззрении, и готова была жить только заёмными.

Но уже в 1818 году проницательный Чаадаев, рассуждая о масонах, вдруг заявит «о безумстве и вредном действии тайных обществ вообще».

Тем временем воинская служба его шла положенным чередом: в 1819 году – он уже ротмистр (капитан гвардии).

Живёт Чаадаев по-прежнему на широкую ногу, да и гвардейцу иначе нельзя; брату Михаилу пишет в письме: «Ты хочешь, чтобы я обстоятельно тебе сказал, зачем мне нужны деньги. Я слишком учтив, чтобы с тобой спорить, и потому соглашаюсь, что ты туп, но есть мера на всё, и на тупость. Неужели ты не знал, что 15 000 мне мало? Неужели ты не видел, что я издерживал всегда более?»

(Вообще у них с братом были отношения прекрасные – но, видимо, Пётр сумел построить общение так, что на тот момент старший брат воспринимался в их паре как младший, и позволял к себе в обращении некоторые вольности. Скорее всего, эта форма сложилась во время войны, где Пётр получил больше наград и, видимо, вёл себя безрассудней и убедительней.)

Но к 1820 году у Чаадаева появляются мысли об отставке, возможности заграничного путешествия и вообще некоторой, что ли, предопределённости его пути, которую он желал бы нарушить.

И тут уже был нужен только повод, чтоб выйти в отставку.

Ждать долго не пришлось.

16 и 17 октября 1820 года произошло возмущение в 1-м батальоне лейб-гвардии Семёновского полка. Солдаты выступили против муштры и непотребного отношения к подчинённым со стороны нового командира полка Ф.Е. Шварца, назначенного самим государем. 16 октября первая рота потребовала сменить Шварца, но на утро их всех отправили в Петропавловскую крепость. Тогда начались волнения во всех ротах. Уговорить и урезонить семёновцев пытался командир гвардейского корпуса И.В. Васильчиков. По дороге Чаадаев призывал его говорить с солдатами их языком и с добром. Васильчиков успокоил Чаадаева, но, явившись в полк, скоро разозлился и начал орать. Тогда солдаты только утвердились в своём недовольстве и потребовали соединить из с первой ротой. Строем и без оружия они вошли в Петропавловскую крепость.

«К государю, – пишет один из первых исследователей жизни Чаадаева М. Гершензон, – находившемуся в Троппау на конгрессе, тотчас был послан фельдъегерь с рапортом о случившемся, а спустя несколько дней, 22-го, туда же выехал Чаадаев, которого Васильчиков, командир гвардейского корпуса, избрал для подробного доклада царю. Через полтора месяца после этой поездки, в конце декабря, Чаадаев подал в отставку и приказом от 21 февраля 1821 г. был уволен со службы».

Внезапный его выход в отставку принято оценивать с особенным удивлением. Из текста в текст переходит утверждение, что Чаадаева ждала «блестящая карьера», а он вот что сотворил.

Александр I проговорил тогда с Чаадаевым целый час. О сути этого разговора Чаадаев впоследствии не распространялся, и если б не последовавшая затем отставка, никто б к этому разговору столь серьёзное значение не придавал.

Но факт отставки породил разнообразные догадки.

Писали, к примеру, что Чаадаев был крайне огорчён случившимся в Семёновском полку и всякие репрессии против полка считал почти личным оскорблением – ведь там служили его предки.

Всё это сомнительно: из полка Чаадаев ушёл сам, ложной щепетильностью не страдал, к тому же мы знаем, что скоро этот человек будет писать не про какой-то там полк, а про целую Россию – что уж тут семёновцы, пусть даже там продолжал служить его двоюродный брат.

Думается, Чаадаев ничего конкретного впоследствии не говорил о разговоре с государем только потому, что ничего особенного в том разговоре и не было.

Но если б он открыл это – значение его так запомнившегося всем жеста потеряло бы некоторые яркие краски.

Про Чаадаева рассказывали, что он как-то зашёл в петербургский магазин и обнаружил там изысканную вазу. Уже собрался её купить, но продавец всё не обращал на него внимания. Тогда Чаадаев вазу эффектным, почти плавным движением разбил.

И тут же заплатил за её осколки...

Чаадаев утверждал, что ушёл за полшага до того, как должен был получить флигель-адъютанта.

Никакого приказа на самом деле ещё не существовало; более того – приказа могло вообще не случиться. Много позже великий князь Константин Павлович будет писать Николаю I о покойном императоре, что «его императорское величество изволил отзываться о сём офицере весьма с невыгодной стороны».

Если это правда – какой ещё тогда «флигель-адъютант»?

Не было никакой предопределённости в карьере Чаадаева. Может быть, даже напротив – она могла вот-вот обрушиться.

Но даже если б приказ случился... Стать ещё одним флигель-адъютантом: тоска же.

А вот эффектно выйти из этой игры – о, это оценят.

Эти осколки, казалось Чаадаеву, стоят дороже.

Да, государь, как пишет мемуарист Жихарев, «почасту встречаясь с Чаадаевым, ронял ему иногда несколько приветливых слов и всегда ту милостивую, кроткую, благодушную, знаменитую по всей Европе улыбку», хотя она вовсе не была гарантией искренней приязни.

Да, и будущий государь Николай Павлович различал Чаадаева, ещё будучи великим князем: на одном балу увидев его, приветливо сказал: «Здравствуй, Чаадаев», – и продолжая разговаривать с одним вельможею, несколько раз повторил, кивая на Петра Яковлевича: «А спроси хоть у Чаадаева». Это было, согласитесь, отличной – высочайшей! – лестью – молодому человеку, которому и 24 лет не исполнилось. Сердце Чаадаева наверняка тогда забилося учащённо: всё это было упоительно для его самодлюбия.

Но, с другой стороны, в Петербурге и в Москве имелось некоторое количество ярких молодых людей: также получивших отличное об-

разование, также воевавших в пехотных или кавалерийских частях, ходивших в штыковую, заработавших ордена, также служивших адъютантами и попадавших на глаза государю, также сиявших в обществе: Фёдор Глинка, Константин Батюшков, Пётр Вяземский, Гавриил Батеньков, Лажечников Иван... И Константин Рылеев тоже, и Александр Грибоедов (оба военные, оба служившие, но не воевавшие).

Чаадаев мог занять положение соразмерное тому, что занимал любой из них, мог не занять: в конечно итоге, это ничего не меняло – вот что он думал.

Карьера у Чаадаева вызывала чувства примерно те же, что и женщины. Его считали красавцем, в него влюблялись, некоторое время в полку он распространял слухи об интрижках, коих не имел вовсе, – потом перестал: стало бы слишком заметно, что он обманывает.

Выяснилось, что Чаадаев – аскет, телесные отношения, кажется, его не интересовали. Возможно, имелась какая-то правда в злых словах мемуариста Ф.Ф. Вигеля, написавшем о Чаадаеве: «Сердце его было слишком преисполнено обожания к сотворённому им из себя кумиру».

Конечно, никакое определение – а в данном случае оно уже напрашивается: нарцисс – не может определить характер такого сложного и мужественного человека, как Чаадаев. Нарциссы не ходят в штыковые атаки; а если ходят – это качество должно как-то иначе называться.

Тут другое – как и с манерой Чаадаева изысканно, подолгу, безупречно одеваться, продумывая каждую деталь.

Подавая рапорт на отставку, он готовился сделать очередной выход. Если подходящей детали для этого выхода не нашлось – её необходимо было как-то додумать, изобразить, имитировать; а потом сделать вид, что она действительно была.

Получив отставку, в том же 1821 году Чаадаев официально оставил масонскую ложу.

На некоторое время в 1821 году Чаадаев сошёлся с будущими декабристами. Ему более чем доверяли, но он немедленно начал, как позже будет сказано самими заговорщиками в ходе допросов, «уклоняться» от всей их деятельности и даже элементарного общения.

Я царь, живу один, всё это лишнее.

О Чаадаеве продолжали говорить все, его повсюду ждали, в свете и в салонах он по-прежнему был одним из первых, самым заметным.

Но этого, конечно же, было мало.

Он захандрил.

Прямо говоря, хандрой Чаадаев не болел только на войне и при воинской службе – всю остальную жизнь по большей части переходил из депрессии в депрессию.

В следующем, 1822 году, он разделит с братом имущество.

В 1823-м уедет за границу: Англия, Франция, Швейцария, Италия, Германия...

Много повидал красот, но в письмах куда больше писал о своих каких-то несусветных болезнях, желудочных и нервных, просил всё время денег, но уже не приказывая, а несколько даже лебезя: ну ещё четыре тысячи, брат, ну ещё десять тысяч, а вот продайте моих крестьян в рекруты, а вырученные деньги перешлите мне – и, между прочим, так и сделали по просьбе этого будущего кумира западников и либералов.

Но вообще всё острее желал возвращения домой, а прежние свои намеки, что может остаться в Швейцарии, начисто забыл как блажь.

Пока Чаадаев перемещался по европам, случилось восстание декабристов, брату Михаилу – тоже близкому к заговорщикам, еле удалось отвертеться, многие и многие товарищи их оказались в крепости, под следствием, – и рисковали быть казнёнными.

Петру Чаадаеву можно было бы переждать все эти события за границей – вдруг и его потянут на допросы; но нет, ему там надоело самым определённым образом.

Через месяц после повешения пятерых декабристов, трёх из которых он знал лично, он въехал в Россию. Впоследствии, по словам современника, восстание декабристов «сочувствием и симпатиями Чаадаева никогда не пользовалось».

В салонную жизнь он не вернулся, но, напротив, уехал в подмосковное имение к тётке, жил затворником: не то чтоб пришла пора поражать мир – тут другое: пришло время осознать самого себя, ему исполнилось 33 – срок достаточный.

Чаадаев и в этот раз не вернулся из Европы со сложившимися убеждениями; тем более в том духе, что цивилизация – там, а здесь запустение и мыши по углам (впрочем, мыши и тараканы в подмосковном имении действительно его изводили).

Вскоре, не торопясь, он приступит к написанию «Философических писем» (действительно обращённых к его новой знакомой – Екатерине Дмитриевне Пановой, замужней женщине немногим за двадцать, любопытной собеседнице – которой тем не менее письма он так и не отправил).

К 1830 году работа над письмами в основном была завершена.

Что должно сказать по этому поводу.

Которое уже десятилетие иные пытаются имитировать Чаадаева: взгляните, я тоже сноб, у меня тоже на лице словно бы усталая иезуитская маска, я тоже, что самое важное, презираю ничтожество России – ах, разве я не Чаадаев?

Нет, не Чаадаев.

За Чаадаевым был Семёновский полк, сражение при Кульме, Ахтырский гусарский, и ещё несколько сражений, безупречная воинская служба и целые поколения русских офицеров в роду – всё то, чего у вас нет, и вы пришить себе это не сможете, потому что некуда, нет подходящей суровой нитки. Имитаторы и фарисеи, – куда вам Чаадаев, зачем?

Что вы, наконец, будете делать с его христианским чувством, которое являлось основной его мировоззрения?

«Мы искони были люди смиренные и умы смиренные, так воспитала нас церковь наша, единственная наставница наша. Горе нам, если изменим её мудрому ученью! Ему обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши», – писал Чаадаев Петру Вяземскому в 1847 году.

Возьмите «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя – там можно даже не абзацами, а страницами менять с «Философическими письмами» – не помнящий наизусть или близко к тексту Гоголя и Чаадаева, подмены не заметит.

Гоголя времён работы над «Выбранными местами...» наша прогрессистская публика считает отъявленным недоразумением, а Чаадаева – нет.

Всё потому, что Чаадаев, как им кажется, произнёс пароль: Россия – это всё пустое, её почти нет.

Но это лишь кажется, что он произнёс это.

«С одной стороны, беспорядочное движение европейского общества к своей неведомой судьбе, на Западе колебание почвы, готовой провалиться под стопами новаторского гения; с другой – величавая неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие её народов, ясным и спокойным взором наблюдающее страшную бурю, бушующую у нашего порога; таково величественное зрелище, представляемое в наши дни двумя половинами человеческого общества...» – вот Чаадаев.

Давайте зададимся двумя простыми вопросами: считал ли Чаадаев патриотизм (в том числе связанный с войною) постыдным чувством? И был ли Чаадаев патриотом России?

На первый вопрос он самым полным образом ответил в «Философических письмах», как не удивительно, через фигуру... Моисея.

В «Письме седьмом» Чаадаев пишет о Моисее: «...говорили ещё, что Бог его только бог национальный, что всю свою теософию он заимствовал от египтян. Без сомнения, он был патриотом: да и как может не быть им великая душа, какова бы ни была её миссия на земле!»

Далее Чаадаев усложняет свою мысль: «Неужели думают, что когда он подавлял крик своего любящего сердца, когда он предписывал избивать целые народы, когда он поражал их мечом божеского правосудия, он думал только о расселении тупого и непокорного народа, который он вёл за собой?»

Здесь всё в какой-то вопиющей степени, как это нынче называется, неполикорректно.

Для начала, никакой «гуманизм» в качестве хоть сколько-нибудь весомого довода Чаадаев здесь даже не рассматривает. Патриотизм – великое чувство, даже если ты отвечаешь за «тупой и непокорный народ».

Но если тобой движет великая божественная миссия – и ты пришёл с правдой Христовой, – то ты выходишь на совсем иные степени: вот что говорит Чаадаев.

Чаадаев чужд либерализму вовсе не потому, что однажды обронил: «Русский либерал – бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче».

Нет, тут иная причина: европейский прогресс Чаадаев понимал как наиболее удачную реализацию христианской идеи. Он никогда не понимал прогресс как торжества индивида; у Чаадаева нет ни одного слова по этому поводу.

«Я вам, кажется, как-то сказал, что лучшее средство сохранить религиозное чувство – это придерживаться всех обычаев, предписанных церковью, – писал он уже в “Первом письме”; и чуть ниже продолжал: – Горе тому, кто принял бы иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего разума за необычайное озарение, освобождающее от общего закона».

Повторимся: иллюзии личного тщеславия не могут быть выше общего христианского закона.

В этом смысле Чаадаев безусловный предвестник Достоевского.

Европейские мысли, которые в «Первом письме» Чаадаев хотел привить России, это, цитируем его, «мысли о долге, справедливости, праве, порядке». Обратите внимание, что первые две мысли списка – скорей консервативного толка, и лишь затем идут ценности либеральные. Однако долг превыше всего.

Когда нынешние «прогрессисты» находят в текстах Чаадаева часто (даже слишком часто) повторяемое слово «прогресс», они искренне

думают, что философ вкладывал в это понятие тот же самый смысл, что и кем-то вкладывается сегодня.

Боже мой, нет, конечно.

«В домах наших мы как будто определены на постой, – писал Чаадаев ещё в “Первом письме”, – в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам. И не подумайте, что это пустяки. Бедные наши души!»

Думаете, если такая ситуация удручала Чаадаева двести лет назад, сегодня он бы возрадовался?

Финал превратно понятого прогресса (впрочем и любого прогресса вообще, ибо он, по Чаадаеву, конечен) Чаадаев описывал на примере Римской империи: «Если только подумать об этом времени, столь богатом результатами, без школьных предрассудков, об этом историческом бедствии, легко убедиться, что сверх чрезвычайного развращения нравов, потери всякого чувства доблести, свободы, любви к родине, упадка во всех отраслях человеческих знаний, в то время ещё наступил полный застой во всём, и умы вращались только в узком и ложном кругу... Как только удовлетворён интерес материальный, человек не идёт вперёд...»

Стоит и здесь обратить внимание, что «свободу» Чаадаев поместил меж «доблестью» (имея в виду, естественно, доблесть воинскую) и «любовью к родине» – что придаёт понятию «свобода» коннотации совсем иные: конечно же, имеется в виду не личная независимость, а национальная.

В чём же спасение?

«Что может быть естественнее для женщины, развитый ум которой умеет находить прелесть в научных занятиях и серьёзных размышлениях, чем сосредоточенная жизнь, посвящённая главным образом религиозным помыслам и упражнениям?» – вот чаадаевский прогресс, который сегодня назвали бы всеми страшными словами от «ретроградства» до «мракобесия».

На вопрос же о том, является ли он сам патриотом России, Чаадаев отвечал неоднократно. К примеру, в «Апологии сумасшедшего», следующей после «Философических писем» своей работе: «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою родину, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа».

«Я думаю, что большое преимущество – иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения. Больше того, у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество».

И затем о Европе: «Там неоднократно наблюдалось: едва появится на свет божий новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ребяческие тщеславия, вся упрямая партийность, которые копошатся на поверхности общества, набрасываются на неё, овладевают ею, и, минуто спустя, размельчённая всеми этими факторами, она уносится в отвлечённые сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль. У нас же нет этих страстных интересов, этих готовых мнений, этих установивших-

ся предрассудков; мы девственным умом встречаем каждую новую идею».

По сути, он здесь в более, нет, не мягком, а – глубоком виде повторяет мысль, заявленную в «Первом письме»: «...мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени...»

Поначалу Чаадаев видел в этом безусловные минусы, по крайней мере минусов было больше, чем плюсов, но позже он стал находить в этом определённые резоны.

В любом случае вопрос о том, является ли Россия Европой, разрешался Чаадаевым сложно: скорей нет, чем да.

Неоднократно и не без восторга Чаадаев объявлял, что если бы Россия имела определённое национальное лицо, Пётр никогда б так легко не передел её на манер западный... Но мы с вами отдаём себе отчёт, что в убеждённости Чаадаева имеется недостаточное знание национального характера. Характер этот, как показывает время, не мог сломать ни Пётр, ни революции 1917-го, ни все последующие события – всякий раз, перенося вживление в национальную плоть тех или иных европейских идей, порой с катастрофическими последствиями, – Россия неизбежно принимает какие-то свои, одной ей ведомые, формы существования. Их, кстати, сегодня вновь иные называют «средневековыми» – ну то есть, поясним мы для себя, допетровскими. Хорошо это или плохо – не важно. Важно то, что Пётр сбрав бороды, перебив стрельцов, понагнав европейских учителей и мастеров, приучив есть картофель и обновив платье, всё равно не добрался до какой-то сердцевины: её не переделать, не переодеть, не побрить.

Но даже не придя, в силу причин объективных, к таким выводам, Чаадаев объявляет:

«...преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту!

Это сказал человек, который не понял или не захотел понять древнерусской литературы, не осознал величие древнерусской иконописи, не застал расцвета русской классической музыки, театра и балета, не увидел гения Достоевского, Толстого и Чехова – здесь мы, пожалуй, остановимся; но только потому, что продолжать можно очень долго.

И при этом многие, невзирая на Чаадаева, но анекдотичным образом ссылаясь на него, печалются уже двести лет и никак не успокоятся. Ах, дайте им печалиться ещё!

Пусть: только без Чаадаева, он же здесь ни при чём.

У Чаадаева, продолжим, имелись безусловные предсказания.

«Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что неправы его противники», – сказал он.

Знаменательна его убеждённость в том, что в будущем не Турция станет нашим главным противником, а Америка, про которую он говорил так: «единственная соперница, которой вы должны бояться». Ну, должны не должны, вопрос второй, а что соперница – да, спасибо за подсказку.

Но имелись у Чаадаева и совершенно нелепые ошибки, продиктованные как раз его передоверием европейским ценностям и европейскому прогрессу. «Отныне не будет больше войн, – самоуверенно

внушал он Пушкину в письме 1831 года, – кроме случайных, нескольких бессмысленных и смешных войн».

Как же, как же. Прогресс не должен был этого позволить. Но позволял с маниакальным постоянством.

Оценивая традиционное военное русское мужество, Чаадаев сетовал на то, что «начало, которое делает нас подчас столь отважными... лишает нас глубины и настойчивости».

Глубина – это, видимо, тот случай, когда мы приходим в Европу во след за убегающими от нас европейскими гостями, а не знаем толком зачем туда явились. И с чем уйдём оттуда в итоге, тоже не знаем. Отсутствие настойчивости – это отсутствие всякого желания обогатить себя глубинным знанием о жизни и быте побеждаемых нами, взять себе что-то из их нематериальных ценностей на память и дома это привить и распространить.

Но мы этого не делаем – и в этом не только суть, но сила наша: трогательно, как взыскивавший целую жизнь истинно христианского чувства Чаадаев не разглядел его в собственном, нищем духом, народе.

Главный казус Чаадаева в том, что ошибочные его представления получили наибольшую известность, на отдельные его резкие высказывания по поводу России и национального характера по-прежнему с удовольствием ссылаются иные умы, а самые пессимистические прогнозы касательно Европы и оптимистические (во многом, более того, сбывшиеся) взгляды на будущее России игнорируются и замалчиваются.

Эффект Чаадаева ещё и в том, что броские его фразы, которые так любят цитировать, – к примеру, «истории у России не было», – никто из его диссидентствующих поклонников никогда не пожелает всерьёз продолжить иными его высказываниями, касающимися других народов.

Мы уже упоминали, как Чаадаев мимоходом определил несчастное, сорок лет блуждавшее в пустынях еврейство.

Но если бы только их.

«Разве вы думаете, что в христианстве абиссинцев и в цивилизации японцев осуществлён тот порядок вещей... который составляет... назначение человеческого рода?» – сурово вопрошал Чаадаев.

Нет, едва ли «прогрессисты» согласятся так обидеть абиссинцев и уж тем более Японию.

Чаадаев писал о «китайской неподвижности» (и в итоге ошибся), «греческой упадочности» (и был несколько, что ли, резковат), а Гомера вообще почитал подонком рода человеческого – и знаете почему? За то, что герои и боги, описанные Гомером, оспаривают «почву у христианской идеи». И посему, говорил Чаадаев, необходимо на чело Гомера «наложить несмыслаемое клеймо бесчестия».

Здесь ведь вы тоже не согласны? Ну естественно.

Когда Чаадаев начинает отчитывать Европу за то, что мысль «во Франции и Англии... стала слишком сложной; слишком подвластной интересам, слишком личной», а в Германии эта мысль «слишком отвлечённая, слишком эксцентричная, так что веления сердца утрачивают там присущую им силу», – тоже ведь никто не станет спешить, чтоб подписаться под этими словами.

И с Америкой, в качестве основной российской «соперницы», наверное, тоже не согласятся самые преданные читатели именно первого чаадаевского письма.

Но как же так?

Неужели мы оставим у Чаадаева только его резкие слова о России? Только здесь он покажется кое-кому разумным и точным?

Лишь о русском народе можно рассуждать с чаадаевской фирменной безапелляционностью: за куда менее дерзкие речи об иных народах можно разом выпасть из приличного общества.

Ах, лукавцы. Нет, либо берите сразу всё, либо не трогайте вообще. Мы-то возьмём всё: нам не страшно.

С Чаадаевым, как сегодня бы сказали, «стало всё окончательно ясно» в 1831 году, уже после написания «Философических писем», где он якобы вынес вердикт России.

29 ноября 1830 года под лозунгом восстановления независимой «исторической Речи Посполитой» началось польское восстание: поляки желали себе вернуть независимость, а также украинские и белорусские – читай: русские земли, – которые они почитали своими.

На тот момент Польша имела унию с Россией, имела сейм и собственные войска и, по факту, частью России не являлась.

Патриотическое польское движение, приведшее к восстанию, развилось на основе масонских лож, в которых массово состояли польские офицеры – в период своей службы в Ахтырском полку Чаадаев имел возможность присмотреться к этой публике.

В день восстания великий князь и наместник Польши Константин Павлович – в своё время бывший вместе с Чаадаевым в одной ложе – проявил неожиданную пассивность и не организовал противодействие польским войскам (они имели десять тысяч военных против семи тысяч российского корпуса, стоявшего в Варшаве).

К зиме 1831 года польское восстание превратилось в полноценную войну: под знамёнами поляки имели 55 тысяч человек, а направленный их усмирять барон Григорий Владимирович Розен (командовавший семёновцами, и Чаадаевым в их числе, при Бородине) мог собрать только 45-тысячное войско.

Часть польских войск вторглось в Литву. Там, а также на Волыни в Подолии началась инициированная польскими военными партизанская война.

Только к октябрю 1831-го – после почти года войны – удалось Польшу смирить.

Но, начав в августе, до поздней осени французский парламент всё ещё обсуждал вопрос предоставления Польше вооружённой помощи.

Надо оценить французскую, прямо говоря, наглость: ведь всего чуть более полутора десятилетий прошло с тех пор, как Наполеон был низложен. Францию тогда оставили в границах 1792 года, Англия получила Мальту и Ионические острова, колонии Цейлон и Гвиану, принадлежавшие Голландии (освобождённой, между прочим, русскими), к Пруссии отошла Рейнская провинция и Померания, Австрия прибрала себе часть Польши, Тарнопольский округ, Ломбардию и Венецию.

И теперь, с подачи Франции, европейские фарисеи – либо воевавшие вместе с Наполеоном и принешие гибель миллионам людей, либо, наряду с Россией, воспользовавшиеся плодами общей, но в первую очередь нашей победы, – имели наглость обвинять нас в насилии над польскими шляхтичами, так ревностно совсем недавно служившими Наполеону.

Всё это вызвало возмущение Пушкина, написавшего ещё летом того года своё «Клеветникам России»:

Оставьте нас: вы не читали  
 Сии кровавые скрижали;  
 Вам непонятна, вам чужда  
 Сия семейная вражда.

.....

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!  
 Иль старый богатырь, покойный на постеле,  
 Не в силах завинтить свой измаильский штык?  
 Иль русского царя уже бессильно слово?  
 Иль нам с Европой спорить ново?  
 Иль русский от побед отвык?

По этому поводу Чаадаев написал Пушкину: «Вот вы, наконец, национальный поэт; вы, наконец, нашли ваше призвание. Я не могу передать вам удовлетворение, которое вы дали мне испытать. Стихотворение к врагам России... изумительно... Мне хочется сказать вам: вот, наконец, явился Дант».

Мысли, высказанные Пушкиным в этом имперском и милитаристском стихотворении, Чаадаев назвал важнейшими из прозвучавших в России за последние сто лет.

Возможно, что, памятуя об этом, Пушкин создаст ещё одно стихотворение на ту же самую тему, но уже по отношению к российским сторонникам польской (и любой другой, как позже выяснилось, свободы).

Стихи эти Чаадаев, к сожалению, уже не прочтёт; а то бы безусловно оценил их:

Ты просвещением свой разум осветил,  
 Ты правды чистый лик увидел,  
 И нежно чуждые народы возлюбил,  
 И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась  
 И ярым бунтом опьянела,  
 И смертная борьба <меж нами> началась  
 При клике «Польша не згинела!» –

Ты руки потирал от наших неудач,  
 С лукавым смехом слушал вести,  
 Когда <разбитые полки> бежали вскачь  
 И гибло знамя нашей чести.

<Когда ж> Варшавы бунт <раздавленный лежал>  
 <Во прахе, пламени и> дыме,  
 Поникнул ты главой и горько возрыдал,  
 Как жид о Иерусалиме.

Удивительные эти строки по недоразумению считали порой посвящением Чаадаеву, что просто абсурдно, и доказать это легко.

В 1831–1832 годах Чаадаев написал работу «Несколько слов о польском вопросе».

Там он говорит: «Вслед за подавлением польского восстания главные виновники его нашли убежище во Франции. Пользуясь малой осведомленностью этой страны в отношении истории и современно-

го состояния Польши, они без труда смогли изобразить свое безумное предприятие заслуживающим не только прощения, но еще и похвалы.

Удивительное дело. Там так мало знакомы даже с географическим положением Польши, что один из выдающихся членов палаты депутатов в одно из заседаний предложил самым серьезным образом послать в защиту восставших поляков флот в порт Поланген, и это предложение было принято почтенными слушателями без смеха».

(Порт Паланга находился в максимальной удалённости от боевых действий).

«Речи, произнесенные недавно в национальном собрании в пользу поляков, – продолжает Чаадаев, – свидетельствуют о столь же великом невежестве и в самом польском вопросе, как таковом. Ввиду этого скажем в немногих словах, как представляется этот вопрос беспристрастному и хорошо осведомленному уму».

Далее Чаадаев терпеливо объясняет, что представляло собой древнерусское государство «в царствование Ярослава». «Оно включало в себя все пространство между Финским заливом на севере и Черным морем на юге, Волгой на востоке и левым берегом Немана на западе. Пограничная линия, отделявшая тогда русских от их соседей-поляков, пролегла по равнинам, тянувшимся вдоль левого берега Немана, в местности, где мы находим города Августово, Седлец, Люблин, Ярослав, и тянулась по течению реки Сан до подножия Карпатских гор. Это та самая линия, которая и в наши дни на деле размежевывает обе народности – русскую и польскую. Население к востоку от этой линии говорит на русском наречии и принадлежит к греческой церкви, население на запад от нее говорит по-польски и принадлежит к римскому исповеданию».

И затем: «Знаменитая польская республика в пору наивысшего своего могущества была государством, состоящим из нескольких народностей, из них русские в областях, носивших название: Белоруссии, Малороссии, составляли главную часть. Это русское население, присоединенное к республике, соединилось с поляками лишь под условием пользоваться всеми национальными правами и свободой... Эти права и привилегии с течением времени были грубо отброшены Польшей и постоянно попирались среди самых возмутительных религиозных преследований».

«...отделение, начавшееся с 1651 года и законченное в конце XVIII в., было неизбежным последствием ошибок притеснительного правительства, нетерпимости римского духовенства и вполне естественной тяги этой части русского народа свергнуть иго иноземцев и вернуться в лоно собственной народности», – пишет Чаадаев, вполне позволяя себе критиковать католическую церковь, которой так восхищался: потому что в данном случае интересы собственного народа он спокойно и взвешено ставит выше; и, более того, в такие минуты отлично осознаёт, что история у России есть – а если кто-то решится её оспорить, то ответ получит соответствующий.

И мы в этой чёткости речи и ледяной позиции видим того Чаадаева, что нам уже знаком: гренадера и гусара, русского офицера и безжалостного бойца. В конце концов, в подавлении польского восстания участвует Ахтырский гусарский полк: множество его товарищей.

«После отпадения русских племен настоящая Польша, – продолжает Чаадаев, – или, как ее тогда называли, Polska coronna, предоставленная своим силам и лишенная возможности составить независимое

государство, досталась в добычу Австрии и Пруссии. Император Наполеон вновь соединил ее и создал из нее Варшавское Великое Княжество, которое затем приняло деятельное участие в войне против России 1812 года. После того как русская армия овладела княжеством в 1813 г., император Александр большую часть его присоединил к своим владениям под именем Царства Польского. Однако же и после присоединения к России силой оружия с краем этим вовсе не обращались, как с завоеванным. На всем пространстве нашей обширной империи русские и поляки пользуются одинаковыми правами».

«В областях, присоединенных к Российской империи (не входящих в состав Царства Польского) и называвшихся раньше Литвой, Белоруссией и Малороссией, поляки составляют приблизительно пятидесятую часть всего населения. Остальные почти сплошь русские».

Вывод Чаадаева: «Расчленять Россию, отрывая от нее силою оружия западные губернии, оставшиеся русскими по своему национальному чувству, было бы безумием. Сохранение их, впрочем, составляет для России жизненный вопрос».

Как мы видим, более чем за полвека до известного высказывания о том, что сломать Россию можно, отделив от неё Украину, Чаадаев говорил по сути то же самое.

Часть тогда ещё не интеллигенции, но аристократии, исповедовавшей либеральные взгляды, целиком и полностью принявшей стороны польскую, демонстрировала презрительное возмущение по поводу стихов Пушкина и позиции Чаадаева. Позже выяснилось, что даже Екатерина Дмитриевна Панова, адресатка писем Чаадаева, тогда «молилась за поляков». Но он этому её не учил! Он не об этом ей писал!

В данном случае несколько не пойдём против истины, если скажем, что, судя по «польским» заметкам, Чаадаев – самый обыкновенный русофил.

В том же 1831 год он просил Пушкина: «Пишите мне по-русски, вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания», – сколько здесь понимания того, что являет собой Пушкин, сколько удивительной заботы о будущем не только русской словесности, но и России как таковой.

Понимая весьма бедственное и в чём-то отсталое состояние России, не имея никаких симпатий к той власти, что управляла ею, Чаадаев спокойно осознал: не это самое важное. Россия измеряется не днём нынешним и не тем, насколько хорош или не хорош её государь, – она измеряется всем её бытием, и в любом споре с Европой мы обязаны помнить свою правду: так было при Ярославе, так было при Петре Великом, так будет при нас и так должно быть дальше. Всякая власть преходяща – а Россия остаётся.

И, в понимании Чаадаева, это никак не противоречило его христианскому чувству, его вере.

Стоит, наверное, ещё раз повторить, что «Несколько слов о польском вопросе» написаны уже после «Философических писем». И эту работу надо воспринимать как неперенное послесловие и уточнение к системе взглядов Чаадаева.

...что до последующих событий в его жизни: они, скорей, печальны.

Мысль Чаадаева не видоизменялось, но, как точно было замечено уже не нами, будто бы «пульсировала». Но не пульсирует ли так же

русская история – которая то наглядна и бьётся неистово, то словно, подобно пульсу, исчезает? Чаадаевская философия пульсировала вместе с русской историей.

В 1833 году он пишет письмо Александру Христофоровичу Бенкендорфу (герою и, более того, партизану 1812 года, освободителю Голландии – именно его армия разбила французов и вошла в Амстердам; в прошлом масону, состоявшему с Чаадаевым в одной ложе; а теперь, внимание, начальнику III отделения – «охранки»). Чаадаев сообщает, что хочет послужить России и просит принять его в дипломатический корпус. Кроме того, он печалится о том, что рано ушёл в отставку и не получил полковника, и объявляет о готовности «пристально служить за движением умов в Германии», ведь «правительство может положиться в таком деле лишь на хорошо известных ему лиц», посему он отдаёт «себя в полное и безусловное распоряжение Его Величества».

Представьте подобное письмо в наши дни... нет, этого даже представить нельзя. И ключевой момент в биографии Чаадаева всё-таки этот, а не его торопливая отставка в 1821 году.

Следом он пишет письмо государю, где предлагает свои услуги уже в деле народного просвещения; далее цитата: «Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире».

Если в тот день, когда он ехал в Троппау к Александру I с докладом о Семёновском полку, его ещё могла волновать собственная репутация и служить дополнительной причиной ухода в отставку (чтоб не было толков), – то теперь репутация Чаадаева не волновала: интересы Отечества стали превыше его «я».

Но государь письмо даже не прочитал.

С Бенкендорфом, написав ему ещё несколько писем, понимания Чаадаев не нашёл – ему отчего-то предложили идти по линии юстиции; и он оставил попытки объясниться.

А у него имелись огромные планы! Он мог бы великолепным образом доказать свою преданность России!

До чего ж обидно, что всё так вышло: мы бы имели в лице Чаадаева просвещённого консерватора – и ни один русофобствующий чудак даже близко к нему не подошёл бы.

Но увы: оскорблённый в лучших побуждениях Чаадаев вновь становится приметой московских гостиных и клубов.

Либеральные юноши глядят на него во всех глаза. Вокруг ходит молодой Герцен, но ничего из произносимого Чаадаевым запомнить не в состоянии (сам признаётся): просто смотрит.

Чаадаев предпринимает постоянные попытки опубликовать свои работы – причём именно в России, хотя имеет возможность обнародовать их за границей.

Первое его, самое радикальное «Философическое письмо» появилось, наконец, в сентябре 1836 года в журнале «Телескоп».

Итог? Журнал закрыли, издателя сослали в Усть-Сысольск, цензора, пропустившего публикацию, уволили. Самого Чаадаева официально объявили сумасшедшим.

Признаем, государственное постановление было выполнено с остроумием, достойным чаадаевского: «Его Величество повелевает...

чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев (так в тексте. – З.П.) не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья».

...такую любопытную историю оборвали в самом начале. Чаадаев хотел разозлить – а потом дать картину совсем иную: мы можем догадываться, какую именно, но к чему нам договаривать за этого удивительного человека. Он сам сказал достаточно.

Впрочем, это из дня сегодняшнего – достаточно. А тогда...

Денис Васильевич Давыдов, – однополчанин! – написал в своей «Современной песне» в том же 36-м о Чаадаеве: «Старых барынь духовник, / Маленький аббатик, / Что в гостиных битъ привык / В маленький набатик».

(«Маленький комарик», и у которого в руке горит «маленький фонарик» из сказки Чуковского, конечно же, отсюда, как и вся его сказка, весело списанная с давыдовского бала либеральных насекомых).

Давыдов не читал ни заметки Чаадаева о польском вопросе, ни последующих философических писем: он и догадываться не мог, что перед ним никак не его оппонент.

Самое неприятное, что основной свод чаадаевских сочинений, за исключением первого письма, многие десятилетия не читал почти никто (работа о Польше была впервые опубликована... 157 лет спустя; накануне очередного распада России её мало кто прочитал, понял и воспринял).

Мнение, сложившееся о нём и до сих пор не преодоленное, – по большей части неверно. Чтобы доверяться чаадаевским выпадам (а вернее: ложным, провоцирующим выпадам) против России – не надо никакого ума, только брезгливость и презрение ко всему русскому. Чтоб эти выводы оспаривать: необходимо думать и воспитывать в себе великое (Чаадаевым прославленное) чувство национального патриотизма, христианской любви и терпения. Таким образом, говоря о русском национальном беспамятстве, Чаадаев своего добился – одних он заставил вспоминать, а другие... чёрт с ними, это не читатели Чаадаева, это: Чаадаев и пустота.

Главный его биограф, Борис Тарасов, в первых же своих работах, невзирая ни на какие политические догмы, понимал и трактовал Чаадаева безупречно; хотя и у Тарасова встречаются удивительные (скорей всего, случайные) умозаключения, когда он вдруг пишет о своём персонаже: «...биография его не насыщена бурными внешними событиями».

Потерявший родителей в детстве, получивший блестящее образование, отслуживший девять лет в армии, участвовавший в крупнейших мировых сражениях того времени, неоднократно награждённый, друг и один из главных людей в жизни Пушкина, член крупнейшей масонской ложи, человек, общавшийся с государем и великими князьями, объехавший всю Европу, собеседник Шеллинга, добрый приятель Тютчева и Алексея Хомякова, истинная звезда салонов, объявленный сумасшедшим – и вновь во многом вернувший себе статус пророка и провидца – его жизнь была «не насыщена»? А чья тогда «насыщена»?

Да, в последние лет пятнадцать жизни Чаадаев, по всей видимости, раскаялся в том, что когда-то разбил эту «вазу» – причём как минимум трижды, – когда вышел в отставку первый раз, хотя мог продолжать военную карьеру; во второй раз – когда слишком акцентировал многие для него самого сложные и даже сомнительные вещи в первом «Фило-

софическом письме», и в третий – когда не смог договориться с Бенкендорфом о дипломатической своей деятельности.

Но признаться себе или окружающим в своём раскаянии было невозможно, он всё острил в салонах и пристально следил за тем, как поднимались в должностях те, кого он когда-то считал многократно меньше себя, и теперь острил уже по их поводу, однажды узнав о том, что государь собирается отменить крепостное право, тут же задумал работу о необходимости крепостное право сохранить – наверняка, и здесь найдя бы крайне оригинальную, провокативную аргументацию; но работу не написал, сил уже не было, и поэтому снова острил или хандрил, или то и другое одновременно, всё будто бы ожидая: вот-вот его услышат и призовут; тем более что человек всегда предполагает, что события могут вдруг повернуться и пойти совсем иначе, – к тому ж до самой смерти, вернее до последних трёх дней своей жизни Чаадаев был не только остроумен и ярок, но не совсем нормально моложав: что твой Дориан Грей, только застывший не в ранней младости, а где-то около 37, с вечной надменной маской на лице.

И только увидевшие его за три дня – чем-то, казалось бы, мимолётно захворавшего, вдруг удивились: ему стало разом на двадцать лет больше.

На второй день он стал ещё старше.

А на третий – перед ними был девяностолетний старик.

Но ведь ему только 62 должно было исполниться через месяц.

Он умер 14 апреля 1856 года. Его слышали и призывали: ведь на самом деле он всё исполнил и всё сказал.

Ещё пару цитат под занавес.

«По отношению к мировой цивилизации мы находимся в совершенно особом положении, ещё не оценённом. Не имея никакой связи с происходящим в Европе, мы, следовательно, более бескорыстны, более безличны, более беспристрастны по всем предметам спора, нежели европейские люди. Мы являемся в некотором роде законными судьями по всем высшим мировым вопросам».

Сказано 9 марта 1835 года.

Говоря о политике и о науке, Чаадаев писал: «Нам необходимо обособиться... и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, не подчиняться воздействию других народов, но с своей стороны воздействовать на них».

Сказано 15 июля 1833 года.

...если же политические методы не действуют, Чаадаев отлично помнил, какие ещё бывают воздействия. Барабанный бой, и «ура» начинать кричать не более чем за десять метров от противника.

Всё-таки жаль, что ему не дали полковника.

## Игорь ГРАЧ

Родился в 1964 году в Горьком. Окончил десятилетку, служил в армии, учился на филологическом факультете ННГУ. Работал журналистом. Автор поэтического сборника «Старинные клады».

### ДОНБАССКОЕ ИНФЕРНО

*И расвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань  
с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющи-  
ми свидетельство Иисуса Христа.*

Откр., 12, 17

... Два восьмидесятидвухмиллиметровых миномета выкачены на прямую наводку. Мины квакают, словно огромные жабы весною (дракон, впрочем, тоже ведь земноводное. Также, наверное, квакает?), из разверстых пастей минометов вырывается пламя. Через недолгое время к двум обтерханным темно-зеленым драконам присоединяется чудовище посерьезнее: самоходная артиллерийская установка «Но́на». Выстрелы гремят не переставая. Ответных выстрелов не слышно. Да и какая может быть «ответка»: ведь цель ополоумевших артиллеристов – храм Покрова на окраине оглушенного, обезумевшего от огня, грома и крови полуразрушенного Иловайска.

Август 2014-го. Кипит «иловайский котел». Разбитые украинские войска мечутся по степи, как перепуганные крысы – и, как крысы же, вонзают не утратившие остроты зубы в любой предмет, попадающийся на их извилистой дороге: в камень, в дерево, в живое тело... Нет зверя опаснее свихнувшейся от страха крысы.

На войне стреляют. Стреляют в тебя и твоих товарищей. Стреляют по городам, которые ты обороняешь – по зданиям, коммуникациям. Стреляют порою просто в белый свет, и это тоже имеет смысл: напугать, подавить, вжать в землю, добыть дрожи из твоих рук, сжимающих оружие. Это понятно и объяснимо. Ты, при случае, поступаешь так же – и не следует лгать, строить из себя гуманиста. Нет гуманистов на войне.

... Но два миномета и «но́нка» прицельно стреляют в храм. Туда, где нет – и не может быть – противника; никогда ополченцы не занимали обороны в церквах. Укропы знают это. И – выводят орудия на прямую наводку. Им мало расщепить на молекулы наши тела. Они стреляют в нашу душу.

... Потому что Противник все же есть. Самый страшный. Необоримый. Он глядит с надвратной иконы, и лицо Его спокойно и скорбно. Просто в очередной раз (в который уж за последние две тысячи лет?) очередной (который уже?) си-

недрион посылает слуг своих с четким приказом: убивать, отконвоировать на Голгофу, подвергнуть позорной казни на кресте, причтя к злодеям.

Поляки-католики, униаты-западенцы, сторонники Киевской митрополии, считающие себя православными, – неведомо, чьи руки заряжают, направляют и жмут на гашетки. Тем более неведомо, что происходит в их душах.

Другое ведомо: снаряды и мины до храма не долетают. Обессиленные, валяясь они в церковный двор, взрываются – шумно и почти безвредно. Другие, с раздраженным свистом и кваканьем несутся в сторону голубого шатрового купола – и, вопреки всем ведомым законам природы, меняют траекторию, уклоняются от цели, уносятся в сторону нешироких городских улиц; в их свирепом вое слышатся обида, недоумение – и страх.

...Сколько времени продолжается обстрел – никто точно не помнит. Кажется, что долго, но ведь время на войне – особое, странное, по своим законам живущее время.

Наконец стрельба прекращается. На светло-голубом куполе – три отметины от осколков – как следы от гвоздей на руках и ногах Спасителя...

Атеисты вправе не поверить. Но среди ополченцев, занимавших оборону неподалеку от храма, атеистов не было. Точнее – не осталось после увиденного.

...Странное время, смутное время, первое время. Время тяжелых боев, славных побед, о которых до сих пор вспоминается с бесшабашной улыбкой – и редких, но столь же славных поражений, которые и мы, и, как ни странно, наши враги все равно воспринимают как наши победы. Время бескорыстное, бессребренное и очень простое: пред тобою – враг, справа и слева – друзья, а за спиной – родина. Ни полутонов, ни подробностей, ни сложностей каких-то – мир прост и двуцветен, как детская сказка. И так же правдив, ибо нет и не может быть правды за чудовищем, в жертву которому приносятся дети. И истребить его – любым способом – доблесть, долг и обязанность. Сложности, психологические выверты, попытки «понять» и «объяснить» – все это из другого времени, из другой жизни.

«Другая жизнь», лишённая простоты, переполненная «подробностями», которые казались ни к чему полыхающим летом 14-го, тяжелая, порою скучная донельзя, настала – и это оказалось трагически неожиданно для нас, для многих, для большинства, для подавляющего большинства! – «ополченцев 14-го». Тех «неатеистов», душу которых безуспешно пыталась расстрелять укропская артиллерия. Но об этом – в другой раз, и скорее всего прозой.

А стихи, предлагаемые ниже – просто попытка хоть краешком заглянуть в души моих братьев, моих товарищей первых дней войны на Донбассе. И в собственную душу – тоже...

## Размышление о героизме

### 1

Маленький Санька,  
механик-водитель танка  
с ясным,  
незамутненным совестью взглядом,  
крепенький, ладный  
и ловкий, как ванька-встанька,  
глотает пепси,  
сидя со мною рядом.

Разницы  
между делишками и делами  
Санька не видит,  
живет нетрезво и бурно.  
На Санькином пузе –  
храм с пятью куполами;  
в тридцать четыре года –  
совсем недурно.

В Санькином теле  
кусочки вражеской стали.  
Саньке  
неведомы «хорошо» и «плохо».  
Санька стрелял  
и в танке горел в Дебале  
с той же ухмылкой,  
что шкурил водил на блоках.

Месяц-иуда,  
звезды, хищные твари,  
застят дорогу  
к спаленному украми дому...

Маленький Санька –  
мой боевой товарищ.  
Я за него  
глотку порву любому.

## 2

Ранец солдатских грехов  
повис за спиною,  
присыпанный тальком дерзости и отчаянья,  
полнясь от дня ко дню  
и от боя к бою  
и не имея тенденции к полегчанию.

Песни о наших победах будут пропеты  
теми,  
кто дал с войны в свое время деру,  
а мы останемся  
в названиях школ и проспектов  
(кроме расстрелянных  
за буйство и мародерку).

А песни будут!  
Звонкие, лживые песни!  
И мы их подтянем,  
осиянные мутным светом...

...Маленький Санька устало глотает пепси,  
герой Донбасса,  
не знающего об этом...

## Двухсотый

Нет в смерти  
ни красивого, ни мерзкого,  
а есть земля,  
пропахшая угаром.  
До взрыва было человечье месиво  
двадцатилетним симпатичным парнем.

Не дожито,  
не люблено,  
не пройдено...  
От страха  
солнце сделалось блее  
луны.  
Как ни почетна смерть за Родину,  
в земле не суше  
и не веселее...

Мы все там будем –  
раньше ли,  
позднее ли...  
Без ненависти,  
гнева  
и истерик  
мы нивы жнем,  
которые не сеяли,  
недолго сокрушаясь о потерях.

Привычно вражья гаубица гукает,  
и полыхает небо ярко-красным...  
...Оторванную человечью руку я  
несу в руке.  
...И страшно,  
что не страшно...

## Новороссийские ямбики

## 1. Донбасс. Российский доброволец

Бронежилет, разгрузка, автомат,  
шлагбаум, рация, тоска по дому...  
Опять солдат,  
как тридцать лет назад.  
Должно быть, не умею по-другому...

Мальчишка,  
не сумевший повзрослеть,  
укрытый сединой, как маскхалатом,  
я назовусь,  
коль выйдет уцелеть –  
героем  
и Империи солдатом...

## 2. Воспоминание о будущем

Когда-нибудь  
проснусь от тишины  
под мерный звук раскатистого грома –  
в заштатном городке шальной страны,  
который стал родней родного дома.

Не артобстрел,  
но вешняя гроза,  
и слезы молний,  
полны влажной грусти.

...И глянут с неба женские глаза,  
что не дают мне  
ни солгать,  
ни струсить...

## 3. Между войн

Сомлело в ожидании беды  
белесых хат испуганное стадо,  
и полнятся военные склады  
снарядами для гаубиц и «градов».

Над ухом –  
свист кровавой тишины,  
ворчанье смерти,  
пролетевшей мимо.  
...И горько  
ожидание войны.  
...И втрое горше –  
ожиданье мира...

## 4. Годовщина Дебальцева (ополчение-2016)

Мы год назад  
отбили треть страны,  
две трети  
мы оставили укропам.  
Усталость в ожидании войны  
мы глушим водкой  
и хвастливым трепом.

Ослабла безоружная рука.  
Мы ждали мира?  
Мы его дождались!

...В забытых пропыленных вещмешках  
тускнеют прошлогодние медали.

## Донбасское inferно

Ехал в поезде солдат с чертом.  
Дым в глазах его стоял серый.  
Снег клубился за окном черным,  
снег,  
пропахший ветром и серой.  
От бессонницы глаза вспухли.  
Тускло-красным,  
мерцающим светом  
полюхали в глубине угли  
хат Никишина,  
которого нету.

Над разгромленным пустым краем  
занималось серое утро.  
Черт солдата соблазнял раем,  
а солдат в ответ молчал хмуро.

Пламя в Горловке,  
руины в Донецке,  
Белокаменки спаленные хаты...  
Ехал в поезде солдат –  
в нети,  
в преисподнюю  
тянуло солдата...

Непечата на столе водка.  
Снег клубится за окном черным...

Ехал в поезде солдат в отпуск  
с перепуганным вонзят чертом...

## В отпуске

В мир, исполненный света  
я гляжу сквозь стекло.  
Здесь, наверное, лето  
и, наверно, тепло.

Солнце светит, не грея,  
в тихий ласковый день.  
Я иду сквозь деревья,  
я иду сквозь людей.

Улыбаюсь знакомым –  
не всегда невпопад.  
Я, наверное, дома.  
Я, наверное, рад...

Дымка, марево.  
Студень  
среднерусского дня.

Улыбаются люди,  
проходя сквозь меня.

Воздух сладкий и волглый,  
как кондитерский крем.  
Обмелевшая Волга,  
облупившийся кремль,

и, как тень, прохожу я  
словно сквозь миражи,  
сквозь простую, чужую  
позабывшую жизнь.

Не свистит.  
Не грохочет  
над моей головой.  
В ожидании ночи –  
хоть живи,  
хоть чего,

чтоб уснув,  
окунуться  
в огнепальные сны,  
не умея вернуться  
с очертевшей войны...

### Попытка возрождения

Как вспышка последнего гнева,  
комета махнула хвостом.  
Тяжелое черное небо  
подернулось Млечным Путем.  
Уродлив,  
как статуя нэцкэ,  
на блоке застыл БТР,  
и рвутся снаряды в Донецке,  
и полнятся сводки потерь.

Но – полнятся также прилавки,  
и учениками – лицей,  
на тракте –  
асфальта заплатки,  
улыбка – на женском лице.  
Плоды осторожной победы –  
ремонтные грузовики,  
и улицы –  
шумны и белы,  
и речи –  
смелы и легки.  
Концерты,  
гуляния в даты,  
и голубь вспорхнул в вышину.

Девчонка целует солдата,  
идушего не на войну...

...Разрывы над горловской трассой,  
и пальцы на спуске свето...

...Но Феникс  
простер над Донбассом  
пробитое  
пулей  
крыло.

## Ночные голоса

Волки идут  
по донбасской земле.  
Темные тени  
скользят средь полей,  
три силуэта –  
в туманной золе,  
вдоль облетевшей зеленки.  
Над задремавшим в ночи блокпостом  
ступу Яга погоняет пестом,  
ведьма крадется в тумане густом,  
воздух –  
бесшумный и ломкий.

Волки проходят  
среди тишины,  
средь настороженной полувоины,  
полем полупобедившей страны,  
черною ведьминской ночью.  
Сквозь суету,  
сквозь раздрай и разброд  
сводная тройка из трех разведрот  
линией разграниченья идет,  
зеленью светятся очи...

Тусклое небо  
да ветер в ушах.  
Волки проходят  
бесшумно,  
шаг в шаг,  
мимо оживших встряхнувшихся шахт  
и задымивших заводов.  
Тройка проходит,  
держа интервал.  
В мертвых глазах –  
Иловайск и Дебал,  
в сгнивших клыках –  
омертвевший оскал  
черного дымного года.

Души «двухсотых» недавних времен,  
души,  
лишенные тел и имен,  
тех,  
кто под сенью крестов и знамен  
сгинул «безвестным героем».  
Тех,  
кто зарыт –  
и забыт поскорей,  
тех,  
кто лишь в сводках  
и снах матерей,  
снах,  
что осколка гранаты острей,  
жив, и не знает покоя.

Средь прошлогодней  
пожухлой травы,  
свежей,  
когда они были в живых,  
тройка бессонных ночных часовых  
с остановившимся взором  
молча проходит  
притихшей страной,  
сытой по горло  
бедой и войной,  
под притаившейся в тучах луной –  
непримиримым дозором...

## Анна РЕВЯКИНА

Родилась в 1983 году в Донецке. Кандидат экономических наук, доцент кафедры Донецкого национального университета, заместитель декана экономического факультета.

Автор ряда поэтических книг, соавтор сборника «Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014–2015 годов», получившего в 2015 году специальный приз Национального конкурса «Книга года», проводимого Роспечатью. Основатель литературной студии «Кофе-кошка-Мандельштам».

Член Союза писателей ДНР, Союза писателей России. Живет в Донецке.

## А В ДОНЕЦКЕ СНОВА ГУДИТ ЗЕМЛЯ...

\* \* \*

Его вещи пахнут телом и табаком,  
они словно память, оставленная на потом,  
когда всё отболит, когда холм под его крестом  
перестанет быть моим личным адом.

Говори со мною, как хочешь, из-под земли,  
нас с тобою хотели разъять, но не развели  
по углам, а давай, как раньше, я тебе: «Отомри!»  
И пойдём по улице за яблочным лимонадом.

А вокруг сиреневый цвет и цветёт сирень,  
и у нас одна на двоих на асфальте тень.  
Тот, кто помнит, счастлив, болтлив, блажен.  
Хохочи же со мной во всё горло рядом.

Пустота внутри, словно маятник сбавил ход,  
и мне страшно, что это когда-нибудь вдруг пройдёт,  
и я стану одной из фальшиво мнущих платок сирот  
с равнодушным стеклянным взглядом.

\* \* \*

Мы уходим в осень и в комендантский час,  
в бесконечные стрельбы, в длинные разговоры.  
Мы уходим в беззвучный – одними губами – джаз.  
Мы уходим в город.  
Оставляем на память море и камешек на груди,  
мой куриный бог пахнет солнцем и крепким чаем,  
осень медленно листья скручивает, словно на бигуди,  
на ветру качает.

Этот милый посёлок, где простыни во дворах,  
белоснежные простыни, деревянные от крахмала.  
Эти спелые сочные фрукты до оскомины на зубах,  
аромат сандала.  
И сандаловый цвет во всю кожу в рассоле дней,  
и сандалий рыжих истёртые поворозки.  
Мы уходим в город, который всего важней,  
его улицы, перекрёстки.  
Его жёлтые скверы, бульвары, солнечные лучи,  
сентябрит здесь мягко, щадяще, нежно.  
Мы уходим в ещё одну осень, звенят ключи  
от города между.  
Между небом – высоким пронзительным голубым –  
и асфальтом, брусчаткой, травушкой, чернозёмом  
есть одно лишь счастье прижаться плечом к живым  
и сказать: «Я дома!»

\* \* \*

Кто читает все эти чёртовы сводки?  
Налей мне водки, промой мои раны,  
мы с тобой в подвале сидим, как в подводной лодке,  
имени русой Марии, имени плачущей Анны.  
Наша лампа-лампочка, наша маленькая лампада,  
жёлтая, жуткая, внутриматочная спираль мира.  
Не гляди на меня, Мария, я боюсь твоего взгляда,  
помолчим, Мария, здесь каждое слово – гиря.  
Наш подвал укромн, четыре стены и стулья,  
а ещё эти полки с помидорами-огурцами.  
Нас подвал уменьшает, съёживает, сутулит,  
мы становимся даже не сёстрами – близнецами.  
А на завтра сводки, от которых мне сводит душу,  
а на завтра снова учиться ходить по краю.  
Мы идём по улице – два морячка по суше,  
мы с тобою ещё ни разу не умирали.

## Реквием

Как уходят герои? Молча.  
Растеряв все рефлексy волчьи.  
Вместо слёз для них море горечи,  
вместо роз для них залп тройной

холостыми, и серый в штатском  
что-то скажет нам о солдатской,  
о судьбе двух народов братских,  
пофлиртует с седой вдовой.

А над кладбищем, там, где дымка,  
реют ангелы-невидимки,  
их не видно на фотоснимках,  
но ты слышишь шуршанье крыл.

Это ветер в густых берёзах  
прячет наши с тобою слёзы.  
Наша жизнь – чередой наркозов  
да расплёскивающихся чернил.

Развяжи мои губы словом,  
я парю над изрытым полем,  
я привык, что тобою болен,  
я привык уже умирать.

Я лечу, и мне светят звёзды,  
и рябины алеют гроздьё,  
и вся жизнь теперь то, что поздно,  
то, что вряд ли воротишь вспять.

\* \* \*

А в Донецке снова гудит земля,  
словно в худшие времена,  
только мама считает, что худшее впереди.  
Дом – четыре стены, но одна стена  
говорит: «Беги!»  
Моя мама устала бояться  
и устала вот так стоять,  
словно вкопанная в беду.  
Если вспять пространство  
и время вспять,  
то не смей подходить к окну.  
Это зарево сызнава – не заря,  
это зарево – зуб за зуб.  
Моя мама, ни слова не говоря,  
унимает дрожь, усмиряет зуд.  
Ей давно не страшно, она кремень,  
серый памятник площадной.  
Мама точно знает, она – мишень.  
Или кто-то из нас с тобой.

\* \* \*

Иногда пространство не выдерживает и рвётся,  
обнажая слои и заброшенные колодцы  
посреди дворов, где сирень и яблони,  
где высокий ты остаёшься маленьким...  
Навсегда. Там пахнет книгами и прочитанным,  
пахнет крепко, вышколенно, мучительно.  
Стой под яблоней и гляди на решётки в окнах,  
стой, покуда в горле не станет сохнуть...  
Слово за слово, мы вернёмся, на кальке детства  
абрис каждого обрисован, кто по соседству  
заливался смехом, судачил, бельё вывешивал.  
Твоя мама смотрела сны зачастую вещице.

Иногда в рулетке времени и пространства  
вдруг случается сбой, как на той подстанции,  
по которой ты узнаешь дорогое место, –  
красный дом внутри прожитого детства.  
Узкий вход в подъезд, беседка и сизый тополь.  
Он всегда был здесь, и всегда галопом  
вы носились по двору – оголтелые!  
А теперь ты впаян в иное тело,  
оно жёстче, суше, что, впрочем, кажется.  
«Я читаю души...» – «Прочти, пожалуйста!» –  
ты стоишь навывтяжку, просишь взглядом.  
И я вижу небо!.. Его громада,  
если черпать, так же неисчерпаема,  
как и эта горловская окраина.

\* \* \*

На небе ночь погонная ясная  
отражается в реке звёздами.  
И одна из этих звёзд красная,  
остальные пахнут соком берёзовым.  
Звёзды тихо колышет реченька,  
травы ластятся по-звериному,  
ни души вокруг, ни человечка,  
лишь деревья руками длинными  
на ветру шелестят – акации.  
Эта вольница – степь военная.  
Из карманной радиостанции  
разговаривает вселенная –  
утончённая, гумилёвская,  
широченною кистью писана.  
Эта вольница – степь монгольская,  
так шелка расшивают бисером,  
как ты буквы в слова, что бусинки,  
как ты словом, как будто выстрелом.  
И слова твои слишком русские,  
и слова твои слишком чистые.  
Ручеёк так руками черпают –  
прозорливость воды нехоженной –  
как с тобой мы вырастаем нервами  
в эти чистые подорожники.  
И врачуют они нас ласково  
под распахнутым небом звёздным.  
И одна из этих звёзд красная,  
остальные пахнут соком берёзовым.

## Андрей ШЕВЦОВ

Родился в 1982 году в Тюмени. Окончил Институт государства и права Тюменского государственного университета. Кандидат юридических наук, доцент. Работал тренером, преподавателем, журналистом.

Публиковался в альманахах, в журналах «Сибирские огни», «Москва», «Нева», в «Литературной газете». Автор книги стихов «Яблочный Спас» (2014). Победитель Межрегионального поэтического конкурса «Светись, светись, далекая звезда...», посвященного 200-летию со дня рождения М. Лермонтова (Москва, 2014). Вошел в лонг-лист I Санкт-Петербургского поэтического конкурса «Критерии свободы» имени И. Бродского (2014).

Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

## ...И ПРОТРУБИТЬ В КОРОВИЙ РОГ НАД РУСЬЮ

\* \* \*

Вино прокисло, женщина ушла,  
Среди берез гуляет Смерть в исподнем,  
И фонари торчат из-за угла  
Как желтые порталы преисподней...

Читаю Книгу. Острые слова  
Сейчас проникнут в тело, но, возможно,  
Воскреснет отсеченная глава...  
И Саломея спляшет осторожно.

Так где же затянувшийся рассвет?  
Молчит рыбак, не вытянув улова.  
И только от осины – горький свет,  
И только страх евангельского слова.

\* \* \*

Спать целый день, проснуться и идти,  
купить себе два коржика молочных,  
раздумывать о женщинах восточных,  
о чае, рисе, Шелковом пути;  
варить варягов в сумрачном мозгу  
и снег топтать ботинками угрюмо,  
и руки по карманам, как по трюмам,  
держат, жалея пальцев мелюзгу;  
и прочитать «Славяне» – на стекле  
той жёлтой «жучки» битой и убогой;  
и тыщу лет за пазухой у бога  
сидеть в кимвале медном, как в котле;

кормить печаль и жирный чернозём,  
и в волчий глаз смотреть, как в человеческий,  
но встать однажды с русами на вече, –  
метнуть копьё в заплывший окоём,  
сломать крестец, вернув злачённый шлем,  
и протрубить в коровий рог над Русью,  
что справились и с Големом, и с гнусью, –  
без ветхих аллегорий и эмблем.

\* \* \*

Иван-дурак в моем дворе  
Жил в середине девяностых,  
И нам, окрестной детворе,  
Пел ту кабацкую, для взрослых.  
И мы в Кейптаунском порту,  
Желая женщин, шли на берег  
В таверну «Кэт» и поутру  
Лишались жизнью, а не денег...  
А он курил, молчал в рукав,  
Твердь подбородка подпирая,  
И огонёк в его руках  
Дрожал, у пальцев замирая.  
Как бывший зэк иль остолоп,  
Меж двух столбов гулял в печали,  
И восковой массивный лоб  
Его клонил к земле. Звучали  
Аккорды «Бай мир бисту шейн».  
Висел туман кудрявой взвесью.  
А дома розовый портвейн  
Стекал в нутро палёной смесью...  
Мы подросли, кончался век,  
На нож Иван нарвался в драке...  
Едва плыла меж пьяных вех  
Страна с пробоиной. Во мраке.

\* \* \*

Кондуктор сидит на канистре с водой,  
автобус скрипит вдоль оврага...  
Три года назад был ещё молодой,  
теперь испаряется влага:  
становишься сух, как последний репей,  
и чёрств, как забытая булка,  
и видишь, хоть зрелища нету глупей,  
свет в тёмном носке закоулка.  
Наверно, там душит какой-то бандит  
струною от лиры вакханку.  
А мне наплевать, кто в конце победит,  
чей логос заполнит лоханку.  
Я выйду с автобуса в свой променад,  
замру на краю у оврага...  
И чаячи крики иль вопли менад  
вольются в меня, словно брага.

\* \* \*

В железной кружке  
хранится мелочь.  
Тряхнёшь за дужку,  
услышишь Мелос.

Пойдёшь, как нищий,  
за круглым звуком.  
Вздремнёшь в копнище  
за Бузулуком.

Расслышишь ржанье  
ножа и плуга.  
И в жёлтой шаньге –  
движенье Круга.

Земля прошепчет  
в босые пятки,  
что Время шибче  
белёсой прядки.

Достанешь череп  
луны над лесом.  
И снова в чреве  
слепом и тесном.

\* \* \*

Воздух пахнет арбузом,  
Мир такой ледяной.  
И таинственным грузом –  
Облака надо мной.  
Слабый ветер младенцем  
Плачет в люльке ветвей...  
Гроб на двух полотенцах  
Спустят в царство теней.  
И в подземные будни  
Я вползу не спеша...  
Там в белёдые клубни  
Вжилась чья-то душа.  
Я же – в корень, пожалуй,  
Золотистой сосны,  
Чтоб в зелёные жала  
Потекли мои сны...

## Евгений ШИШКИН

Родился в 1956 году в Кирове. Окончил Кировский политехнический институт, филологический факультет Горьковского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького.

Руководил студией во Дворце культуры железнодорожников, работал в речном училище, в Бюро пропаганды художественной литературы, в издательстве «Бегемот», главным редактором журнала «Нижний Новгород» (1998–2001), преподавателем в Литературном институте им. М. Горького. В настоящее время – заведующий отделом прозы журнала «Наш современник».

Член Союза писателей РФ. Лауреат премий им. В. Шукшина, им. А. Платонова, им. И. Гончарова и других. В 2016 году был удостоен премии М. Салтыкова-Щедрина за роман «Правда и блаженство» (2012).

Живёт в Москве.

### *Из цикла «ГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКА»*

## УБЕЙ НЕМЦА

Из детства, из того благословенного времени, когда мир радостно изумляет, а кусается еще не очень больно, мне живо помнятся наши семейные походы в гости к родственникам. Родственники – по линии отца: его братья и сестры, их жены и мужья, для нас с братом – дяди и тети.

Жила наша родня в пригороде Вятки, в заречье, путь туда был не далек, но всегда волнующ, ибо ездили мы к ним на праздники: Новый год, 8 Марта, Октябрьская, а если День Победы выпадал на воскресенье (тогда этот праздник не был красным днем календаря), то и на 9 Мая.

День Победы нам с братом нравился больше всего. В этот праздник наши дяди-фронтовики надевали награды и кое-что рассказывали о войне; вообще-то фронтовики в ту пору о войне не распространялись, наградами не хвалились, да и было у них наград немного, это потом пиджаки стали увешивать юбилейными медальками.

Поутру перед поездкой отец готовил себе и нам с братом обмундирование: до умопомрачительного блеска чистил свои и наши ботинки, с тщанием пропаривал через марлю брюки от выходных костюмов, закладывал каждому в карман пиджака по наглаженному носовому платку. Мать тоже готовилась к поездке очень усердно, ходила в на-

крученных бигуди, долго гладилась, примеряла разные серьги и бусы, советовалась с отцом по части платья и воздушной косынки, красилась, что-то забывала, что-то вспоминала, суежилась...

На отца в этот день мы смотрели с уважением. На груди у него – медаль, которую он надевал только на 9 Мая. С барельефом Сталина и оранжево-черной лентой – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Военная история у отца не была боевой и геройской, больше – тыловой, но все же пролегла она по фронтовым рельсам... В армию отец попал незадолго до войны. На учениях, на полигоне, осколком гранаты, неумело брошенной молодым солдатом, отцу раздробило локтевой сустав. Отца отвезли в госпиталь, где военный хирург, не церемонясь, заявил цинично и просто: «Руку не спасти! Надо ампутировать! Комиссуем – поедешь к матери в деревню молочко пить...» – «Чего?! – взбеленился отец. – Отрезать? Не дам!» – В своем решении он оказался тверд: отрезать не дал. Руку ему спас другой хирург, гражданский. А когда началась война, на строевую службу его не взяли, но взяли на тыловую – в паровозное депо. В годы войны он помощником машиниста гонял составы по Северо-Западу, не раз попадал под авианалеты и бомбежки, но судьба миловала. И награда за Победу была истинно заслуженная.

На 9 Мая мать никогда не ограничивала отца в выпивке. Потому мой старший брат, который соображал насчет выпивки азартнее, чем я, задавал отцу простодушные вопросы:

– Пап, а сколько ты сможешь выпить?

– Четверть! – резко, незамедлительно, категорично отвечала за отца наша мать.

Отец на ее дерзкий выпад отмахивался:

– Болтает она... – И далее он рассуждал: – Смотри при какой закуске. При мясной хорошей закуске: холодец, пельмени, окорок – бутылку белого выпью незаметно...

– Белого – это водка? – уточнял я.

– Ну да. Белого...

– А две выпьешь? – приставал брат.

– Две тоже выпью. Но это уже... – Отец изображал рукой что-то округлое, увертливое.

– А три? – вступал опять я.

– Нет! Три будет много. Даже под любую закуску. Две с половиной еще можно взять, а три много...

От старенькой деревянной автостанции, которая кишела народом, мы ехали в заречье. Сперва дребезгучий автобус вез нас по городу, который был украшен стягами, растяжками, плакатами; у обелисков и танка Т-34, что задирали дуло на постаменте, лежали венки. По дороге попадались группы людей и даже небольшие колонны – ветеранов, школьников, – которые несли венки и цветы на мемориальные кладбища. До Вятки боевые действия не докатились, но повсюду в городе были госпитали, из них и везли невыживших фронтовиков на воинские захоронения, которых набралось премного.

Автобус был набит битком, и когда поднимался в гору, урчал на последнем издыхании, – казалось, чихнет сейчас, заглохнет и покатится обратно, вниз. Но нет! Не мог автобус подвести в этот день, в День Победы, – солдаты в войну такого зверя одолели, в таких трудностях сдюжили, а автобус вдруг да и подкачает. Не подкачал! Взбирался на гору, делал передых, а дальше вниз катился легко и весело.

В салоне, хоть и тесно, но светло и радостно от праздника. Все вежливы и учтивы, затевались нечаянные знакомства, разговоры, а нас, детей, даже шаливших и без того добавлявших суетолки, одергивали и приструнивали снисходительно.

Наконец мы в доме родственников, у тети Шуры. Нас тут уже ждут-пождут. Дом у них большой, прихожая огромная, и все выходят нас встречать. Кроме хозяйки, тут – тетя Люба, тетя Аля, дядя Федор, дядя Коля и сам хозяин Евгений Ильич. Почему по имени-отчеству? Иначе никто его и не зовет: он учитель математики в школе, а в войну был офицером. Приветствия женщин, объятия, крепкие рукопожатия мужчин, у которых награды на пиджаках; дежурные вопросы-ответы; а за взрослыми нас с братом ждут, жмутся и хихикают наши четыре кузины.

В зале стоит огромный стол, вернее, два стола, составленных воедино, под белой скатертью. На столе уже блистают посудным золотом тарелки, фужеры, стопки, в центре – ваза с фруктами.

Мать тут же вливается в женскую компанию и отправляется на кухню. Мы с кузинами перемещаемся в детскую и сразу начинаем «дурить»: тычки, щипки, прыжки на диване, в ход идут и подушки... Дверь в детскую нам, однако, закрыть не дают, чтоб мы были на виду. Мужчины чинно сидят на диване и стульях и курят (это теперь придумали курить где попало, на кухнях, на лестничных площадках, даже в туалете, а тогда курили достойно – в комнатах). Сегодня они курили, разумеется, дорогой «Казбек», хотя в обычные дни обходились «Беломором» и рабоче-крестьянским «Севером».

Словами мужчины не частили, разговор необязательный, а праздника Победы и войны касался лишь рикошетом:

– Кореш у меня на фронте был. Клоун цирковой. Так он дым из ушей пускал... – посмеиваясь и поблескивая золотой фиксой, вспоминал дядя Коля; он был моложе всех и на фронт попал под конец войны, но два ордена Красной Звезды успел заслужить.

– Языками чесали: всех победим, токо сунься! А случилось – одна винтовка на троих, и та без патронов... Махорки и той в первые годы войны на фронте не хватало, – с обидой на кого-то говорил дядя Федор. Из собравшихся фронтовиков он был самым старшим и самым геройским... На груди у него – две медали «За отвагу», орден Славы, медаль «За взятие Берлина»; был он дважды ранен, контужен, но оказался живуч, дошел до немецкого логова.

– На немца вся Европа работала. Вот и экипировка у них была великолепная. И табак со всего миру... – сказал Евгений Ильич; у него на лацкане висела только одна медаль: «За Победу над Японией», хотя мы знали, что и на западном фронте учитель тоже воевал.

– Самосадом обходились. Бабки на станциях продавали. Стаканами, – прибавил на табачную тему отец.

На столе тем временем всё прибывало и прибывало. Холодец, винегрет, салат под майонезом, золотистая от масла, в кольцах лука селедка в продолговатой селедочнице, капуста с вкраплениями клюквы, соленые огурцы и помидоры, окорок тонкими ломтиками. Среди закусок и разносолов особым почтением пользовались рыжики, зелено-бурые, крепенькие, мелкого размера, некоторые настолько малы, что не насадить и на вилку...

Но что бы на столе ни появлялось, мужчины взирали на это несколько отстраненно и отмечать праздник как будто не спешили. Пока на столе не появлялась водка. Из холодильника. Запотевшая. «Столичная». Это было сигналом к началу застолья.

Мужчины, просияв лицами, рассаживались вокруг стола, оставляя место рядышком для своих дам. Дамы окидывали себя взглядом в зеркало, прихорашивались и подтягивались к столу. Нас, детей, помещали на одну сторону. Хозяин Евгений Ильич брал бутылку водки, срывал за язычок головку... Женщинам наливалась, как правило, «Рябина на коньяке», нам – пузыристое шипучее сидро из темных бутылок.

Первый тост не был за Победу. Первым всегда оставался традиционный: «За встречу!» Говорили все однообразно и пустовато:

- Давайте – за встречу!
- Давайте...
- С приездом!
- Давненько не видались...
- Ну давайте: за всё хорошее!

Взрослые чокались стопками и рюмками со спиртным, мы с братом с двоюродными сестрами стаканами с лимонадом. Мужчины после охотно приступали к закускам, женщины от выпитого морщились, трясли головой, зорко следили друг за дружкой:

– Ты чего не всю выпила?! Ну-ка давай, давай, полную. Я, погляди-ка, вот всю до капельки...

Разговор начинал разгораться, оценивали закуски, нахваливали рыжики... Мужчинам вскоре хотелось выпить по второй. Теперь уже тост был «За Победу!». Сами же речи и возгласы были опять простецкими:

- С праздником!
- Давайте отцов помянем!

Все вставали. Почти все наши деды, то есть отцы старшего поколения, которое собралось за столом, погибли на фронте. Они первыми встретили врага в самое горячее лихолетье: 41-го – 42-го...

– За отцов! – В глазах женщин появлялись слезы, мужчины темнели лицом. Праздничный настрой сменялся поминальным. Но ненадолго.

– За детей, чтоб без войны прожили!

Взрослые смотрели на нас. Мы с братом стояли по стойке «смирно», твердо держали стаканы с лимонадом.

Затем от нас, детей, негласно требовалось дать короткое представление, соответствующее празднику, что-то вроде концерта. Мы с братом «косили» от таких затей. На выручку приходили кузины. Двое из них занимались в самодеятельных кружках, а одна играла на пианино, так что мы могли шланговать... и как зрители наблюдали выступление.

Сперва одна из сестер прочитала стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Читала она проникновенно, тепло.

Жди меня, и я вернусь.  
Только очень жди...  
Жди, когда наводят грусть  
Желтые дожди...

– взволнованно умолял девичий голос.  
Все слушали сосредоточенно.

... Жди меня, и я вернусь,  
Не желай добра  
Всем, кто знает наизусть,  
Что забыть пора.  
Пусть поверят сын и мать  
В то, что нет меня...

Тут отец, возле которого мы сидели с братом, благодушно хмыкнул и тихо сказал:

– Ерунду сочинил... Мать ждать будет всегда. Пуще всех...

Наш дед, отцов отец, на фронте «пропал без вести», где-то на Калининском направлении. Мы с братом не могли понять: как так «пропал без вести», это же боец, не иголка в стоге сена?! Мать нашего деда, наша прабабушка была жива, своего сына она ждала до сих пор и даже куда-то подавала запрос (сама безграмотная, другие за нее писали): не нашелся ли сын? – хотя минуло уже два десятка лет.

– Мать ждать будет всегда. Пуще всех, – повторил отец.

Дальше самая старшая из наших кузин, которая мечтала стать артисткой и ходила в театральные кружки, читала фрагмент литературной композиции, подготовленной в том же театральном кружке к 9 Мая. Сперва она объявила:

– Из статьи Ильи Эренбурга «Убей!» – Потом она повернулась к публике боком, гордо подняла голову, как настоящая артистка, и читала громко и призывно: – «...Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь немца, немец убьёт тебя». – Она произносила это металлическим голосом и с таким ожесточением, что сама на себя была не похожа, словно какая-то комиссарша из кино. – «...Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов...»

В этом месте не выдержал дядя Федор. Он негромко, но как-то дико, язвительно всохотнул и, чему-то дивясь, тряхнул своим седым чубом; однако монолог «артистки» не прервал, тут же замер, уперся взглядом в пол.

После этого чтения в воздухе скопилось много какой-то напряженности и неловкости, хотя исполнительнице все хлопали в ладоши. И тут хозяйка тетя Шура обратилась к своей дочке, юной пианистке:

– Сыграй песни! А мы споем!

Женщины голосисто спели и про «Катюшу», и «На позицию девушка провожала бойца», и «Огней так много золотых на улицах Саратова...» Вышло очень душевно.

Теперь наступал черед пельменям. Пельмени в застолье – это целый ритуал... От того, каковы пельмени, зависел настрой стола, оценка заслуг хозяйки; обыденное блюдо волшебным образом превращалось в деликатес. Пельмени подавались с маслом, со сметаной, с уксусом, с соусом, с хреном. Один из пельменей был непременно «пустой» – вернее, в нем вместо мяса было тесто; кому такой пельмень доставался, тот считался счастливей всех.

Пельмени у тети Шуры были исключительными... Пиршество продолжалось, говорили о чем-то общем, семейном, родовом. Затем женщины отправились на кухню – вероятно, посекретничать на женские темы. А мужчины выпивали, без тостов, кивали друг другу и выпивали. Немного развязывали языки...

Наш отец, хмелея, вспоминал о какой-то поездке, о которой всегда вспоминал по пьяному делу, говорил короткими предложениями:

– Бомба в вагон... Народу тьма-тьмушая. Кровь из вагона ручьем льется... Из Ленинграда в эвакуацию везли. Ребёнок больше всего жалко...

Вот в эти минуты мы с братом и подступали к своим дядям, чтобы что-то выведать о войне, о подвигах, о том, как били фрицев. Больше всех нас манил дядя Коля. Мы знали, что в войну он служил в особом

разведбатальоне, пересекал на самолете линию фронта, десантировался в тыл врага, выполнял спецзадание и возвращался назад.

После войны он попал в тюрьму, сидел «за любовь» – так мы слышали от взрослых, но спросить об этом мы его не смели, считали, что он вступился за свою девушку и здорово накостылял сопернику. Был дядя Коля невысок, крепок, никогда не пьянел. И был силачом. Однажды он сказал: «В драке троих держу». Не находилось по округе ни одного, кто мог бы выиграть у него поединок на руках (позднее это назовут армрестлингом). Мы с братом тоже пробовали свалить вдвоем, в четыре руки, его руку. Дядя Коля нам поддавался – мы радовались. Потом трогали его каменные бицепсы и смеялись...

– Дядь Коля, сколько раз ты прыгал на парашюте? – допытывались мы с братом.

– С парашютом, ребята. Всего девятнадцать прыжков. Четыре – за линию фронта, – отвечал он.

– А наград-то у тебя две! – указывал мой брат на два ордена дяди Коли. – Два задания, значит, не выполнил?

– Не выполнил. Враг-то был больно хитрючий, – улыбался он, блестя золотой фиксой.

В такие минуты застолья совершенно добродушным, мягкотелым и совсем каким-то непедагогичным становился строгий учитель математики Евгений Ильич. Он курил как паровоз. Дым пускал из ноздрей большими столпами. Когда он брал очередную папиросу из коробки, мы с братом зажигали спичку и подносили к его папиросе. Он ласково смотрел на нас и говорил, расплываясь в улыбке:

– Я Ленин...

Мы смотрели на него с недоумением.

– Я Ленин папа... – Он смеялся.

Он безумно любил свою дочку Леночку, которая играла на пианино. Добиться рассказов о войне от Евгения Ильича было почти невозможно. Однако его фронтную судьбу мы с братом все же узнали – спустя лет сорок, – он поведал нам ее перед смертью, когда был уже глубоким стариком.

«На войну я попал студентом. Знал немецкий. Это меня и погубило... Определили меня в особое подразделение – заниматься сбором трофеев и немецких архивов. Ох, уж и не любил я эту службу! Рапорты писал, чтоб отправили на передовую... Как же так, я домой вернусь и скажу, что на войне золотые портсигары подбирал и бумаги перекладывал. Только в конце сорок четвертого отправили меня на танковые курсы, потом – на фронт. Командиром танка на новенькую “тридцать-четверку”. Радовался я, будто каждый день у меня день рождения... И вот первый бой. Атака. Мой танк должен первым промчатся по мосту и войти в населенный пункт... Сигнальная ракета. Вперед! И вдруг на мосту мотор танка глохнет. Ни туда ни сюда! Атака сорвана. Танк на буксире притащили в расположение части. Меня – под следствие: сорвал важное задание, не подготовил машину к бою, парализовал атаку батальона... Хорошо был толковый, честный мужик зампотех. Он и доказал, что экипаж танка не виновен, у машины заводской брак. Танк отправили на завод-изготовитель. Оттуда пришел акт. Так и есть: заводской брак в двигателе. Меня освободили. А война к тому времени с Германией кончилась... Мне досталось повоевать только с японцами».

В исповеди Евгения Ильича сквозила горечь, словно на войне с Германией он так и не появился.

...О боях, о фронтовой жизни скупенько делился с нами дядя Федор. Он вскидывал свой седой чуб, смотрел куда-то мимо нас с братом и говорил будто бы для самого себя:

– Всю войну прошел, ранен был. А вот верил, что меня не убьют. Выживу! Только один разок... Думал, копец котенку... Днепр форсировали ночью, снаряд в наш плот угодил. Я кой-как за бревно уцепился. Держусь, зубы от холода стучат. Несет меня по теченью. Чую, силов боле нету. Счас бревно не смогу держать, и всё – каюк. Уж и глаза закрыл, и вся жизнь разом примерещилась... Но вдруг: под ногами чего-то твердое. Носком сапога достаю – берег. Еле выкарабкался... Вот так-то. И не верил в Бога, так поверил...

– Дядя Федор, – подступали мы к нему с братом, – а сколько немцев вы на войне убили?

Он отвечал нешутейно и прямо:

– Бить бил. А сколь точно, сказать не могу. – Тут дядя Федор рассмеялся, – и не то чтобы весело, и не то чтобы зло, а как-то насмехательски рассмеялся... – Помню, политрук нам статью из газеты читал, ту же самую, что племянница счас говорила... – Дядя Федор гнусовато, видать, передразнивая политрука, произнес: – Убей немца! Убей немца!.. Прочитал он нам эту чепуху, спрашивает: каково ваше мнение? Я встал и говорю. «Убей немца»? Чего там этот писака, сытый, в тепле, из Москвы орет: «Убей немца»? Пускай к нам в окопы приезжает да убьет немца. Хоть одного. Вон, на той стороне, их сколь много. Знай бей! Сколь хошь! И пехота, и танкисты, и артиллеристы – полно немцев-то. Приезжай да бей! Чем языком ветер гонять... – Дядя Федор потянулся к пачке с «Казбеком», которая лежала на столе, но потом убрал руку, полез в карман пиджака, достал помятую пачку «Беломора», закурил. Пальцы у него на правой руке – указательный и средний – были желты от табаку.

– Наливайте, мужики! Помянем тех, кто не выжил...

Урезать в выпивке женщины мужчин даже не пытались. В этой мужиковой пьянке был потаенный смысл, словно они что-то заливали в себе, может, тушили воспоминания о войне, в которой для них было что-то темное, уродливое, больное, даже несмотря на то что были они победителями.

Пройдет много лет, и мы с братом пойдем: это были очень сильные люди. Они одолели голод, холод, войну, тюрьму, ранения, тяжкий крестьянский и заводской труд, они отстояли Родину от фашистов, они восстановили страну из руин. Эти простые русские люди не умели скрываться за чужими спинами, лебезить перед начальством, славословить генсекретарей... Мы с братом каемся, что мало общались с этими родными людьми, чего-то у них не спросили, не разузнали. Нам остается только помнить, что они незримо стоят за нашей спиной.

...Дальше в застолье шло сладкое. Женщины расставляли чайные приборы, тетя Шура подавала огромный пирог, разделенный на квадраты, заполненные повидлом. Чай был очень ароматный. К празднику хозяйка всегда умудрялась доставать что-то особенное.

Все пили крепкий душистый чай с пирогом. Праздник 9 Мая подходил к концу.

Домой мы возвращались по потёмкам. Автобус был набит еще сильнее, чем днем, и мы с братом, прижавшись к отцу-матери, засыпали в толпе стоя.

## КАВАЛЕР

Летом к нам, на окраину Вятки-города, на тихие, не знавшие асфальта улочки, непременно наведывался приемщик вторсырья. Дома тут располагались частные, с огородами и дровяниками, да бревенчатые отемненные заводские бараки, с сараюшками, которые, казалось, сразу построили с инвалидным наклоном. А где больше всего барахла? – именно под кровом таких подсобных построек, имевшихся здесь в избытке. Да на чердаках...

Звали приемщика Кузьмой. За глаза некоторые кликали его с унижительной простотой – Кузя. «И когда Кузя приедет? За зиму стокохламу накопилось. Сбагрить ему подчистую...» Но в лицо его величали уважительно, а то и вовсе с почтением, как учителя, Кузьмой Тимофеевичем.

Профессию его тоже называли всяк на свой манер. Чаще всего – утильщик. Помимо приемщик, иногда – сборщик; некоторые – почему-то барахольщик, а как-то раз мы услышали от старой седой очкастой тетки заумное и заковыристое: «Мануфактурщик».

Привозила Кузьму на точку раздрызганная, вечно пыльная, с вихляющимися, грохотливыми бортами полуторка – будто вытащенная откуда-то со свалки. Привозила груженного всякой всячиной, и Кузьма разбивал пункт. На земле устанавливал широкие железные планшетные весы, а поблизости раскладывал и развешивал товар, который в магазинах днем с огнем не сыщешь. Место обустраивал самым заметным, крикливым образом, чтобы подвигнуть народ любого возраста к сбору и сдаче утильсырья. На вытянутый шпагат вдоль ближнего забора развешивал женские платки с красными цветами, коврик с рогатым оленем, махровые клетчатые полотенца, покрывало с тощей узкоглазой китайкой, несущей кувшин с водой; и обязательно – гроздь ярких, в разноцвет, воздушных шаров, которые и магнитили нас, мальчишек, призывая и принуждая к сбору макулатуры, металлолома и тряпья, – при виде этих шаров руки так и чесались уволочь что-нибудь, что плохо лежит...

Расплатиться за вторсырье Кузьма мог не только товаром, но и деньгами: две копейки за кило металлолома, четыре – за кило старых газет, но деньги – медяшки да бумажки – мало кто брал, женщины зарились на вельвет, тюль да на крепдешин, редкостный в магазинах, или отмеряли черного сатина, из которого шили трусы; мужики приглядывали ходовую половую краску и сурик для крыш, хозяйственный инвентарь, а иногда те и другие брали дребедень: прищепки, глиняную расписную свистульку или книжку-раскраску.

Однажды мы с братом надыбали в собственном сарае и на вышке не годящегося для дела лома: ржавый-прержавый молоток, амбарный

замок без ключей, воротные петли от каких-то древних ставень, велосипедную облезлую изувеченную раму, чугунок литров на пять-шесть. Дабы провести утильщика и выторговать у него побольше товару, в чугунок мы положили пару увесистых булыжников, насыпали в придачу сырого – чтоб потяжельше и поплотнее – песку, а сверху, чтоб прикрыть подвох, навалили ржавых гнутых гвоздей, болтов, шайб и гаек.

Все свое богатство за пару ходок мы приволокли Кузьме и воззрились на его смуглые скулы, чтобы он поскорее начинал обвес и оценку нашему сырью. К принесенному нами железу Кузьма особого интереса не проявлял, перевешивал равнодушно, толкнет ногтем по металлической блестящей плашке гирьку, назовет вес и щелкнет костяшками больших деревянных счет, которые тоже неизменно держал под боком. Добравшись, однако, до чугунка, Кузьма что-то заподозрил: то ли порядочный вес его смутил, то ли прочитал в наших лицах волнение. Он снял чугунок с весов и приказал:

– Вывалите! Чего там у вас?

Мы с братом мялись, не хотели собственными руками вытряхивать наружу свое жульничество... Кузьма терпеливо ждал. Мы стояли истуканами, глядели на него исподлобья. Наконец Кузьма сам нагнулся, опрокинул чугунок; вместе с гвоздями и гайками оттуда высыпался песок, вывернулись из него серые бока булыжников. Мы нешуточно струхнули, даже переглянулись и подумали: не дать ли дёру – как бы не высыпал нам утильщик, а еще хуже не добрался бы с жалобой до наших родителей. Но до слез было жаль «честного» утиля! Да и угрозы и злобы Кузьма не проявлял. С рабочей простотой он высыпал весь песок из чугунка, булыжники отшвырнул в траву, в канаву, и кивнул на железяки:

– Гвозди и болты обратно. И на весы!

Мы мгновенно исполнили его приказ – теперь уже чисто плотный чугунок красовался на приемке. Кузьма присел на корточки, потолкал гирьку по плашке и опять щелкнул деревяшками на счетах. Сказал спокойно и убедительно:

– Песок и камень мы не берем. Нам только металл нужен.

На причитающиеся нам деньги мы набрали товару: по свистку, коробку цветных карандашей, а главное – переводных картинок, которые были тогда в большой моде.

Рассчитавшись с нами, Кузьма, за неимением других клиентов, сел на куль с тряпьем и закурил папиросу. Мы не торопились уходить от него, после его снисходительного отношения к нашему обману мы имели особенное право потереться возле пункта приема и кое о чем попытать Кузьму, – хотя был он немногословен и досужих рассказов от него мы не слыхали.

В ту пору – конец пятидесятых – не принято было у старших молоть языком, рассказывать правду и неправду о недавно минувшей войне, выставлять на показ и святость освободительной борьбы, и жестокость, и мерзость неизбежного смертоубийства. Не принято было носить и награды, увешивать грудь не только разными цацками, юбилейными медальками и значками, но и боевыми наградами. А Кузьма никогда, казалось, не снимал со своего старого, облоснившегося, темно-коричневого пиджака две награды, две звезды: одна – цвета меди, другая – под серебро, обе с одинаковыми оранжево-черными ленточками.

– Это не медали, ребята. Ордена Славы, – отвечал на наш вопрос Кузьма. – Их давали исключительно солдатам. За подвиг. Самые выс-

шие награды... Это, – он указывал желтоватым от табака пальцем на звезду медного достоинства, – орден третьей степени, а этот, серебристый – второй. – Он сделал затяжку, прищурился. – Мне ведь и первой степени хотели дать. Документы не успели оформить, бомба в штаб попала. А то был бы я полным кавалером ордена Славы. Это даже выше, чем Герой Советского Союза. Почету больше.

О достоинствах и почетности воинских наград мы с братом имели представления покуда примитивные, нам-то высшей солдатской наградой казалась медаль «За отвагу» с выбитым танком на серебристом кругляше, но про Героя Советского Союза мы, конечно, слышали, – и знали, что выше-то их по подвигам не может никто другой сравниться, никакой «кавалер». Причем слово «кавалер» казалось каким-то несерьезным, насмешливым, ну вроде как «Кузя» для имени Кузьма. Кавалер – это некий ухарь, фраер (это слово мы тогда уже знали), который начистил сапоги, заломил фуражку и пошпарил на вечерку плясать с девками, которые лузгают семечки.

Мы внимательно вглядывались в ордена Кузьмы и невольно прикидывали, какой может выйти из него военный герой с двумя подвигами и с еще одним подвигом, который не засчитали, потому что разбомбили штаб. Был Кузьма щупловат, пиджак сидел на нем мешковато, невысок ростом, шея худая, и лицо такое простое, что попадись прохожий с таким лицом, взглянешь на него как на обычный куст акации, которая растет возле дороги.

Про подвиги, даже имея к этому любопытство, мы Кузьму не спросили, не удалось: к утильпункту пришла седая тетка, та самая, которая называла Кузьму по-умному «мануфактурщик», принесла куль какого-то барахла и старый небольшой ковер, свернутый в трубочку; нам она шибко не нравилась, и мы ретировались... Да, по правде-то, мы и не поверили словам Кузьмы. Разве мог он совершить боевые подвиги на фронте, а потом стать утильщиком и промышлять разной рванью и рухлядью?! Мы подумывали даже, что награды, а может быть, и пиджак вместе с наградами он у кого-нибудь выторговал за свой редкий товар; он утильщик, и такой, редкий, товар ему положен для обмена.

Много лет спустя, работая в архиве одного из вятских военкоматов, я наткнулся на личное дело рядового красноармейца Кузьмы Тимофеевича Измествьева, фотографии в деле не было, так что сразу определить, тот был Кузьма или не тот, возможности не представлялось. Но наградные документы свидетельствовали, что он дважды кавалер... Даже нашлось представление еще на один, «золотой», орден Славы, который Кузьма Тимофеевич так и не получил при жизни. Орден по сей день хранится в военкомате, передать его некому, так как близкий родственников у Кузьмы Тимофеевича не оказалось; семьей после войны он не обзавелся, довоенная семья – жена и дочка – скончались от тифа; его мать Клавдия Николаевна умерла рано, в 49-м, а отец Тимофей Измествьев и двое сыновей (братьев Кузьмы) погибли в годы войны на разных фронтах.

...И все же вопрос о фронтовых подвигах мы с братом Кузьме задали, в очередной его приезд.

– Да какие подвиги, ребята, – отмахнулся Кузьма. – Всякий, кто воевал, подвиги делал. В разведку ходил, реку форсировал, дом штурмом брал...

– Ну хотя бы самый главный подвиг, – не отступали мы.

Кузьма недолго подумал, ответил на полном серьезе:

– Главный подвиг? Я за свой главный подвиг ни медали, ни ордена не получил... Я картину спас.

– Картину? – удивились мы.

– Да. Был такой художник Айвазовский... Так вот однажды, мы тогда Крым освобождали, горел дом. Красивый такой дом, с колоннами, музей какой-то... А возле него баба мечется. Кричит: там же Айвазовский! Кто такой Айвазовский, я тогда не знал. Думал, мужик какой-то в огне погибает. Спрашиваю: где твой Айвазовский? Она мне: «У рояля, на втором этаже!» Я и бросился в дом, в самое полымя... Рояль нашел, дым кругом, а никакого мужика нету. Тут-то я и сообразил, Айвазовский – это картина. Стащил полотно, оно не больно велико и было, чуть поболее метра в длину, – и обратно. Сам обгорел, плечо поранил, а картину спас. Баба, музейщица-то, вся в слезах от радости. Говорит мне: вас в веках будут помнить... – усмехнулся Кузьма.

– А чего на картине-то было? – спросили мы.

– Да я уж позабыл. Море вроде бы, камни, лодка какая-то. Этот Айвазовский, говорят, только про море и рисовал...

Кузьма достал пачку папирос, но закуривать не стал. Из-за угла ближнего дома вывернула тетка, толкающая тачку, на которой горой лежал всякий хлам.

## ЛАПТИ

Мои бабушки, вятские крестьянские уроженки, Евдокия Ивановна Шишкина и Анна Федоровна Евдокимова, едва могли написать свою фамилию в какой-нибудь неизбежной бумаге, требующей подписи. Не умели они и читать, разве что «по складам» разбирали какой-нибудь важный документ или весточку от родственников, находящихся на войне, в неволе или в далеких краях.

В юности, в студенческие годы, когда боготворимая Литература захлестывала меня своими чудными книгами наших и тамошних классиков, я часто удивлялся: как же так, мои бабушки, люди исключительной внутренней силы и поразительной духовной чистоты, люди созидания и бескорыстия, не читали даже Пушкина и Льва Толстого, не говоря уже о заморских Маркесе и Вулфе? А более изумительно – не испытывали, казалось, даже малой потребности в поэтических щедротах «Евгения Онегина» или откровениях Анны, героини яснополянского гиганта.

Позднее в одном из томиков стихов меня цапанула фраза из послания Пушкина своему другу: «Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст...» Ирония молодого Пушкина угадывалась несомненно, но между тем смысл строчки был весьма серьезен, точен и поучителен. Жизнь, натура трогает человека всегда сильнее, острее и глубже, чем писательские фантазии, потому и цена женской улыбки, радости матери или слезы ребенка может быть выше поэм Гомера.

Еще позднее, спустя годы, и несмотря на то, что всю сознательную жизнь оставался предан Литературе, я утвердился во мнении, что искусство со всей его интересностью, влекомостью, захватом, – недаром тот же Пушкин писал: «над вымыслом слезами обольюсь...» – есть в жизни все-таки область очень и очень прикладная, сопутствующая натуре, отчасти легкомысленная и праздная.

Землепашец и врач, конструктор и офицер, судья и священник – они способны исчерпывающе заполнять своими деяниями жизнь общества. Светскому же искусству и даже возносимой мной Литературе по жизни отводится роль необязательной гувернантки или милой утехи, хотя и гувернантка может оказаться умницей, а в утехе может быть много искренности, очарования, смысла.

Словом, сила духа, справедливость рассуждений и подлинная культура характера давалась моим безграмотным бабушкам из самой жизни, из самой природы, из труда, который полонил их с малых лет и до последнего смертного передыха...

«В борозде как-то раз рожала. С покоса шли. Раньше ведь ни про какие декретные отпуска не ведывали...»

«Только угляжу на угоре машину, всю меня обушмарит, дрожу как лист. Вдруг “черный ворон”, вдруг выселять едут... Старая швейная машинка была, дак ведь и ту конфисковали...»

«Сперва мальчишки-двойняшки от тифу померли. Потом и Валюшку, дочку, на восьмом году бог прибрал...»

«Сиротой росла. Мамушка-то рано ушла. А тятя посылал нас по деревням куски собирать...»

«Храм-от какой красивый стоял. Большевики ломали да радовались. Теперь какую-то филармонию выстроили...»

Даже этих коротких фраз хватало понять, как учила их жизнь. Впрочем, о настоящей учебе, об образовании, и Евдокия Ивановна, и Анна Федоровна упоительно мечтали. Не раз я слышал от них: «О-о-ох! Кабы я грамотна-то была, глядишь, и жись-то не этак бы выстелилась. Букваря и того не далось пройти...» Но букварь букварем, а красоту их духовного уклада, мудрость, несуетность, трезвомыслие и спокой привились к ним уж точно помимо всяких литературных размышлизмов и красот.

В отличие от мной любимых и почитаемых бабушек, я получил весьма хорошее образование, сам преподавал, написал книги, общался с очень даровитыми людьми, ломал копыя в каких-то интеллектуальных спорах. А всё тихонько иной раз проскальзывала странная мыслишка: Пушкин – он и есть Пушкин, литературный гений, а по жизни-то Арина Родионовна выйдет мудрей...

Мудрость человеку, вероятно, дает *органика* жизни – органичные знания, которые черпаются из материи, из естества мира, органичные поступки, не противоречащие человеческой природе, органичная мораль – мораль равновесия и справедливости, совсем не та, которую приносят в общество лукавые умы претендующих на власть людей.

То, что мои бабушки очень сильные мудрые люди, я вполне осознал будучи уже взрослым человеком и уже тогда, к сожалению, когда они покинули наш мир. А впервые *природного*, сильного и мудрого человека я встретил и распознал в детстве, в школьные годы, может быть, учась в классе втором или третьем (в середине шестидесятых). То, что это человек особой породы, я подсознательно усвоил сразу.

Случилось это на центральном кировском рынке, куда по воскресным дням мы ходили с матерью. Мы ходили с ней вдоль открытых торговых рядов, мимо уставленных всякой всячиной прилавков. День стоял ведренный, гомонливый, яркий. На прилавках громоздились холмы борога, покутанные в марлю, стояли зеленоватые четверти с молоком, банки сметаны; медовый ряд привлекал янтарными сотами, вокруг которых вились полосатые осы. На одних торговых грядках лежали овощи, яблоки, зелень разных сортов, на других – парное мясо, сало, густо посыпанное красным перцем или крупной солью; на третьих – всяческая утварь, важная для хозяйства, и тут же – безделицы вроде раскрашенных деревянных свистулков.

Но все это изобилие прилавков для меня как-то разом померкло, когда я увидал *этого* старика. Крупного сложения, но нетолстого, высокого и не сутулого, с густой седой бородой, остриженной аккуратно – полукругом, с загорелым, посеченным морщинами лицом. Одет был старик в косоворотку – в светлую косоворотку, сшитую, видать, не фабричной швеей, а домашней умелицей из посконной, грубой и, возможно, домотканой льняной ткани. Такие косоворотки уже никто не носил в ту пору в Кирове, их разве что встретишь у сельских жителей, да и то

в редкость. Старик-то и был из сельских жителей – наверняка. И подпоясан он был не ремнем, а веревочной подпояской. На голове – картуз, именно картуз, не фуражка, не шляпа, таких картузов тоже поискать еще... Но самое важное, от чего я и вовсе оторопел, не встречая такого еще на городском рынке, были его обувки. Лапти! Настоящие лапти, не какая-нибудь игра в ряженных, а исконные, вероятно, этим стариком и сплетенные лапти. Икры старика охватывали белые обмотки, по-иному – онучи, и ступал он в своей исключительной обувке очень легко, даже чувствовалось, что нога у него при ходьбе дышит... А ко всему – как подходящий довесок к его особенному наряду – нес он на плече короб, также сплетенный из широкого лыка. Не рюкзак, которыми обзаводились туристы, не сидор, с которыми ходили солдаты, не котомка, а объемистый угловатый короб.

Старик оказался недалеко от меня, у прилавка, где продавали парафиновые свечи, клубки шпагатов, краски, кисти... Я слышал его короткий разговор с торговавшей этим хозяйством женщиной, с красно накрашенными губами, в цветастой косынке:

– Так написано вон, – ворчливо указывала она старику на какой-то ценник.

– Буквов-то я не разбираю, деушка. Не учён, – извинительно шурился он на торговку.

То что, он был безграмотным, это было и не диво: бабушки-то у меня тоже не чтицы. Мне захотелось чем-то помочь старику, прочитать ему, чего требовалось (читать я уже умел недурно), я потянул голову к прилавку, который был почти мне вровень с макушкой, но вопрос старика как-то сам собой разрешился. Он отвернулся от прилавка, и мы оказались с ним друг против дружки. Я смотрел на него зачарованно. Картуз, косоворотка, лапти, короб за плечами – он словно бы вышел из старой, дореволюционной жизни. Он являл собой какого-то былинного сеятеля, который ходит с лукошком и бросает зерна во вспаханную деревянной сохой землю...

– Здравствуешь, малый! – сказал мне старик, улыбнулся, что-то теплое доброжелательное блеснуло в далеком загадочном дне его темных глаз. Морщины на лбу доброжелательно приосели, а его большая рука с узлами вен потянулась к картузу; он слегка приподнял картуз в знак приветствия.

Я и вовсе рот разинул. На меня пахнуло не только партриархальностью, но и какой-то благолепостью и чистотой от этого старика. Хотя, конечно, я таких слов не знал, и не смог бы детально рассказать, чем же он подкупил меня, этот седобородый старик. Ведь не только внешнестью... А он, видя, что я замешкался, вежливо обошел меня и пошагал далее вдоль богатых воскресных базарных рядов.

От матери я поотстал, все еще глядел на радушного светлого старика – хорошо, мягко и основательно ступал он в своих лаптях на землю, неся на плече короб. Даже выйдя за ворота рынка, я еще много раз оборачивался, чтобы найти взглядом этого неожиданного человека, запомнить его поточнее. Да и позже невольно искал среди ботинок, сапог, туфель, босоножек и сандалий так приглянувшиеся мне лапти!

...Минуло много лет с тех шестидесятых годов. Уже давно нет моих бабушек на этом свете. Мне их очень не хватает. Они пережили больше, чем я. Они и знали чего-то большее, чем знаю я, хотя мне довелось прочитать много умных книг.

Странствуя по России, живя в разных городах, соприкасаясь со сферами искусства, мне часто приходилось видеть людей, безусловно образованных, начитанных, напитанных, казалось бы, культурой, но столь же часто эти интеллектуалы оказывались завистниками, пошляками, лицемерами, которых раздирало тщеславие и жажда божественного превосходства, которое – по естественным законам жизни – как раз свидетельствовало об их малодушии, ущербности, о несвободе от лживых пустых заслуг.

... Не встретить теперь на кировском рынке старых людей в картузах и косоворотках. Но иногда я даже среди московской толпы начинаю оглядываться по сторонам: вдруг появится старик в лаптях с лыковым коробом на плече, и я замру перед ним хотя бы на минутку и, может быть, стану потом хоть чуточку мудрей.

## Павел ТУЖИЛКИН

Родился в 1953 года в селе Плюхино Семеновского района Горьковской области. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт.

Публиковался в журналах: «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Роман-журнал XXI век», «Крокодил», «Нижний Новгород», ряде других изданий. Автор сборников стихов и прозы. Лауреат национальной премии Союза писателей России «Имперская культура» за роман-предположение «Пламенный» о жизни Серафима Саровского (2011), Международного конкурса искусств «Чистое детство» (2006, 2011).

Член Союза писателей России. Живет в Сарове.

## ДЕДУНЯ ФЕДУНЯ

История из жизни рассказана В.Д. Кельиным

Черный воронок медленно полз по ухабам одноэтажной улицы послевоенного Ставрополя. Рычание мотора было негромким, но его слышали в каждом доме. Затаив дыхание, из окон за движением этой страшной машины следили все. И слезы облегчения жгли уголки глаз, когда воронок проезжал мимо. И тут же загоралась мысль – за кем? В чьей семье сегодня поселится молчаливое, одинокое и угрюмое горе? И долго смотрели вслед, гадая и переживая, – улица жила единым братством, одними радостями и горестями. Война объединила всех, сплотив таких разных и непохожих друг на друга людей в единую семью. Чужого горя не было. И потому появление ранним июньским утром незваного гостя взволновало всю улицу.

А машина МГБ все ползла и ползла, гоня впереди себя волны страха. По каким-то неизведанным законам о появлении жуткой машины мгновенно знала вся улица – от начала до конца. Осторожный и пугливый зверь, таящийся в каждой душе, сверхъестественным чутьем угадывал приближение тихо урчащей машины. Все меньше и меньше оставалось впереди у неё домов на нашей улице. И сильнее съёживались сердца у тех, кого беда еще не миновала. И дубели щеки и губы от тяжкого ожидания.

Я видел, как отец, только что вернувшийся с улицы, словно охотник, затаил дыхание и скосил набок голову, к чему-то прислушиваясь. Я видел, как побелела мать, которая замерла на полпути от кухни к столу, где она накрывала завтрак отцу – тот собирался на работу. Я сам ощутил неосознанную тревогу, захотелось спрятаться куда-нибудь, лучше всего забиться в подол матери. Но я подавил постыдное чувство – какой подол? Мне уже десять лет! Мужчины ничего не боятся! Но гнетущая

тишина, установившаяся в доме, смяла мою браваду, и я робко приблизился к отцу. Он посмотрел странным, глубоким, как из бездны ночного неба, взором и положил мне на плечо твердую мозолистую ладонь, не сказав ни слова. Они с матерью слушали тишину, на дальнем конце которой чуть слышно гудел майский жук.

Наш дом стоял в самом конце улицы. После нас перед глубоким, поросшим старыми деревьями и густым кустарником оврагом прятался в тени сада только домишко дедуни Федуни – живого жилистого старика, любимца округи. Он был мастером на все руки. Казалось, все столы и стулья, табуреты и этажерки, комоды и диваны на нашей улице были сделаны его руками. Нужно заменить раму или починить дверь – звали дедуню Федуню; завалилось крыльцо или забор: опять дедуня деловито помахивает топориком; крыша прохудилась: глянь – снова шустрый старичок по коньку лазает. Платили ему кто чем мог. И денежка перепадала, если была. А кто продуктами да одежей расплачивался. А если помощи попросит вдовица с кучей ребятишек, так дедуня и копейки с нее не возьмет. Еще и сам чего-нибудь принесет для малышни.

Да что там ремонт! Он и дома один строил. Помогал ему только ослик по имени Прунька. Нагрузит дедуня целую тележку кирпичами да досками, сломанными рамами да старыми дверьми, найденными на разбомбленных развалинах, похлопает ушастому помощнику по спине и ласково скажет:

– Ну что, Прунька, поехали.

Ослик дернется раз, оглянется на хозяина – тяжело, мол, нагрузил, не снять ли половину?

– Не халтурь, – строго сдвинет брови дедуня. – И не по стольку возил. Пошел!

Ослик тяжело вздохнет, поднатужится и тянет тяжелую тележку вдоль по улице. А дедуня рядом идет и подбадривает:

– Ты не сердчай, Прунька, что много нагрузил, старый уж я стал, второй-то раз в такую даль трудно идти. А пока я это все оприходую, ты и отдохнешь маленько.

Ослик сокрушенно качает головой и медленно бредет по пыльной дороге, всем своим унылым видом давая понять хозяину, что тот не прав.

– Тащи, тащи, – бормочет дедуня. – Судьба у нас такая – всю жизнь своим горбом хлебушек зарабатывать.

Соорудит дедуня домушку, неказистую, маленькую, но жить можно. Уже три таких домика выкупили фронтовики у дедуни Федуни. Много он не брал, а на жизнь хватало.

Все слышнее урчал воронок, все сильнее темнело лицо отца и крепче сжимались кулаки. Наконец он не выдержал. Отодвинув меня, встал и подошел к окну. Мужчины встречают опасность лицом к лицу, не прячась за занавески. И я шагнул следом за ним.

Мать перехватила меня, прижала и затаилась, тревожно глядя в широкую спину отца, загородившую окно. У нее мелко дрожали руки. Я это ощущал своей вдруг замерзшей головой, мать гладила меня по волосам быстро и нервно. Когда воронок подъехал к дому, я это понял по напрягшейся спине отца, мать судорожно без слез всхлипнула.

– Мимо, – прохрипел отец.

Но от окна не отошел. Он провожал взглядом машину. Около дома дедуни Федуни мотор заглох.

Мать заплакала. То ли от радости, что горе миновало, то ли жалко было доброго работающего старика.

Через пять минут, сыто урча, воронок укондыбохал обратно. Улица была пуста. Сотни глаз провожали его из окон.

За что взяли дедуню Федуню, никто не знал. Жизнь его была вся на виду. Во время оккупации с немцами не знался. Подозрительных связей не имел. В деньгах и роскоши не купался. Открытая душа, добрый нрав да трудолюбивые ловкие руки – вот все его богатство. Но с властями не поспоришь. Кто пойдет заступаться за него? Да и бесполезно. Только свою жизнь загубишь да родным навредишь. Надеялись на то, что власти разберутся, бывали же случаи, когда и из НКВД, а по-нынешнему МГБ, люди возвращались.

Без дедуни Федуня улица осиротела. Когда он был, его особенно и не замечал никто, как мы не замечаем солнце, которое греет и светит каждый день, не замечаем легкого ветерка, гонящего весенние запахи по улицам Ставрополя, не замечаем зелени листвы... А чего их особо замечать-то? Есть они и есть. С ними хорошо. А без них... Ну какая же без них жизнь?

Меньше стало веселья на нашей улице, меньше уюта и радости. Мы, ребяшня, часто роились около дедуниного дома. Он то рогаток нам наделает, то настрогает и вырежет из дощечек почти настоящие пистолеты, то свистулек нарежет, то научит, как луки и стрелы мастерить. А то даст рубанком дощечку построгать или топориком поработать. По вечерам, когда он садился отдыхать в тени яблони, мы приходили к нему во двор послушать сказки. Дедуня при виде ватаги босоногих ребятшек улыбался и нарочито сурово ворчал:

– Это кого же ко мне черти принесли?

– Мы без чертей, – весело отвечали гости.

– Ну, если без чертей, проходите.

Он доставал из глубокого брючного кармана жестяную ярко раскрашенную коробку с леденцами, открывал ее и угощал каждого сладкой долгоиграющей конфеткой. А потом рассказывал страшные истории из жизни великанов и чудовищ, злобных гномов и жестоких колдунов. Откуда он брал эти сказки, мы не знали: то ли сам придумывал, то ли поведал ему кто-то в древние для нас времена, когда он был таким же маленьким, как и мы.

Вид опустевшей избы нашего любимца удручал. Изредка мелькала во дворе сгорбленная старушка, жена Федуня, и исчезала во чреве дома, даже не всколыхнув воздуха, будто это была не женщина, а бесплотная тень. Даже ослик Прунька спрятался, словно боялся, что и его куда-нибудь заберут чужие бездушные люди. Мы стали сторониться этого ранее приветливого и уютного, а теперь жутковато нежилого двора, как будто судьба всеобщего любимца могла зацепить и наши семьи.

Уже и длинный, глубокий овраг, похожий на сказочные дремучие чащобы, что в аккурат за дедуниным домом, не привлекал нас. Там мы обычно играли в войну и разведчиков. Теперь не игралось.

Конечно же, мы гадали и спорили.

– Да его выпустят скоро! – кричали одни. – Вот подержат чуть-чуть, разберутся и выпустят!

– А ты видел, чтобы кого-нибудь оттуда выпускали? – резонно осаживали их другие.

– Так то враги были! – горячились третьи. – А дедуня Федуня наш, советский! Он самый лучший! Ему ничего не сделают!

Мы любили и верили.

Месяц спустя нашу улицу всколыхнуло новое событие. Часа в три пополудни вдоль садов и притаившихся в их сени домов поползла еще

одна машина. На этот раз это была новенькая, только что с конвейера, «Победа». Все, конечно, понимали, что автомобиль казенный и принадлежит все той же конторе. Потому кроме любопытства в сердцах шевелился и страх: что еще нового приготовило МГБ? Хорошего не ждали. Удивляло только то, что на заднем сиденье можно было разглядеть кудлатую и бровастую голову дедуни Федуня. Зачем его везут? На обыск? На очную ставку? Терялись в догадках соседи. Но не торопились выяснять. Да и как выяснишь? Пропылила «Победа» мимо – и все. Гадай не гадай. Ладно, потом все узнаем, утешали себя любопытствующие.

Я сидел на скамейке у палисадника и ремонтировал самострел, когда-то сработанный руками дедуни Федуня.

Машину я заметил издали. Отложив самострел в сторону, я с любопытством смотрел на красивый автомобиль, медленно преодолевающий ухабы нашей длинной улицы. Вот «Победа» поравнялась с моим домом, и я увидел в окошке дедуню Федуню! Я вскочил и хотел крикнуть, позвать его. Но осекся, увидев рядом с ним чужого дядьку. Машина пропылила мимо и остановилась у последнего дома. Открылись блестящие дверцы, и на свет вылезли два крепких мужика, упакованные в светлые костюмы и белые рубашки с галстуками. Это в разгар-то июльской жары!

Один из мужиков обошел машину и открыл заднюю дверцу. Из «Победы» выбрался дедуня Федуня. Он тоже был в сером костюме и в рубашке с галстуком!

Костюм, галстук и белая рубашка меня сразили. Такого я не видел никогда. Дедуня всегда ходил в рваненьком пиджачке, давно забывшем, какого он цвета, и бесформенных, десятки раз заплатаанных штанах. А тут – костюм! А вместо разбитых башмаков – штилеты!

Я онемел и застыл, словно меня заколдовали.

– Неужели проданся? – мелькнула сумасшедшая мысль. – Теперь нас всех будет сдавать в МГБ!

Дедуня Федуня огладил новенький пиджак, тронул тугой узел широкого полосатого галстука, потом пожал эмгэбэшникам руки и деловито пошагал к дому. Хлопнули дверцы, и «Победа» укатила.

Я отмер, только когда за дедуней закрылась калитка. Пулей метнулся домой.

– Мама, мама! Дедуню Федуню отпустили. Его эмгэбэшники на «Победу» привезли. И руку ему жали. И улыбались. Он, наверное, теперь сексот! – затараторил я.

– Стой, погоди, – остановила мое трындычание мать. – Ты ничего не перепутал?

– Да ты что? – захлебнулся я от такой несправедливости. – Да я же... я сам видел... Я на скамейке... а они... прямо к дому...

– Понятно. Беги к отцу на работу и расскажи ему все.

Я рванул из дома, как будто за мной гнались злые собаки. Запыхавшийся прибежал в ремонтные мастерские, отыскал отца и, отведя в сторонку, горячо зашептал ему свою оглушительную новость. Отец свел к переносице смоляные брови, помолчал, пожевал губами, как будто пробуя известие на вкус, и сказал:

– Ты пока никому ничего не рассказывай. А сейчас иди к дедуне и пригласи его сегодня к нам на ужин.

– Да ты что, пап, а если он – стукач? Наговорит что-нибудь, и нас в тюрьму упекут! – горячо воскликнул я.

Отец зажал мне рот рукой, оглянулся на рабочих, навостривших при моем крике уши, и прошептал:

– Делай что велено.

Я поплелся домой. В мозгу роились сомнения и страшные предположения. Хотелось поделиться с друзьями. Но отец не велел, а нарушать наказ не следовало. Вынужденное молчание тяготило сильнее моих фантастических предположений. Но нет – значит, нет. Слово отца – закон. Я прибежал к матери и поведал ей волю отца. Она улыбнулась:

– Иди к дедуне, зови его в гости. Я все приготовлю к вечеру.

Из нашего сада в сад дедуни Федуня у меня имелся свой лаз, не надо было даже выходить на улицу. Это мне было на руку. А вдруг кто-то увидит, что я иду в дом к человеку, который находится на службе у МГБ? Со мной же никто и дружить-то не станет. Шмыгнув в лаз, я прокрался к крыльцу и робко поскребся в дверь.

– Кто там? – зычно откликнулся хозяин. – Заходите, не заперто.

Приоткрыв маленькую щелку, я просочился в нее, как мышонок.

– А-а, Васька, проходи. Пряника хочешь?

Кто же от пряника откажется? Я молча кивнул.

– Что молчишь, или язык откусил? – засмеялся дедуня Федуня.

Это был тот самый дедуня Федуня, которого мы все любили. Пиджак и штилеты он уже снял. В клетчатой рубашке и парусиновых штанах он стал родным и близким.

С ходу откусив пряник, я затараторил:

– Дедуня Федуня, тебя папка с мамкой на ужин приглашают. Я к папке даже на работу сбегал, когда увидел, как тебя на «Победу»-то привезли. И папка сказал, зайди к дедуне Федуне и пригласи его. Вот я и пришел. Мы по тебе соскучились, дедунь. Я тоже тебя приглашаю.

– Ну что ж, если и ты меня приглашаешь, то буду обязательно, – засмеялся дедуня. – Как готовы будете, зови.

Я умчался домой, жуя обалденно вкусный пряник.

За ужином о главном заговорили не сразу. Сначала шли пустые разговоры о ценах на рынке, восстановлении заводов, о мелких горестях и радостях соседей. И вот, наконец, отец, крякнув после очередной рюмочки, спросил:

– Ну а ты, Федор Яковлевич, как там? Тяжело было?

– Да не особо, – пожал плечами дедуня Федуня. – Я там все тем же, что и на воле, занимался: топориком махал да рубанком швыркал.

– Как это?

– Да так... Рабочий человек нигде не пропадет.

А дело было так.

Привезли его в центр города. Воронок остановился не у парадного входа в здание МГБ, а заехал во двор. Выйдя из машины, дедуня огляделся. Появилось ощущение, что попал в глубокий каменный колодец. Стеклоанно и безжизненно поблескивали окна, забранные решетками, могучие стены из красного кирпича нависали над головой, будто собираясь упасть и раздавить людей в лепешку. Конвоиры подвели арестованного к неказистой обшарпанной двери, которая отчаянно завывала давно несмазанными петлями и проглотила узника. Долго шли по узким мрачным коридорам с облезлой темно-зеленой масляной краской, слабо освещенным тусклыми лампочками, висящими под высокими потолками. Поднялись на второй этаж, и снова повороты то направо, то налево. И захочешь, сам без провожатого не выберешься, подумалось дедуне, уныло шагавшему по этим мрачным лабиринтам.

Наконец конвоиры остановились у рыжей облезлой двери, постучались. Один из сопровождающих распахнул дверь, втокнул дедулю в комнату и зашел сам.

– Товарищ майор, задержанный Родимов доставлен! – гаркнул он над головой дедуни.

Дедуня стал рассматривать хозяина кабинета. Лысый, яйцевидный череп, худое лицо и мощная, как у лошади, челюсть. Пышные русые усы скрывали губы, казалось, что в рот майору МГБ впихнули комок пакли. Китель наглухо застегнут, несмотря на жару в кабинете. Фуражка, правда, не надета. Она аккуратно лежала на столе, поблескивая алой звездочкой. Руки у майора нерабочие, пухлые, с белой кожей, без мозолей и черных трещин, словно бабьи. Глаза большие, навывкате, но пустые, будто за ними не было мозга.

– Свободен, Кравцов, – сказал майор и уставился стекляшками зрачков на арестованного.

Молчание затянулось. Дедуне даже показалось, что майор задремал с открытыми глазами.

– Фамилия, имя, отчество, – наконец соизволил открыть рот эмгэбэшник.

Голос у него тоже был не мужской, противно высокий, как у визгливой базарной бабы. С таким поговоришь пять минут – и зубы заболят.

– Родимов Федор Яковлевич, – ответил дедуня.

Заскрипело перо. Дедуня увидел, что слева у окна сидит щупленький лейтенантик и записывает его показания.

Когда с формальностями было покончено, майор опять заснул, глядя на арестованного.

Проснувшись, вкрадчиво сказал:

– Признаться будешь, или сыграем в «ничего не знаю, ничего не понимаю»?

– А я и не знаю, – ответил дедуня и посмотрел на стул – захотелось присесть, обычно неутомимые ноги на этот раз дали слабину.

– Сесть хочешь? – догадливо спросил майор.

Дедуня кивнул.

– Сядешь, не сомневайся, – засмеялся эмгэбэшник. – Лет эдак на двадцать пять.

– Я столько не проживу, – усмехнулся дедуня, чтобы как-то поддержать себя.

– Смеешься? – удивился и даже обрадовался следователь. – Ничего, еще поплачешь. Не такие рыдали. А уж тебя, сморчка, одним щелчком раздавлю.

Открыв серую папочку, лежавшую на столе, майор вынул из нее листочек, вырванный из школьной тетради, что-то почитал, шевеля пучком пакли, потом снова обратился к арестованному:

– А тут вот пишут, что ты расхищал социалистическое имущество, занимался спекуляцией в особо крупных размерах, наживался на нуждах фронтовиков.

– Врут, – ответил дедуня и посмотрел в решетчатое окно. С той стороны на него сочувственно глядел воробей, сидящий на ветке тополя. Дедуня подмигнул ему и улыбнулся.

– Что-то ты больно веселый, как я погляжу, – прогнусавил майор. – А обвинения-то серьезные. На что надеешься, я не пойму. Дома строил?

– Строил, – согласился дедуня.

– Из ворованного материала?

– Да какой же он ворованный? Кирпич и доски я на развалинах собирал. Все равно, когда разбомбленные здания начинают восстанавливать, весь мусор на свалку увозят. Так лучше уж в дело, чем на свалку.

– Это не тебе решать, гражданин Родимов, на свалку или в дело. Государство решит на свалку – так тому и быть. А ты кто такой, чтобы против государства идти?

– Да зачем же против государства-то? Чай, оно мое родное. Я ведь просто хлам в дело пристраивал.

– Ага, ага, – закивал майор лысой башкой, – хлам... А потом этот хлам фронтовикам втридорога перепродавал. Это как прикажете понимать? Они Родину защищали, пока вы тут под немцем были, а ты их обирал.

– Брал, сколько могли дать. У них совсем никакого жилья не осталось, немцы разрушили. А тут хоть плохонькая халупа да имеется, всё крыша над головой.

– Крыша, говоришь? Будет тебе крыша. Ну а еще чем занимался, умелец?

– Людям помогал.

– И как же, если не секрет?

– Кому дверь починить, кому забор, кому табуретку. Вам вот тоже такой помощник, как я, нужен.

Майор оторопел от такой наглости.

– Это ты о чем?

– Да вон стекло в форточке треснуло. И сама она, поди, не закрывается – перекошена. Дверь скрипит, и одна петля вот-вот отвалится. Тут работы-то на пять минут, да, видно, нормального столяра нет у вас.

– За пять минут, говоришь? – пакля налезла на острый крючковатый нос.

– Не больше.

– Ну, хорошо, даю тебе пять минут. Все починишь – пойдешь в камеру отдыхать до выяснения обстоятельств. А не уложишься, весь день и всю ночь тут будешь передо мной стоять и песни петь. Понял?

– Инструмент дадите, все сделаю.

– Репьев, – обратился майор к лейтенантику, – отложи пока ручку-то, сгоняй за завхозом. Он в соседнем кабинете какие-то бумажки пишет.

Лейтенант быстро вернулся, ведя толстого, узкоглазого, с багровыми мясистыми щеками эмгэбэшника.

– Слушаю, товарищ майор, – попытался стукнуть каблуками завхоз.

– Так, Шымыр, тащи сюда инструменты. Вот этот дедок обещал мне за пять минут и стекло поменять, и дверь отремонтировать.

– Я мигом, – услужливо ответил завхоз и пропал минут на пятнадцать.

Майору, видать, надоел допрос, да и в бумажке, спрятавшейся в тоненькой папке, больше ничего интересного не было. Поэтому он усадил-таки узника на табурет и стал болтать с ним, как показалось деду, о всякой ерунде.

– Слышь, дед, вот тебе восемьдесят лет, а ты все работаешь. Угомонился бы. Чего тебе не хватает?

– Так ведь люди просят. Жалко их. Да и помру я быстро, если ничего делать не буду.

– То есть в тюрьме ты жить не будешь?

– Не буду.

– Вон ты какой.

– Какой?

– Ушлый. А при немцах тоже работал?

Пакля во рту зашевелилась в предвкушении удачи.

– Работал, – ответил дедуня.

– И что же, ты немцам тоже дома строил? – визгливый голосок следователя приобрел вкрадчивые интонации.

– Нет, я соседям помогал. А с немцами дела не имел. Да они к нам на окраину и не заглядывали почти.

Наконец вернулся завхоз, сомлевший от жары и тяжести ящика с инструментами. Принес он и кусок стекла.

– Ну что, умелец, начинай, время пошло, – ехидно сказал майор. – Помни: не уложишься в срок, хуже будет.

Дедуня уложился в четыре минуты.

Майор подергал туда-сюда дверь, та не шаталась и не скрипела. Новенькое стекло в форточке сияло чистотой, очищенный от краски шпингалет надежно запирает окно. Да вдобавок был укреплен и шатавшийся табурет.

– Ну, дедуля! – взвизгнул майор. – Молодец!

– Меня все дедуней Федуней зовут, – откликнулся узник.

– Что ж, дедуня так дедуня, Федуня так Федуня, – согласился майор. – Ну, Шымыр, хочешь такого помощника?

– Позарез нужен! – охотно откликнулся завхоз.

– Забирай его себе. А на ночь в камеру его, только к тихим, небуйным определи. Пусть поживет, поработает, а там посмотрим. На него пока ничего серьезного нет. Если, конечно, не накопаем.

Так дедуня стал работать в здании МГБ. Там были мастерские, где он и проводил целые дни в привычных трудах: ремонтировал столы, стулья, диваны, этажерки. По зданию ходил с сопровождающим, но свободно. Где-то дверь нужно было подправить, где-то половую доску подгнившую заменить, где-то стекло вставить... В общем, работы хватало. Кормили регулярно и достаточно сытно. Прямо курорт, а не тюрьма. Угнетали только мрачные каменные лабиринты да вид измученных узников, встречавшихся время от времени в коридорах.

Но майор не позабыл о дедуне. Изредка приглашал к себе на беседу. Видимо, надеялся еще что-нибудь накопать.

– Слышь, дудуня Федуня, ты ведь от меня что-то скрываешь, – говорил он, жуя паклю.

– Ничего не скрываю, гражданин начальник, – отвечал дедуня. – Все как на духу рассказал.

– Да не может такого быть. Уж больно ты спокойно ведешь себя. У нас так не принято.

– А как у вас принято?

– У нас принято бояться, плакать, просить прощения, писать покаянные письма, рассказывать о сообщниках.

– Да не было у меня никаких сообщников. Я один дома строил. Там в вашей бумажке, что в папке лежит, наверно, про это подробно описано.

Майор грозил пальцем.

– Нет, дедуня, что-то у тебя за душой имеется, я только не пойму, что. Не боишься ты меня. А это странно.

– Боюсь я, гражданин майор.

– Врешь, Федуня. Я по глазам вижу, что не боишься. Уж я столько человеческого страху нагладелся, что распознаю его сразу. Ничего, придет время, я тебя расколю. Там уже по-другому поговорим.

Однажды разговор пошел действительно в другом ключе.

– Так, гражданин Родимов. Тобой заинтересовался генерал, велел сегодня тебя помыть, причесать и к нему в кабинет после обеда привести.

– Зачем? – спросил дедуня.

– Это я тебя спрашиваю, зачем?

– А мне-то откуда знать?

– Темнишь, дед, не может просто так генерал, начальник МГБ Ставрополя, интересоваться каким-то вшивым дедком. Я нутром чуял, что у тебя какая-то заковыка в биографии имеется. Ну, рассказывай. Откуда генерала знаешь?

– Не знаю я вашего генерала. И зачем ему нужен, тоже не знаю.

– Ой, хитрец, ой, хитрец. Надо было тебя посильнее в оборот взять, давно бы все про тебя вызнал. Хотя... может, оно и к лучшему. Что-то тут не так.

После обеда дедуню повели по этажам и лабиринтам здания госбезопасности. У массивной двери, обитой черной кожей, майор, лично сопровождавший арестованного, помялся, вытер платком лысину, потеревил паклю и взялся за бронзовую, изящно изогнутую ручку. Дверь распахнулась, и конвоир с узником вошли в приемную. Дед огляделся. Приемная генерала была большой, просторной и отделанной дубовыми панелями. Дед одобрительно хмыкнул, оценивая качество работы столяров. Тяжелые темно-красные бархатные шторы раздвинуты, сквозь тюль в приемную проскальзывали лучи послеполуденного солнца и резвились на мягком пушистом ковре, словно котята. Капитан, сидевший за столом у двери генерала, поднялся и зашел в кабинет начальника для доклада. Вернувшись через мгновение, он сделал приглашающий жест и четко, но негромко сказал:

– Генерал ждет вас, заходите.

Майор, почему-то перейдя на строевой шаг, затопал к двери начальника. Но, перехватив недоуменный взгляд капитана, стушевался и стал ступать осторожно. Войдя в кабинет, он лихо щелкнул начищенными до зеркального блеска сапогами и визгливо прокричал:

– Товарищ генерал! Арестованный гражданин Родимов по вашему приказанию доставлен!

Дед робко выглядывал из подмышки майора. В кабинете было двое. Один, в генеральском обмундировании, восседал за массивным хорошо сработанным столом. Он был грузным, крупнолицым, с гладко выбритыми щеками. Рядом у стола стоял штатский. Статный, в светлом костюме, голубой рубашке с полосатым галстуком. Он выглядел важно и вальяжно. Тоже, видать, большой начальник, подумал дедуня. Чай, из партийных.

– Во-первых, не арестованный, а временно задержанный, – сказал генерал майору, – во-вторых, не гражданин, а товарищ, и в-третьих, не доставлен, а приглашен.

Майор сразу сдулся. От понимания собственной оплошности, а может, и чего похуже он чуть паклю не проглотил.

– Проходите, товарищ Родимов, – радушно пригласил дедуню генерал и указал на стул рядом со своим столом. – Мы тут с первым секретарем горкома партии товарищем Михайловым решили пригласить вас на чаек. Не откажете в любезности?

Дедуня отказываться не стал. Капитан принес стаканы с чаем в ажурных подстаканниках, конфеты и печенье.

Майор, как старая забытая игрушка, столбушком торчал у двери.

– А ты иди, майор, в тебе необходимости нет, – махнул рукой генерал.

Следователь моментально выскользнул за дверь, хваля себя, что не усердствовал с этим странным дедуней. Интуиция, выработанная годами, не подвела.

– Берите вот печеньице, Федор Яковлевич, – попотчевал радушный хозяин.

Штатский, которого генерал назвал товарищем Михайловым, сел напротив дедуни у приставного столика. Медленно отхлебывая горячий чай, он пристально смотрел на того, кто минуту назад был арестованным, а теперь стал приглашенным. Дедуня смело выдержал взгляд. Ситуация, по всей видимости, разворачивалась в его пользу, потому робеть не стоило.

– Федор Яковлевич, – наконец заговорил первый секретарь, – расскажите нам о своем славном революционном прошлом.

Дедуня поперхнулся и замер, поглядывая то на партийного начальника, то на эмгэбэшника. Главное было не оплошать и не ляпнуть что-нибудь, не то вмиг можешь опять арестованным стать, а не приглашенным.

– А чего там рассказывать-то? – неопределенно произнес он и пригубил чаечку.

– Ну, например, где вы с товарищем Сталиным познакомились? – вступил в разговор генерал.

– А я с ним и не знаком, – ответил дедуня и посмотрел чистым взором в глаза эмгэбэшнику.

– Скромничаете, Федор Яковлевич, – опять заговорил первый секретарь. – Не переживайте, вы же не на допросе. Мы просто беседуем как друзья. А друзьям можно все рассказывать.

Генерал поддержал:

– Нам ведь не для протокола, а так... для любопытства.

Первый секретарь продолжил:

– Вы, говорят, на Кавказе в революцию сильно отличились, даже сам товарищ Сталин вас помнит. А говорите, что с ним не знакомы.

– Не знаком, – пожал плечами дедуня Федуня. И, увидев вытянувшиеся физиономии эмгэбэшника и секретаря, добавил:

– А вот с Кобой знаком.

Секретарь, вытаращив глаза, оторопело посмотрел на генерала. Тот тоже онемел. Пауза затянулась. Дедуня спокойно попивал чаек, хрустя сладкой печеньюшкой.

Генерал встал из-за стола, прошелся по кабинету. Дедуня и секретарь следили за ним, как будто ждали какого-то важного известия.

Тот наконец остановился посередине кабинета и засмеялся:

– Ну, дед, ты удивил! Немного людей у нас в стране могут себе позволить товарища Сталина Кобой называть. Ну уж если тебе это разрешено, то больше у меня вопросов нет. А у вас, товарищ Михайлов?

– У меня тоже нет, – ответил секретарь и занялся чаем.

– Ну что ж, Федор Яковлевич, – опять генерал перешел на официальный тон. – Сейчас вас переоденут в нормальную одежду и отвезут домой. Но у меня к вам просьба. Все, что вы видели в течение этого месяца в стенах МГБ, останется нашей с вами тайной. Понимаете меня?

– Понимаю, – кивнул дедуня Федуня и поднялся, догадавшись, что пора уходить.

Через час он в новеньком костюме уже ехал на «Победу» в сопровождении двух бравых эмгэбэшников.

– А почему ты, дедунь, товарища Сталина Кобой назвал? – не удержался я от вопроса.

– Это его партийная кличка во время революции была, – пояснил мне отец.

И сразу же сам задал вопрос:

– А где же ты с Кобой-то познакомился, Федор Яковлевич?

– О, это давняя история, – усмехнулся дедуня. – Нальешь еще рюмочку, и про это расскажу.

Выпив и зажевав пирожком с луком, дедуня Федуня продолжил рассказ.

Перед революцией дедуня, а тогда рядовой Родимов, служил на Кавказе. Времена стояли смутные, тревожные. В умах шло брожение, среди солдат то и дело появлялись крамольные листовки, за которые офицеры били каждого, у кого их находили. Но эти серенькие листочки с мелким текстом все равно читали. Прятались, таились, но читали. Потому как там всю правду писали. И про буржуев зажавшихся, и про нищету народную, и про жестокое самодержавие, которое дышать никому не давало. А особенно нравилось читать про новую жизнь без мироедов и царских министров, без фабрикантов и злой офицерни, без помещиков и жандармов. Новый мир, описанный в листовках, казался справедливым и честным, богатым и красивым. Всеобщее равенство, свобода, уважение к человеку труда – кто же не захочет такого? Вот и шептались по углам солдаты. Неужели такое возможно, чтобы без богатеев, да чтобы фабрики и заводы рабочим принадлежали, а земля – крестьянам? Неужели в деревне про голод забудут?

Иногда солдат привлекали для поимки революционеров, шаставших по городам. Стояли сутками в кордонах, досматривали проезжавших, кого-то все ловили. Но на памяти у дедуни не было ни одного пойманного. Хотя революционеров повидать довелось. Однажды ночью Родимова разбудил приятель, который изредка приносил волнующие душу листовки и разъяснял их содержание. Звали его Иваном.

– Федя, вставай, помощь нужна.

Федор поднялся, оделся, обулся без лишних расспросов – нужна так нужна, просто так не разбудили бы.

Тайком вышли за пределы части.

– Федор, ты эти места хорошо знаешь?

– Да с закрытыми глазами дорогу найду, – ответил Федор. – Мы тут уж год стоим, все облазили, все повидали, вплоть до перевала.

– Вот и хорошо, – обрадовался Иван. – Нужно троих наших товарищей к перевалу проводить. Только по дороге нельзя – там их жандармы ждут.

– А как же я их провожу? – удивился Федор.

– А ты через ущелье.

– Да там и днем-то голову сломишь, а ты ночью хочешь туда идти. Нет, не получится.

– Надо, ну очень надо, Федор. Если наших товарищей поймают, их расстреляют сразу – уж больно они властям насолили.

– Так что ж делать-то? – растерянно спросил Федор.

– Вспомни, где ущелье поуже. Может, там деревья растут близко. Нельзя ли повалить их так, чтобы на другую сторону переправу устроить?

И Федор вспомнил.

– Есть такое место. Это далековато, но там действительно дерево рядом с ущельем растет и место узкое. Я еще подумал, когда проходил мимо, что при желании можно из этого дерева мост устроить, чтобы на другую сторону перебраться.

– Ну вот, а ты говорил нельзя, – обрадовался Иван. – Надо тогда за топорами сходить.

Когда Иван вернулся с инструментом, послышались чужие торопливые шаги.

– А вот и наши.

Подошли пять человек. Двое, как и Федор, были солдатами. А трое закутаны в плащи, лиц не разглядеть. Да и что ночью увидишь-то – разглядывай не разглядывай.

– Ну что, веди, – сказал Иван.

И Федор повел группу к ущелью. Шли долго и тяжело: в темноте каждый камень – враг, каждая ямка – твоя. Все ноги обобьешь, пока до цели дойдешь. Но дошли.

Раздвинулись тучки, засияла половинка луны, стало светлее. Ущелье чернело под ногами жутким провалом. Страшно было даже подходить к краю. Смутно серели валуны на той стороне ущелья. Федор прикинул – должно все получиться.

Не теряя ни минуты, он распределил обязанности: солдаты взяли топоры, стали подрубать высокое дерево, росшее на самом краю обрыва. Высоты его должно было хватить, чтобы макушка упала на тот край ущелья. После того как ствол основательно подрубили, Федор взялся за работу сам. Осторожно тюкая топориком, он ловил момент, когда дерево станет неустойчивым. Остальные солдаты стояли наготове.

– Всё, – сказал Федор. – Пора.

Расставив правильно солдат, он объяснил им задачу и взмахнул топором. Удар, еще! Дерево затрещало.

– Дави! – скомандовал Федор.

Солдаты напряглись, и дерево повалилось. Вершина достала до камней на другой стороне ущелья.

– Получилось! – обрадовался Федор.

Иван подал Федору веревку.

– Давай ты первым иди на ту сторону.

Федор переправился довольно быстро – сказались солдатские навыки. Укрепив свой конец веревки, он крикнул:

– Можно идти! Только в середине будьте осторожны, там очень часто большие сучки растут.

Первым на шаткий мост вступил молодой гибкий юноша, который легко и почти играючи преодолел опасную преграду.

– Будто канатоходец! – похвалили его Федор.

Второй революционер был не так скор, но прошел по дереву уверенно, почти не задерживаясь даже в особо трудных местах.

С третьим вышла морока. Тот был толстоват и неуклюж. Первые метры, держась за туго натянутую веревку, он вроде преодолел уверенно, но когда путь преградила гребенка торчащих в разные стороны ветвей, он ступешался. Застряв посередине переправы, он стал жалобно подвывать.

Федор заволновался. Чужую смерть на душу брать не хотелось. Перебравшись назад, он стал разговаривать с пухлым кавказцем, застрявшим в чаще ветвей.

– Смотри на меня, генацвале. Видишь, я стою и ни за что не держусь. И ничего со мной не происходит. И с тобой тоже ничего не случится. Делай как я.

Двигаясь боком, Федор манил рукой толстяка. Тот как замороженный глядел на провожатого и потихоньку пробирался сквозь сплетение веток.

– Ну вот, посмотри, какой ты молодец. Да ты как настоящий джигит на свадьбе сейчас на кончиках пальцев пропляшешь по этому бревну, – прихваливал Федор кавказца и медленно отступал по стволу.

Так потихоньку, с уговорами и шутками-прибаутками Федор перевел и третьего революционера. Тот обессиленный сразу же рухнул на камни. Но кавказец, перебравшийся вторым, жестко произнес:

– Не расслабляться. Надо идти, скоро светать начнет.

Потом он повернулся к Федору, обнял его, посмотрел в глаза и сказал:

– Спасибо, генацвале. Ты спас нас от смерти. Я этого никогда не забуду. Если попадешь в беду и нужна будет помощь, обращайся. Меня зовут Коба.

– Так ты самого товарища Сталина от смерти спас!? – восхищенно воскликнул я.

– Да, это был Сталин, – просто ответил дедуня Федуня.

– А он, значит, отквитался и тебя теперь спас?!

– Точно, отквитался, – подтвердил дедуня.

– А как же он узнал, что ты в МГБ попал? – спросил отец.

– Предупредили меня, что доносы пишут про мои дома, которые я фронтовикам продал, – ответил дедуня. – Вот я и подстраховался. Написал письмо и жене отдал. Спрячь, говорю, и никому не показывай. А если меня заберут и не выпустят, то через два дня отдай письмо Яшке Соловейчику.

– А Соловейчик-то тут при чем? – удивился отец.

– Так он же работает проводником на поезде Ставрополь – Москва. Я ему запластил, чтоб он письмо мое в Москву отвез и опустил там в особый ящик в особом месте.

– И тот не забоялся?

– Я его научил, чтобы сам к тому зданию не ходил. Три рубля, говорю, пацану какому-нибудь дай, и тот письмо в ящик бросит. Так он и сделал. Видишь, целый месяц просьба моя до Сталина шла. Но все-таки дошла. Я боялся, что выкинут, затеряют или спрячут. Нет, дошло мое письмецо до Кобы. И тот, значит, вспомнил ту ночь на Кавказе и, как видишь, помог. Вот такие дела.

История, приключившаяся с дедуней Федуней, врезалась в память и живет со мной всю жизнь. Со временем не померкли краски, не забылись слова и интонации, с которыми произносил их дедуня. Помнятся даже запахи жаркого июля в родном Ставрополе. Помнится мой восторг от поступка товарища Сталина. Надо же – самый главный руководитель страны не забыл о стареньком дедушке, которого видел один раз в жизни. А как он приструнил эмгэбэшников! Сразу залебезили перед дедуней Федуней. Даже костюм ему выдали. Испугались. Так им и надо. Товарищ Сталин – самый мудрый и справедливый на свете!

С годами это восторженное восприятие вождя великой страны, конечно же, растаяло. И только одно чувство с той далекой поры не померкло. Это был тот самый глубинный, неосознанный, перехватывающий дыхание страх, который я испытал, когда увидел отца, шагнувшего из-за стола к солнечному окну, когда ощутил мелкую дрожь пальцев матери.

Тот страх, родившийся в самых темных уголках души, жил со мной всю мою долгую жизнь, вырываясь на свободу и сковывая душу при любом удобном случае. Иногда при одном только малейшем ощущении какой-либо опасности в ушах начинал нудно и страшно гудеть майский жук, предвещавший появление черного воронка.

Все прошло. А страх остался.

## Евгения КАРЕЗИНА

Родилась в 1954 году в селе Кремницкое Горьковской области. Окончила экономический факультет Нижегородского госуниверситета. Работала по специальности, преимущественно на государственной службе.

Публикуется в православных и женских изданиях, СМИ Нижегородской митрополии и православном журнале «Календарь» (Москва).

Живет в Нижнем Новгороде.

## ОДЕРЖИМАЯ НАТАЛЬЮШКА

*Из повести «Любовь в былые времена»*

Можно ли придумать для молодого крестьянского парня большую радость, чем завершение сенокоса? Да ежели травы уродились на славу! Да дождик не помешал скосить да просушить! Да если его, Федора, бог силушкой и сноровкой не обидел и прослыл он этим летом одним из лучших косцов, самого соседа Осипа чуть не обогнал! Да денек сегодня удался на славу. Солнышко так и поливает жаром с небес, вода в Пьянке местами прогрелась чисто парное молоко. А работать не надо, оставили его мужики в лугах до заката сторожить косы да грабли, котлы и иное артельное добро. Можно поваляться в тени под кустами, дыша медовыми запахами засушенного сена и глядя, как в добела прокаленном небе неподвижно парят жаворонки и изредка набегают легкие облачка, но сначала надо искупаться в реке.

Федор разбежался и как был в жесткой от пота холщовой рубахе и таких же портах ухнул с невысокого обрыва в быструю речку. Вода оказалась теплой не везде, подводные течения то и дело охлаждали разгоряченное тело, заставляя замирать сердце. Широкими саженками юноша поплыл к тихой заводи, где вода была теплее, а поверх нее раскинулся ковер из блестящих глянцевых листьев, яично-желтых кувшинок и водяных лилий, гордо поднимающих вверх заостренные, полупрозрачные, нежные, словно из белого воска лепестки. Федор нарвал целый букет, с силой выдирая тугие стебли и тревожа чистую заводь облачками дегтярно-черного ила. Цветы ему были, в общем-то, ни к чему, да уж больно смешно чмокали, отрываясь ото дна, упорные трубки.

С пучком цветов в одной руке, загребая другой, он поплыл к пологому бережку, где река намыла небольшую косицу чистого песка. Вышел, не марая ступней, и запрыгал то на одной, то на другой ноге, наклоня голову в разные стороны, чтобы вытряхнуть воду из ушей. И вдруг остолбенел. Из кустов доносились невозможные звуки – вроде бы девичьи

чий смех, но какой-то уж больно тоненький, похожий на пересвист болотной птички. На миг Федору стало страшновато, в голове мелькнули рассказы про болотных кикимор да водяниц, с которыми молодому парню лучше бы вовсе не встречаться. Однако был он не робкого десятка и, пересилив боязнь, шагнул вверх по склону и раздвинул кусты, из-за которых раздавался странный смех. И тут же рассмеялся и сам. За кустами на зеленой травке сидела девушка. Чудная такая девушка, но, слава богу, ни на водяницу, ни тем более, на кикимору не похожая. Росточком невелика, станом аккуратненька. Поверх белой рубахи, расшитой по рукавам черно-бордовыми петухами, надет широкий кубовый сарафан, до щиколоток прикрывающий загорелые ноги. А ножки-то такие смешные, темные, словно корочка ржаного хлеба, ступни маленькие, но растоптанные, широкие, как у утенка! Выцветший платочек лежит на плечах. Из тонких косиц в разные стороны торчат белые, прямые, словно лучинки, пряди. А глаза-то большущие, синие, готовые опять брызнуть веселым смехом. А еще и ямочки на розовых щеках, ротик-ягодка (как только в него ложка-то убирается!) и носик курносый весь в конопушках. Стало неловко за свою облепившую тело мокрую одежду.

– Чего скалишься-то? Ай парня мокрого не видала!

– Я на парней глазеть ни на сухих, ни на мокрых не охотница. Да только ты так плескался, что вода из берегов чуть не вышла, испугалась я, не медведь ли в Пьянке рыбу ловит, али рыба-кит завелась.

– Ишь, чего придумала такого! Медведей здесь сроду не важивалось. А про рыбу-кита ты откудова знаешь?

– Из Закона Божиева. Батюшка на уроке рассказывал про Иону-пророка, как его кит проглотил и три дня в своем чреве держал. А еще в сказке про Конька-Горбунка.

– Гляди ты, все знаешь! А как звать-то тебя, грамотеюшка, откуда сама-то здесь взялась?

– Натальей зовут, а живу я с отцом в Каменском. В третьем годе от испанки померла моя матушка и братья с сестрами. Только мы с ним вдвоем и остались. Ходила по ягоды до перелесков. Земляника уж отходит, зато клубники наспело полно! – она показала на два лубяных тусека. Один, немалой величины, покрыт был широкими листьями кле-на, поверх другого, совсем небольшого, лежали кустики земляники с переспелыми душистыми ягодами.

– Куда же ты листьев-то земляничных надрала?

– Зимой заваривать будем, да ты попробуй, дух-то какой! – и она, сорвав здоровый лист коневника, щедро отсыпала в него спелых ягод новому знакомцу.

Федор поднес к лицу широкий лопух и задохнулся от теплого и сладкого летнего запаха да еще от какого-то доселе неведомого, сладостного и тревожного чувства.

Пока он ел, девчонка с уважением поглядела на добытый им букет водяных цветов.

– А ты силен плавать-то! А я за цветами заплывать боюсь, там трава водяная за ноги цепляется. У меня две подружки чуть так не утонули, ладно мужики увидели, за косы вытащили, еле откачали.

– Эка беда, трава водяная. Разорвал ее – и все. Хотя какая сила, у вас, девчонок! На, цветы-то забери.

Девушка приняла букет и, вытащив из него самую большую лилию, поднесла к своему маленькому, в веснушках носику, и вдруг показалась

Федору такой же нежной и красивой, как этот неземной цветок. В голове у него на миг мелькнула картинка – Наталья в невестинном венке с кисейной фатой вокруг него. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и предложил девушке:

– Гуеса-то у тебя тяжеленьки, а до дома далеко. Скоро тятенька мой приедет сюда за скарбом, можем и тебя до дому довести, через Каменское ведь поедем.

– Ой! Плохо ли! А то я уж набегалась, ноги-то гудят.

Отец Федора приехал скоро, но за это время Наталья успела рассказать и про себя, и про своих подружек, про книжки, которые она брала читать у старенькой учительницы, какие умницы у нее курочки-пеструшки. По секрету показала, где по бережку реки растут самая крупная черная смородина и ежевика, тоже наливающиеся в это время душистым соком под иссиня-черной кожицей.

Отец не возражал против веселой попутчицы. Ему, как и сыну, любо было слушать ее щебетанье, подпевать тоненькому голоску, выведившему старинные озорные песни про Матрену и ее милого дружка, про Дуню-перевозчицу. Не отказалась попутчица и от краюшки ржаного хлеба, посыпанной серыми крупинками соли, ни от молока из четвертной бутылки.

«Проголодалась, по лесам-то бегамши», – с сочувствием подумал Федор.

Когда заехали в Каменское, девушка попросила остановиться у домика на берегу мелководной речушки, резво бегущей, чтобы слиться с Пьянкой. Парню екнулось в сердце – уж больно бедна и неказиста была избушка у Натальи. Маленькая, с двумя подслеповатыми оконцами и растрепанной черной соломой на крыше. Только огород за домиком был большой, с хорошо прополотыми ровными грядками, с разными овощами, украшенный большими подсолнухами и розовой цветущей мальвой.

До дома отец с сыном доехали молча, словно дети, потерявшие только что найденную затейливую игрушку.

Село Каменское, где проживала Натальюшка, находилось от их родного Покровского верстах в четырех и было вне всякого сомнения местом весьма славным. Раскинулось оно со всеми своими черемухами и ивами да богатыми огородами в треугольнике, образованном речушкой Ражей, впадающей под прямым углом в полноводную глубокую Пьянку. С третьей стороны треугольник замыкался замечательной красоты озером. Овальной формы чаша с лазурной водой тихо покоилась в обрамлении белейшего песка и вековых, душистых от разогретой смолы сосен. У пологих берегов на теплом мелководье резвились деревенские ребятишки, парни похвалялись друг перед другом, кто сколько раз переплывет озеро. Однако нырять поближе к дну не решался никто. Глубина на середине была такова, что никаких веревок не хватало у мужиков, чтоб ее измерить. Старики сказывали, что на этом самом месте в незапамятные времена провалилась под землю дружина язычника-князя, восставшего против православной веры и направившегося разрушить поставленную против православными монахами церковь. Она и по сию пору осталась красоваться белой стрелой колокольни да золотыми куполами на противоположном высоком берегу озера.

Немного в стороне от церкви гордо раскинулся богатый дом графов Каменских, которым принадлежали здесь и немалая часть заливных лугов, и сад, и каменоломни, где добывался крепкий белейший извест-

няк – самое главное богатство здешних мест. Впрочем, ни графа, ни его сродников никто из жителей села в глаза не видывал, а заправлял всем хозяйством Иван Карлыч – суровый, тонкогубый и ледоглазый управляющий. И хоть был он неизменно видом холоден и неприступен, но пользовался у мужиков всех окрестных деревень уважением за свою честность и справедливость. Работа в каменоломнях хоть и была тяжелой, но платили за нее по деревенским меркам хорошо. Карлыч примечал и заносил в толстенькую книжечку, кто из работников сколько тачек нагрузил белыми ноздреватыми глыбами, как велики и ровны получились камни. По работе была и плата, выдаваемая каждый вечер. К тому же наняться на работу можно было хоть на месяц, хоть на день. Однако большая часть мужиков и парней бить камень ходила в свободное от главных крестьянских работ время, и в страду и сенокос на каменоломнях царила тишина, равно как и в воскресенья и великие двенадцатые и престольные праздники. (Иван Карлыч был крещен в православную веру и много времени проводил в церкви за усердными молитвами вместе со своей сестрой, больше похожей на брата-близнеца.)

Глядя, как между колес поднимаются примятые телегой придорожные пыльные травы, расцветенные васильками и мелкими ромашками, Федор думал, что жатва еще не скоро, можно бы походить на камни поработать. Когда он сказал об этом отцу, тот пожал плечами:

– Что ж не поработать недельки две-три, коли сила есть.

И едва приметно усмехнулся.

Работа в каменоломнях начиналась рано, чтобы успеть вовремя, будила Федора матушка к выгону коров, поила пенным парным молоком, кормила вчерашней картошкой или кашей. Подхватив узелок с обедом – баклажкой с квасом или простоквашей, большой ржаной ватрушкой или пирогом с картошкой, морковью, – перекинув через плечо здоровенные лапти, весело шлепал парень под нежарким утренним солнцем по узкой росистой тропке среди ржаного поля да неглубоких оврагов до соседнего села. Скоро выучился он непривычному делу, так что мало кто из мужиков мог сравняться с ним как в ровности набитого камней, так и их величине. Иногда, отколов большую глыбу, удивлялся запечатленным на ней следам то ли рыб, то ли иных невиданных тварей. Иван Карлыч, отметивший усердие и сноровку молодого работника, объяснял, что во времена великого всемирного потопа здесь плескалось море, а камень образовался из слежавшихся скелетов морских обитателей. Уму непостижимо, до чего чудны божии дела!

В самое жаркое полуденное время работники отпускались на обед и отдых. Перекусив, чем бог послал, мужики дремали в тени кустов, молодежь бежала купаться на Пьянку, а Федя спешил на край села, где на лужайке за полуразвалившейся банькой ждала его Натальюшка. Ели пироги да ватрушки из его котомки, пупырчатые свежие огурчики и сочный зеленый лук с ее огорода, запивали кваском да студеной колодезной водой, весело болтали о том о сем. От каменных мужиков узнал Федор, что отец у девушки силой обделен, а характером легкомыслен. Неспособный к сельской работе, земельный надел свой сдает исполу, полученный хлеб кончается задолго до Рождества. Любит пропустить рюмочку-другую, не пропускает ни одной свадьбы или крестин, заглядывает и к самогонщицам, прихватив из дому то пяток яиц, а то и дочкино рукоделье. Живут отец с дочкой огородом, да с ранней весны до морозов бегают Наталья по окрестным лесам, собирает грибы-ягоды, носит их на базар в Бачурино, чтоб хоть какая копейка была в доме,

зимой плетет кружева, тклет холсты, вышивает на заказ рубахи да тонкое белье.

Быстро летели жаркие летние денечки да короткие теплые ночи. Вот уже и хлеба налились тяжелым колосом. Уродились на славу да ждут хозяина с острой косой и хозяйку, чтобы стать сперва тугими снопами, а там золотым зерном да душистым караваем. Как ни тяжела работа на каменоломнях, а оставлял ее Федор с тоской в сердце. Так привязался он за эти три недели к милой девчонке, что расставаться с нею было невозможно. На заработанные деньги купил он милой голубой, как ее глаза, платочек да кулек медовых пряников. Домой привез большой белый кулич, а остатние деньги отдал матушке. На прощание сказал своей любезной:

– Уберем хлеба, попрошу тятю сватов к тебе послать. Пойдешь ли за меня, Натальюшка?

Всегда бойкая девушка на этот раз только покраснела словно маков цвет и едва заметно кивнула головой.

Словно двойная сила разыгралась в плечах молодого крестьянина – так косил он рожь, что матушка с отцом вдвоем не успевали вязать за ним снопы, ладно хоть соседка Пелагея помогла. Невдомек было родителям, куда так торопится сынок, пока не объявил он, что задумал жениться. Отец не спорил – тебе жить-то, а матушка отчего-то опечалилась.

Вот бежит гладкая кобылка с ленточками в заплетенной гриве и колокольцем над дугой по знакомой дорожке. Вот принаряженные отец с матерью, сват, сам жених в вышитой рубахе, поясок с кистями, сапоги гармошкой, спешиваются подле скособочившейся избенки на берегу реки. До чего же хороша Натальюшка в синем, с позументом сарафане, тонкой белой рубахе с вышивкой прорезной гладью! На стол с домотканой скатертью быстро собирает она нехитрое угощение – зарумяненную картошку, плошку печеных яиц, малосольные огурчики, пяточки соленых рыжиков, лук и укроп большими пучками. Бестолково суетится отец, не зная, радоваться или огорчаться неожиданным гостям. Сват ставит на стол бутылек с царской печатью, начинает чинный разговор:

– У вас товар, у нас купец, собой хорош-пригож и в работе молодец...

И все бы ничего, да только пропустив пару стопочек, понесся отец Натальи по кочкам. Надо сказать, что в старые времена был в наших краях обычай, чтобы часть приданого справлял невесте жених, и чем больше эта часть, называемая кладкой, тем больше честь девушке и хвала жениху. Прибалдевший от вина и от гордости, что совсем молоденькую (едва шестнадцать годков сравнялось) дочку сватает красавец, из справной семьи жених, пошел мужичонка куролесить.

– Шубу справить дочке должен, да суконный сарафан, еще ботинки на пуговках...

Федор подумал, что купить суженой ботинки по размеру будет нелегко, где найдешь такие маленькие да широкие!

Отец жениха пока согласно кивал, мать сидела, поджав губы. Но когда дошел хозяин до пуховой шали и плюшевой жакетки, терпение покинуло Александра Матвейча.

– Да ты совсем, Лукьян, сбрендил! В плюшевых жекетках одни только барыни ходят. Мне что, корову вам на наряды продавать! Пойдем отсюдова, Федя! Нет моего согласия с нищим дураком родниться!

Как во сне послушно поднялся Федор с лавки и пошел к двери вслед за отцом и матерью. В сенях стояла Натальюшка, маленькие ладони

крепко сжаты в кулачки, в глазах, обычно ясно-голубых, плещется темная синева грозовой тучи.

«Отчего она не скажет, что не нужны ей все эти тряпки, что любит она меня и так?» – промелькнуло в голове у Федора.

А подумал бы, что не дело девушке вешаться парню на шею да отца еще больше конфузить! Так и прошел Федор мимо своего счастья.

На обратном пути, глядя, как свесил сын головушку на могучую грудь, захотел отец его утешить:

– Может, и к лучшему, что не сговорились, девчонка-то хоть и приветлива, да уж больно щупленька, к крестьянской работе не приучена. А жениться тебе надо. Вон Дарья у Шаровых чем не невеста! Что в поле, что во дворе – наипервейшая работница, а уж красавица писаная и нравом покладаиста, ничем господь не обидел!

Мать суетливо поддакивала. И только незадачливый жених угрюмо молчал.

Вечером, отказавшись от ужина, пошел Федя ночевать в амбар. В проем открытой двери поставил деревянную решетку, накинул на нее от комаров реденький полог и развалился на широкой, сработанной отцом лавке, между пустым, пахнущим мышами сусеком и кованным сундуком с материнским приданым. Лежал, глядя в темноту, и все думал о Натальюшке.

– Неужто не собиралась она за него замуж и вместе со своим вздорным отцом хотела только поднять его на смех?

– Федя, Феденька! – донесся вдруг из темноты жалобный голос матушки.

Он слышал, как мать отодвигает решетку и робко присаживается у него в ногах. Вот, тяжело вздохнув, она шепотом начала разговор:

– Сынок, сделай ты такую божескую милость, женись на Дарье. Ты ведь еще не знаешь, что твой тятенька учудил. Он ведь слово дал соседу нашему Василью засватать его Агафью за нашего Лексея.

– Да что ты! – вырвалось у Федора. – Она ведь больная да стамая!

Сосед Василий мужик был работающий и богомольный, ходил по деревням плотничать вместе с отцом. Однако из-за своей страшной невезучести никак не мог выбиться из нищеты. Да и то сказать, не было у него ни одного сына, а зато четыре девки-перестарка. Земли, значит, выделялось ему только на одну мужскую душу, а дочерей чем кормить? Вот и хватало его плотничьих заработков только чтобы не голодать семье. Нечего и думать на приданое девкам отложить. Да еще были они вовсе не красавицы, маленькие, худосочные и силой обделенные, где уж им женихов найти! Видать, пожалел тятенька своего товарища, пообещав засватать Агафью за младшего сына.

– Феденька, не хотела я говорить, да, видно, пришла пора. Худо мне, болит все нутро, чую, что не долго жить мне на белом свете. Помру, не станет в доме ни одной работницы, порушится все хозяйство.

– Ладно, мамынька, все сделаю, как прикажешь. Будет тебе помощница, только не хвориай ты, Христа ради!

Сватовство к Дарье прошло как по писаному. Сильная и красивая девушка, самая старшая в многодетной семье, несказанно рада была выйти за парня ладного да работающего, с одним только деверем и одной, да и то замужней, золовкой. К тому же свекор со свекровью слыли за людей добрых и богобоязненных. Вскоре сыграли и свадьбу меньшого брата с соседкой. Лексею и в голову не пришло перечить батюшкиной воле. Жизнь вроде налаживалась. Получив сразу двух помощниц,

воспряла духом и матушка, на болезнь вроде бы не жаловалась. Да и сам Федор первое время был доволен молодой женой. Собой хороша, нравом покладиста, всякая работа горит в руках. В радость новоиспеченному мужу было и обладание крепким и красивым женским телом, принесшее спокойствие и довольство собой вместо постоянных чувств смятения и телесного напряжения.

Но вскоре стал замечать Федор за собой какое-то необъяснимое раздражение на жену. Да, мужу ни в чем не отказывает, но и сама первой не приласкается. Если и разговаривает, то только про хозяйство. Грамоте не знает вовсе, молитву и ту толком прочесть не может. Предлагал научить, так она отмахнулась:

— На что мне, это пусть у нас Агаша читает, а я послушаю.

Чем дальше, тем больше раздражала Федора законная супруга. Неприязнь вызывали правильное лицо, высокая грудь, маленькие ножки, и даже в руку толщиной темная коса, падавшая из-под платка ниже пояса, напоминала отчего-то жирную гадюку.

А вскоре явилась в их тихую крестьянскую семью неожиданная напасть: одному из братьев пришло предписание идти на военную службу. Федор думал не долго, помыслив, что, видно, господь бог решил все за него, и без сожаления оставил родное село. Не пожалел он о своем выборе и потом, когда восхищенный его статью военный командир отправил новобранца не куда-нибудь, а в Санкт-Петербург в его величества Гренадерский полк. Домой слал он письма, как хорошо кормят и содержат их в теплых казармах, что несет он караул во дворце у самого царя-батюшки, а недавно после парада пил он вместе с другими гренадерами водку из одного огромного ковша с самим императором. Не было почты в далеком от Петербурга селе Покровском. Не скоро приходили в родной дом весточки от бравого солдата. А еще дольше, с оказией, доходили к нему письма из деревни.

В одном письме написал брат своим ладным почерком, что отошла в иные пределы душа их родной матушки и что у Федора родилась дочь Марьюшка. Рождение девчонки оставило Федора равнодушным, что назвала Дарья дочку именем свекрови, вызвало только раздражение. Как будто неразумное дитя может заменить сыну родную мать!

Показал солдат письмо из дома ротному командиру и попросился в город помянуть во храме новопреставленную. Командир одобрил и посоветовал съездить в Исаакиевский собор, отменный по своей красоте и величю. В ближайшую же субботу добрался Федор до храма и был поражен его огромностью и роскошью убранства. Мощные колонны терялись высоко под куполом неба, голос диакона гремел под сводами набатом. Казалось, что не для простых смертных построено это чудо, а для молитв былинных чудо-богатырей, сказочных великанов. Поставив большую свечку на канун перед деревянным распятием, солдат обнажил голову, перекрестился и вдруг почувствовал тихую радость, словно родная мать слышала его молитву в этом великом Божьем доме и сама просила Господа не оставить сынка во всех испытаниях.

А испытания не заставили себя ждать. Вскорости грянула война с японцами, и Федора отправили на фронт. Правда, забрали не простым солдатом, потому как приглянулся он своей статью генералу. Генерал, пожилой и щупленький инженер по мостам и дорогам, пожелал иметь денщиком бравого гренадера. И вот трясется Федор не в теплушке с другими солдатами, а в спецпоезде, в закутке рядом с генеральским

купе. Глядит в вагонное окошко, дивуясь то бесконечным таежным лесам, то бескрайней унылой степи. И впрямь – велика Россия-матушка, сколько солдатиков положит за нее свои головы!

Поначалу служба при штабе после гвардейской муштры казалась Феде сущим праздником. Только в один холодный вечер вызвал его к себе генерал, позвал к столу с разложенной большой картой, в которой денщик уже немного разобрался.

– Дело тебе опасное предстоит, все вестовые в разъезде, а надо срочно передать этот пакет полковнику Ряжскому. Донесли мне, что японцы намерены зайти в тыл его полка, окружить и уничтожить. Не предупредим, сложит головы много наших солдат. Идти тебе надлежит по льду через вот это озеро. Храни тебя господь.

И генерал подал Федору запечатанный сургучом пакет.

\* \* \*

Сознание возвращалось к Федору какими-то клочками. Над головой то появлялся, то снова растворялся потолок из неочищенных березовых стволов, ярко вспыхивала и меркла свеча, вырывая из темноты тонкое усталое женское лицо в белой с красным крестом косынке. Резко пахло лекарствами, кровью и нечистотами. Он с трудом повернул голову и увидел, что рядом на подушке лежит голова бородатого пожилого солдата. Увидев, что Федор глядит на него, солдат усмехнулся:

– Ну, что, герой, оклемался? Повезло тебе, чуть живого притащили тебя в госпиталь, в ногу раненного. Уже и кровь не текла, и дышал еле-еле. Только доктор у нас, божьей милостью, настоящий чудесник, пулю тебе вытащил, мясо зашил. Сказал, что жить будешь и ходить.

На другое утро врач-хирург слова соседа подтвердил, однако предупредил:

– Рана была тяжелая, задета кость. Хоть организм твой и богатырский, но беречься необходимо. От большого напряжения рана может открыться в любое время. А вообще, поставь, гренадер, свечку господу богу, другой на твоём месте в могиле бы лежал. Да генералу своему спасибо скажи, американских лекарств он тебе привез, смогли снять воспаление и ногу сохранить.

Федор перекрестился, похолодев от мысли, какой опасности он избежал. Остаться безногим, да это же хуже смерти!

Словоохотливый сосед поведал, что ранен был Федя в ногу картечью, когда полз, истекая кровью по льду озера, что почти без сознания до своих добрался и вовремя о намереньях японцев их предупредил.

– А ты сам-то ужель ничего не помнишь?

– Помню, – медленно заговорил Федор. – Как по льду полз, как по ноге, словно огнем полоснуло. Еще зверя помню. Еле живого, а все равно страшного. Полз он за мной и кровь на льду подлизывал, усы у него еще в крови были. А как к своим выполз, как пакет передал, не помню, хоть убей!

– Ну, парень, видать, смерть твоя за тобой ползла. Говоришь, с усамми? А может, тигра, они здесь водятся. Лютая зверюга, куда там нашему волку! Что она тебя не сожрала, так это чудо, видно, ждала, пока сам помрешь. Ты вот что, домой приедешь, часовню поставь на берегу реки во спасение свое.

Совет этот Федор Александрович исполнит, как только приедет домой на побывку. Да вот не застанет он дома не только матушки, но и отца,

простудившегося на постройке дома в соседней деревне и в одночасье отдавшего богу душу.

Не задержится на побывке бравый отставной прапорщик и Георгиевский кавалер Федор Лязин. Поставит часовню на перекрестке двух лесных дорог под кудрявою березой, оставит жену беременной дочерью Лизой. А потом отбудет в любезный своему сердцу Санкт-Петербург, нести службу швейцара в богатом доме все того же генерала. Служба была не тяжела – открывать дубовую дверь перед важными гостями, принимать их одежду. А в остальное время разрешалось ему сидеть за конторкой да читать газеты и книги, к которым он пристрастился еще в госпитале. С полным равнодушием вспоминал он жену, брата и дочерей. И лишь мысли о Натальюшке заставляли иногда дрогнуть сердце.

Только через много лет, в огненном восемнадцатом, сведет их последний раз судьба.

Возвращаясь с братом как-то из уезда, сидел Федор, призадумавшись, на телеге, когда их лошадку обогнал открытый запыленный автомобиль. Истошно завывая мотором и воняя керосином, машина рванула вперед по проселочной дороге. Рядом с шофером сидела чудно наряженная баба – кожаная куртка вся в ремнях, на голове такая же кепка, из-под которой торчат во все стороны лучинки коротко стриженных волос, на поясе кобура с громадным револьвером. Баба скользнула по ним оловянным взглядом и отвернулась. Брат заполошно начал креститься:

– Пронеси господи, пронеси! Только бы не к нам!

На развилке машина развернулась и помчалась в сторону Каменского.

– Слава тебе господи, к себе подалась, – брат вытер тряпицей мокрые от пота лоб и шею.

– Ты чего испугался, кто она такая-то? – удивился Федор.

– Ай, Фединька, да ты не узнал невестушку-то свою! Наталья это, Лукьянова дочь. Когда у вас с ней сватовство-то не сладилось, женихи стали ее стороной обходить. Да и она не больно на гулянки-то бегала. Все сидела дома да книжки безбожные читала, у ссыльной учительницы брала. И стала с тех пор как одержимая говорить, что бога люди придумали, что между бабой и мужиком никакой нету разницы и что все люди равны. Это ж надо придумать, выходит, солдат равен генералу, а труженик лентяю. А ты хоть одного человека одинакового видел? А как товарищи к власти пришли, она к ним и подалась. Комиссарша она теперь, носится по деревням, хлеб отбирает. Кто из мужиков посправнее, спуску от нее не жди – все отнимает, а многих и в Чеку отправила. А оттуда только одна дорога – за Волгу на лесоповал, да на торфы. Вот так-то, жених.

Федор опустил голову и долго молчал, чувствуя свою вину в этом страшном превращении.

## Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом.

С 1993 года – священник Русской Православной Церкви. Живет в Нижнем Новгороде.

Член Союза писателей России. Автор семи поэтических сборников, шести книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен Диплома 3-й степени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

## ДВА ТИМОФЕЯ

Перед закатом на реке всегда тихо. Утомился легкий юго-западный ветер, который днем время от времени налетал из-за острова, поднимая невысокую волну. А теперь даже рябь на воде и та разгладилась. Зеркало, да и только! В это зеркало смотрелись кучевые облака, окрашенные заходящим солнцем в золотистый цвет. Такого же цвета струйки воды стекали с приподнятых весел.

Старик оглянулся и посмотрел на берег. Черная фигурка Тимофея хорошо была видна на желтом песке.

– Сидишь? – вслух сказал старик, будто кот, маленьким сфинксом застывший на прибрежной кромке, мог его услышать. В голосе старика прозвучали теплые нотки. Так обращаются к близкому, дорогому существу. – Ну, сиди-сиди! Будет тебе ужин.

И он снова заработал веслами, ритмично нагибая и распрямляя усталую спину. «Интересно, – думал старик, – кого ты ждешь больше – меня или ужин? Надеюсь, что меня. А по правде, наверное, ужин. Кто тебя, котяру, разберет! Я знаю точно только одно – человека должен кто-то ждать. Тогда жизнь обретает смысл. А иначе, в ней нет никакого толку. Так устроено, а устроено на свете все правильно. Живая душа, Тимофей. А меня он ждет или ужин, который я ему везу, – это не так уж и важно».

Лодка, скользя днищем по мелководью, ткнулась носом в берег. Привстав, старик вытащил из уключин весла и положил их вдоль бортов. Потом выбрался из лодки и подтянул ее на песок, чтобы не било волной о камни на отмели. Кот прохаживался по песку взад и вперед, как часовой, но в лодку не запрыгивал.

– Здорово, приятель! – обратился к нему старик. – Дождался хозяина?

Кот на мгновение замер, посмотрел на старика, словно хотел ему ответить, и снова принялся ходить.

– Не терпится? – старик ухватил пальцами и вытащил из-под слани у носовой копани небольшую густерку, выпавшую из садка. – На тебе за труды! – и он бросил рыбу на песок.

Кот схватил ее и тут же с урчанием принялся расправляться с добычей. Рядом с ним скакала по песку безбоязненно зеленая трясогузка, словно ожидала, что с ней поделятся лакомством. Но кот ни с кем не собирался делить свой ужин, и птица, не дождавшись угощения, улетела.

Солнце опустилось до линии горизонта, и по воде покатались алые блики. Вверх по течению шел белый теплоход, с него доносилась веселая музыка. «Степан Разин», – прочитал старик название на борту. За кормой теплохода кружились, громко крича, чайки. Пассажиры бросали им кусочки хлеба, и чайки хватали их на лету. Некоторые промахивались и бросались за добычей в бурный след от винта.

Тем временем старик выгрузил на песок из лодки снасти, садок с рыбой, плащ, корзину с наживкой и прикормкой. Продернув цепь через уключины сложенных друг на друга весел, он охватил ей ствол ветлы, пропустил в звенья дужку навесного замка и закрыл его ключом.

– Ну, старый разбойник, – сказал он к коту, – перекусил? Пойдем домой, мне тоже пора заправиться.

Кот и ухом не повел, доедал рыбу.

– Ладно. Догонишь по дороге.

От густерки осталась одна голова, которую привередливый Тимофей есть не стал. Он никогда не ел рыбы головы. Поглядел на хозяина. Потеря боком о его сапог. Старик покачал головой.

– И не проси, больше не дам! Мал, да прожорлист! Это про тебя сказано. Придем домой, сядем как люди ужинать, тогда получишь, понял?

Видимо, кот понял, потому что перестал крутиться у ног старика, отошел в сторону.

И они отправились по тропинке между молодыми ветлами в гору. Старик нес на плече удочки, придерживая их левой рукой, а в правой держал корзину и садок с рыбой. Задрал хвост трубой, кот вышагивал сбоку, поглядывая на хозяина. Тропинка, по которой они поднимались, была узкой, но им хватало места, чтобы идти рядом.

Наверху старик остановился.

– Так-то, приятель, – сказал он, отдышавшись. – Старость – не радость, не зря говорится! Я, надо полагать, самый старый старик в поселке. Да, пожалуй, что так. Все мои годки давно в земле сырой лежат, а я вот, гляди, еще и на рыбалку хожу, с тобой по горам лазаю. Сидел бы себе, как другие, у дома на завалинке, так нет! А почему? А потому, что тебя, лентяя, кормить надо. Ты, кстати, тоже не молодецкий по вашим кошачьим меркам.

Кот, казалось, не слышал старика, он глядел на темнеющую в закатных лучах реку, и зеленые глаза его не выражали никакого сочувствия хозяину.

– Но я тебя переживу, – с назиданием в голосе продолжал старик. – Должен пережить. А знаешь, почему? А потому, дружище, что, когда я помру, меня похоронят, найдутся добрые люди, не сомневайся. А вот когда ты лапы протянешь, а меня, предположим, в тот час на свете уже не будет, то кто тебя закопает, а? Вот так. Поэтому я обязан тебя пережить. Понимай, тезка!

Тимофеем старика назвала при рождении его мать, потому что очень любила своего мужа, тоже Тимофея. А коту имя дала дочка, когда старик, а тогда еще совсем не старик, принес маленького симпатягу-котенка в рукавице домой в подарок дочурке на Рождество.

С тех пор прошло двенадцать лет. И теперь они жили вдвоем – два Тимофея, человек и кот, оба старые и никому не нужные, кроме друг друга, – в доме над обрывом. Из окон дома виден был восход солнца.

В поселке, где давно уже почти не осталось коренных жителей, а по летам квартировали дачники, старика Тимофея мало кто знал. А те кто и знал, мало с ним общались – дескать, живет старый бирюком на отшибе, да и ладно. Здравствуй – до свиданья – и вся недолга. И сам Тимофей, казалось, не нуждался в общении. Придет в магазин, купит себе хлеба да масла, пакет молока для кота, вопросов не задает, помощи не просит, денег не занимает.

Хозяйство у старика было самое простое. Дом и сад выглядели запущенными, из живности – один старый кот. Правду сказать, кота соседи очень даже хорошо знали, потому как разбойник он был тот еще! То рыбу, забытую на время хозяйкой, стащит, то ласточку исхитрится словить, а то и цыпленка у зазевавшейся клуши умыкнет. За то был бит людьми неоднократно, но, несмотря на это, промысла разбойничьего не оставлял. Грозилась некоторые под горячую руку даже и жизни его лишиться, но обиды забывались, и старый тать продолжал здравствовать, хотя с годами и поостыл. А если жаловались на него хозяину, тот молча кивал, слушая обиженных соседей, да говорил хмуро:

– Разберемся!

И все оставалось по-прежнему.

Кое-кто из старожилов, конечно, мог припомнить, какими ухоженными были и дом, и сад Тимофея, когда с ним жили жена и дочь. Овдовев, он забросил хозяйство, пропал с утра до вечера на реке, а осенью в лесу, лишь изредка появляясь в поселковом магазине да пару раз в году ходил на кладбище, навестить родные могилы.

...Убрав на двор снасти, старик бросил коту две небольшие красноперки, остальную рыбу круто посолил в глубоком тазу, накрыл деревянной крышкой и придавил сверху тяжелым булыжником. Вяленую рыбу хорошо покупали дачники, и это было подспорьем старику к его крохотной пенсии. Потом умылся, согрел на газу чай, присел за стол.

Он медленно жевал хлеб, прихлебывая из большого бокала крепкий, черный как деготь чай. В доме было тихо, пахло чаем и чабрецом. Крохотная прихожая и такая же кухонька отделены были от комнаты русской печью, выкрашенной в оливковый цвет. Печь эта уже много лет не топилась, потому как в поселок провели газ, что избавило жителей от хлопот с дровами и прочими заботами по отоплению домов. Теперь над крышами в морозные зимы не вился веселый дымок, и стояли дома как мертвые. А печи, там, где их не сломали, громоздились в избах как память о прошлой жизни.

Комната в стариковом доме была большая и светлая – три окна на восток и одно, боковое, с юга. Правда, свету от южного окна в комнату немного попадало, потому что сверху донизу закрывала его разросшаяся яблоня. И все же, несмотря на солнце, заполнявшее по утрам комнату, выглядела она нежилой. Может быть, оттого, что из мебели стояла тут одна кровать, покрытая клетчатым пледом да допотопный комод, на котором примостилось зеркало на подставке. Еще был круглый стол без скатерти. На стене возле комода висела репродукция картины

Перова «Рыболов», когда-то подаренная старику ко дню рождения. Другие стены были голыми, а над кроватью отклеился угол обоев и свисал, как приспущенный флаг.

Мало чем отличался и интерьер кухни. Стол, плита на две конфорки, настенный шкафчик зеленого цвета. Оживляла обстановку большая черно-белая фотография в рамке. На ней – молодая женщина с девочкой на руках. Обе смотрели со снимка, счастливо улыбаясь, а у девочки одна косичка задорно торчала в сторону. Еще приколата была над столом к обоям парусной иглой бумажная иконка Николая Чудотворца, любимого русскими людьми святого, покровителя рыбаков.

Старик допил чай. Он ел мало, ровно столько, сколько надо было, по его разумению, для поддержания сил.

– Ну, – сказал он коту, который терся у его ног. – Чего тебе еще? Ненасытный ты кот, Тимофей, вот что я тебе скажу. И куда только в тебя столько еды влезает?

Кот встал на задние лапы, а передние положил старику на колени. Зеленые глаза посверкивали в полутьме. Старик опустил руку на голову кота, поскреб за ухом. Кот зажмурился, мурлыкнул басовито.

– Что, дружище? Соскучился? Я сейчас лягу спать. Видишь, и солнце зашло. Старикам надо пораньше ложиться спать, чтобы набраться сил на будущий день. А ты, дрыхоня, спишь днем, когда я для тебя рыбу ловлю. Так? Так. А ночью шляешься невесть где! Ладно уж...

Смиренный Тимофей издал горлом звук, похожий на храпение, повертел головой в жесткой ладони старика и замер.

– Все, кончен разговор! – сказал старик.

Он распрямил спину, встал, ополоснул водой бокал из-под чая и смахнул в ладонь со стола хлебные крошки.

– Завтра пенсию принесут, купим с тобой деликатесов.

В темном квадрате окна белела ущербная луна. Старик некоторое время смотрел на нее, потом задернул занавеску.

Он быстро заснул, и ему в который раз приснились розовые, в цветущем багульнике, сопки Дуссе-Алиня, где он когда-то командовал отделением мино-подрывного взвода отдельного железнодорожного батальона особого назначения. Старику очень хотелось увидеть во сне людей, знакомые лица товарищей по службе, но они никогда не снились ему – только сопки, то зеленые, то розовые, то в ярком осеннем многоцветье. И было еще ощущение тихой радости, будто он после долгой дороги вернулся домой и ожидания чего-то светлого, отчего замирало сердце, словно в юности перед свиданием...

Проснулся старик до рассвета. Еще не занялась за рекой заря, и окна, выходящие на восток, были серыми. Он вышел из дому. Было свежо, но тихо. Нос флюгера-кораблика, установленного на коньке крыши, смотрел в сторону реки. «Юго-западный тянет, это хорошо, – подумал старик. – Сегодня утром можно ждать хорошего клева».

От направления ветра рыбацкая удача напрямую зависит. Ну, еще от фазы луны, конечно, от атмосферного давления и других природных факторов. От ветра же прежде всего. Например, дует восточный – и не надейся – ничего не поймает, хоть из дому не выходи. Недаром рыбаки говорят: ветер дует из-за Волги, делать нечего на Волге!

Не торопясь старик выпил чашку чая и съел вареное вкрутую яйцо. Потом налил в блюдце молока для Тимофея и, подхватив снасти, отправился к лодке.

Кот сидел на берегу.

– Ишь, роса-то нынче какая! – сказал старик, отряхивая намокшие в траве штаны. – Сухим не пройдешь!

Тимофей потянулся, остался сидеть на месте. Он наблюдал, как хозяин укладывает в лодку снасти, ставит весла.

– Ну, будь здоров! – старик оттолкнулся веслом от берега, и лодка медленно, поднимая муть, пошла по воде. Правая уключина закрипела, и старик смочил ее водой. И в это время за рекой, где небо над соснами тлело алым цветом, показалось солнце.

Рыбачить сегодня старик решил только до обеда – надо было встретить почтальонку, которая разносила по домам пенсию, да сделать кое-какие покупки. Утренний клев удался – не обманул испытанный зюйд-вест. Старик поймал подлещика, пару хороших язёй, несколько плотвичек и окуней, а в конце, уже собираясь домой, неожиданно зацепил полторакилограммового сазана.

Можно и возвращаться. Он сложил удочки, поднял якорь и взялся за весла. Садок с рыбой лежал у кормы, и старик по дороге все поглядывал на темно-золотого красавца, как тот время от времени бился в садке среди уснувших уже других рыб.

Старик смотрел и думал о том, что сазан – умная рыба. Очень умная и осторожная. Не часто он попадал на удочку, в сети – другое дело. Но старик сетями рыбу никогда не ловил. А с недавних пор он неожиданно стал испытывать странную жалость к пойманной рыбе. Причиной стал один случай. Было это года четыре тому назад. Старик хорошо помнил тот день. Он охотился с острогой за щукой в небольшом заливишке на острове и увидел, как льет икру возле камышей в осоке сазан. Вода у берега аж кипела от нерестящихся рыб. Их было много, больших, сильных особей. И старик не удержался. Стараясь не шуметь, он причалил лодку к берегу и стал осторожно подкрадываться к нерестилищу.

Ему удалось подойти совсем близко. Какое-то время он постоял, затаив дыхание, недвижно, занеся орудие для удара на уровень плеча. Сазаны, как поросята, ворочались на мели, поднимая муть, не обращая на человека никакого внимания. Вечный инстинкт продолжения жизни лишил их страха. Прицелившись, старик ударил острогой ближайшую рыбу.

Он не промахнулся. Острые зубья древнейшей из снастей глубоко вошли в тело рыбы. Она рванулась, но старик был начеку и всей тяжестью навалился на древко. Рыба продолжала биться, и он с трудом удерживал в руках свое орудие. Наконец рыба устала и затихла. Медленно подвел старик добычу к берегу и вытащил на траву. Зубья остроги пробили брюхо здоровенной самки. Старик, придавив ногой скользкое тело рыбы, освободил острогу. Рыба лежала на траве без движения, и икра густыми струями вытекала из ран вперемешку с кровью. И тут старику стало тошно. Он наклонился над рыбой и увидел ее глаз. На миг ему показалось, что глаз этот смотрит на него с укором и болью – что, мол, ты, старый дурак, наделал?..

Игла сострадания вонзилась ему в сердце.

После того случая старик не брал в руки острогу, а когда на удочку попадал сазан, он невольно смотрел на его глаза и испытывал все ту же неосознанную жалость. Особенно она доставала старика, когда сазан глубоко заглатывал крючок, и его приходилось с трудом освобождать из рыбьей глотки, и текла кровь, а рыба тихонько постанывала.

– Ну, зачем ты клонул на мою удочку, дуралей? – морщась, как будто ему самому было больно, говорил старик, проталкивая экстрактором

глубоко вонзившийся в нежную мякоть крючок. – Что, еды тебе в реке мало? А если уж ты очень хотел сладкую кукурузу, так клевал бы у тех, кто помоложе, они еще не знают жалости.

К другим рыбам он таких нежных чувств, как к сазану, пока не испытывал, но уже предполагал, что и такое может случиться. «Что же тогда будет? – размышлял он. – Что я буду делать на реке? А без реки мне трудно представить мою жизнь».

Старик медленно греб, глядя то на бурлящую за кормой воду, то на лоящего ртом воздух сазана. Недалеко от лодки дрались, громко крича, чайки.

– Что вы не поделили, птицы? – вслух произнес старик.

Когда-то он читал, что человек после смерти может стать каким-либо животным или даже птицей. «Рыбаки, наверно, становятся чайками, – подумал он. – Или рыбами? А что лучше – стать чайкой или рыбой? Лучше чайкой. Будешь летать над рекой, видеть восход и закат солнца. А если станешь рыбой – что увидишь хорошего там, под водой? Ничего. Да еще поймает тебя какой-нибудь рыбак на удочку или проткнет острогой...»

Что за мысли лезут в твою голову, старик, – подумал он. – Пожалуй, солнце напекло тебе макушку».

Он посмотрел на солнце и зажмурился, потом снял кепку и намочил в воде. Слегка отжав, надел на голову.

– Вот так-то лучше, приятель, – сказал он громко и снова взялся за весла.

До берега оставалось метров двести, когда он оглянулся, чтобы посмотреть на Тимофея. Но того на песчаной косе не было.

«Вот так номер! – Старик покачал головой. – Куда это он пропал? Или я не вовремя? Но Тимофей обычно тут как тут. Сидит и ждет. Ему нравится ждать. А мне нравится, что он ждет. Что-то здесь не так».

Между тем поменялся ветер. Старик увидел, как с юго-востока поднялась тяжелая грозовая туча. Она быстро приближалась, и старику хотелось успеть до грозы добраться до дому. Он приналег на весла.

Вот и берег. «Пожалуй, я успею до грозы», – подумал старик, привывая лодку к ветле. Быстро собрав снасти, он скорым шагом пошел в гору.

Дома кота тоже не было. Старик стал готовить себе обед. Разогрел похлебку, принес с огорода лук и петрушку. Не успел он сесть за стол, как в доме потемнело. Иссиня-черная туча накрыла реку и село, пролилась дождем, а потом засверкали молнии, и прокатился по небу трескучий гром. Старик ел, слушая громовые раскаты, глядел в окно. В луже у калитки надувались и лопались пузыри. «Надолго зарядил, – подумал старик о дожде. – Ничего, земля давно дождичка просит».

Кот не появился и после обеда.

Когда дождь кончился, принесла почтальонка Настасья пенсию. Старик расписался и получил деньги. Потом отправился в магазин. Он шел по улице и думал о том, куда мог пропасть Тимофей. Навстречу ему плелся, хромая, мужик со странным прозвищем Чупа Чупс. Он был в пиджаке на голое тело. На груди вместо креста болтался на толстом черном шнурке медвежий клык. Поздоровались за руку.

– Куда идешь, Тимофеич? – спросил деловым тоном Чупа Чупс, как будто ему и впрямь было важно знать, куда идет старик.

– В магазин.

– А я вот... – Чупа Чупс махнул рукой, что значило, что он и сам не знает, куда идет. Скорее всего, ищет, кто бы предложил ему опохмелиться.

– Ладно, – сказал старик и хотел было уже идти своей дорогой, как Чупа Чупс вдруг выговорил такое, что заставило старика остановиться.

– Кота твоего Санька Метелкин застрелил.

– Что? – старик не сразу понял смысл сказанного.

– Санька, говорю, Метелкин твоего кота из ружья застрелил.

– Как это... Зачем? – старику показалось, что сердце у него на миг остановилось, а потом побежало быстро-быстро.

– Так это, сам знаешь, кот твой цыпляет у Саньки таскает. Вот и тут, значит, сцапал цыпленка. А у Саньки ружье и разрешение имеется. Бах – и нету! Кота, то есть, я хочу сказать...

Но старик уже не слушал. Он резко развернулся и зашагал к дому Сани Метелкина.

Бывший участковый милиционер Саня Метелкин сидел на веранде и ел ложкой салат из глубокой тарелки. Он поднял глаза на старика и сказал, вытирая толстые губы ладонью:

– Дядя Тимофей? Ага. Ну, проходи, коли пришел.

– Я уж прошел, как видишь, – ответил старик, едва сдерживая гнев.

– И ладно. Ты, как я понимаю, насчет своего кота?

– Правильно понимаешь, насчет кота. Значит, правда?

– Правда, – махнул рукой Саня. – Разбойник твой кот был, сам знаешь. А у нас как? Преступление – наказание. Я его предупредил. – Саня поднял волосатый кулак. – Не внял. Пришлось приговорить. Вот так, дядя Тимофей, вот так.

Старик смотрел на лоснящиеся щеки бывшего стража поселкового порядка и думал, что едва ли у него хватит сил справиться с этим боржомом. Годков бы десяток назад – другое дело, не думая набил бы ему морду. А нынче руки не те, сила из них уходит, и с каждым днем они становятся слабее.

Обида стояла под самым горлом, но старик еще терпел.

– Жалеешь, что ли? – ухмыльнулся Саня и взял ложку. – Не жалей. Нового кота заведешь, законопослушного!

– Надо, чтобы человека кто-то ждал, – сказал старик. – Кот меня ждал.

– Так и другой ждать будет. Приучишь, дело нехитрое.

«Зачем я ему это говорю? – подумал старик. – Разве он поймет?»

– Морду бы тебе, Саня, набить за такие дела! – сказал он.

– Ну-ну! Ты говори, да не заговаривайся, – привстал с кушетки Саня. – Тоже мне защитник нашелся. Иди отсюда подобра-поздорову, а то сам провожу тебя к помойке, где твой ворюга валяется!

Старик не ожидал, что он сделает то, что сделал в следующее мгновение. Подскочив к обидчику, он ухватил того за шею и прижал его голову к столу так, что левая Санина щека оказалась в тарелке с салатом. Старик крепко держал толстую, в складках, шею большим и средним пальцами, а указательный упирался в затылок Метелкина под косточку.

– Пусти! – прохрипел Саня.

Но старик только сильнее сжал пальцами его шею. Еще оставалась в руках силенка. Когда-то в армии его прозвали Тимоха-Пассатижи, потому что он вытаскивал пальцами из досок гвозди, вбитые почти по самую шляпку.

– Не пусти, а прости! – сказал старик и левой рукой прижал голову Сани еще глубже в тарелку. Салат поплыл через край на скатерть. – Слышишь? Не пусти, а прости. Ты ошибся, парень! Давай, говори: прости меня, дяденька!

- Ладно, прости! – хлюпая губами в салате, пролепетал тот.
- Дяденька! – повторил старик. – Прости, дяденька! Ну!
- Прости, дяденька! – выдавил Саня нужные слова.

Старик отпустил шею бывшего милиционера, вытер ладонь о его майку и, ни слова больше не сказав, вышел из дома, только у калитки повернулся и плюнул на дорожку, вымощенную брусчаткой. Вслед ему с веранды раздавался мат и угрозы. Но старик их не слышал.

В огороде за домом, в дальнем углу, где стояло высохшее дерево облепихи, старик выкопал глубокую яму. Он завернул kota в свою рыбацкую рубаху и, опустившись на колени, бережно опустил сверток на дно. Потом забросал землю, притоптал ее, не оставив никакого холмика. Молча постоял и ушел в дом.

Вечерело. Солнце еще некоторое время освещало верхушки вымытых дождем яблонь, а потом скрылось, оставив после себя только красное зарево, предвещающее на завтра ветер. Вскоре и оно погасло. И сразу стало прохладно.

Не зажигая в доме огня, старик прошел в кухню, достал из шкафчика початую бутылку водки, плеснул в стакан. Он выпил водку одним глотком, поставил стакан на стол. Посмотрел на икону святого Николая, на фотографию в рамке и сказал громко и твердо:

- Всё. Больше меня ждать некому!

## Поэзия

### Инна КАБЫШ

Родилась в Москве. Окончила Московский заочный педагогический институт. Работала пионервожатой, учителем в школе, руководителем литературно-музыкального коллектива при Дворце культуры «Энергетик».

Публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и других. Автор поэтических книг, лауреат ряда литературных премий.

Живет в Москве.

*Человеку, следящему за развитием современной поэзии, не нужно представлять Инну Кабыш. Она работает в литературе давно, сочетая творчество с преподаванием литературы в школе. Сочетание достаточно традиционное и вполне понятное. Очень важно, что учительство вовсе не является для Инны только «работой», необходимостью находить средства для существования. Преподавание литературы – ее жизнь, ее участь, ее судьба и ее счастье. Характерно, что с годами творчество Кабыш не тускнеет, а обретает все новые и новые краски.*

*Художник глубоко, даже, может быть, слишком социальный, тонко чувствующий взаимоотношения людей, она давно нашла в поэзии свою стезю. Один из поэтов «либерального» лагеря, присутствующий на авторском вечере Инны в доме-музее Булата Окуджавы в июле этого года, правильно отметил, что она опирается не только на классическую, но и на советскую поэзию, в то время как творчество друзей этого поэта и его самого во многом предполагает полное и насильственное отчуждение от всего «советского».*

*Эти слова, к которым я полностью присоединяюсь, совсем далеки от политики. Здесь речь идет о традициях, которые мы не в силах отрицать. Даже если очень хотим этого.*

*Инна необычайно живой и интересный человек. Она рассекает на велосипеде по дорожкам Переделкинского дачного поселка, купается в холодном и грязном Самаринском пруду, по-прежнему живет в мало приспособленном для обитания старом корпусе Переделкина, напоминающем в последние годы рабочее общежитие, и регулярно собирает своих друзей на творческие вечера в музее Окуджавы.*

*А в этом году она была удостоена престижной Ахматовской премии!*

*Успехов тебе, Инна!*

*Евгений ЭРАСТОВ, член Союза писателей России, Нижний Новгород*

## ...И МНЕ УЖЕ НЕ СТРАШНО БЫТЬ ВТОРОЙ

\* \* \*

Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно –  
не то что куда-то ехать, хороший мой,  
когда по утрам за окном до того темно...  
короче, нашей отечественной зимой,

когда я со всеми вместе иду к метро  
и в сумке бездонной моей вся война, весь мир,  
все слёзы мира, всё зло его, всё добро –  
и йогурт, а иногда кефир,

когда я штурмом, как крепость, беру вагон,  
где глупо держаться и трудно порой дышать,  
где я засыпаю стоя и вижу сон,  
где ты не ушёл и где живы отец и мать,

где все до того близки мне – со всех сторон,  
что чья-то ушанка мне лезет упорно в рот, –  
я вдруг понимаю, что я – это, в общем, он,  
прости за пафос, имея в виду народ.

И если меня не грохнули в тридцать пять,  
и если я не повесилась в сорок семь,  
то надо дальше как-нибудь доживать  
не чтоб назло или на радость всем.

А просто – проехали – всё – не вернёшь билет –  
и с каждым годом светлее моя печаль,  
и смысла теперь умирать никакого нет,  
поскольку старых, их никому не жаль.

\* \* \*

У меня, как у всех, нынче есть свой email,  
Нынче есть, как у каждой собаки, мобила.  
Но кто письма писал, тот теперь онемел,  
И ушел, кто звонил и кого я любила.  
И уходит день за день земля из-под ног,  
мои дети уходят – свои и чужие.  
Только вскрикнешь по-бабьи: «Куда ты, сынок?..»  
А они все идут – все такие большие.  
Даже буквы срываются нынче с листа  
И летят словно клин, а потом –  
словно точка...  
Я стою на ветру, я совсем сирота,  
одиночка ли мать, капитанская ль дочка,  
хоть горшком назови, хоть совком –  
не боюсь:  
я как мертвый, который не ведает сраму.  
...А ночами мне снится Советский Союз,  
тот,  
где мама моя моет вечную раму.

\* \* \*

У, Москва, калита татарская:  
и послушлива, да хитра,  
сучий хвост, борода боярская,  
сваха, пьяненькая с утра.

Полуцарская – полуханская,  
 полугород – полусело,  
 разношерстная моя, хамская:  
 зла, как зверь, да красна зело.  
 Мать родная, подруга ситная,  
 долгорукая, что твой князь,  
 как пиявица ненасытная:  
 хрясь! – и Новгород сломлен – хрясь! –  
 всё ее – от Курил до Вильнюса –  
 эх, разъела себе бока! –  
 то-то Питер пред ней подвинулся:  
 да уж, мать моя, широка!  
 Верит каждому бесу на слово –  
 и не верит чужим слезам:  
 Магдалина, Катюша Маслова,  
 вся открытая небесам.  
 И Земле. Потому – столичная,  
 то есть общая, как котел.  
 Моя бедная, моя личная,  
 мой роддом, мой дурдом, мой стол.  
 ...Богоданная, как зарница,  
 рукотворная, как звезда,  
 дорогая моя столица,  
 золотая моя орда.

\* \* \*

Уходишь – так уходи.  
 И не жалея меня.  
 Дел ещё – пруд пруди:  
 остановить коня. . .  
 Душу ты мне не рви,  
 да ещё в такую жару!  
 Я не умру от любви.  
 я вообще не умру.

\* \* \*

Учебой ли, в тимуровцы игрой  
 охвачена, – была я всюду первой.  
 Отличницей. Общественницей. Стервой.  
 Меня не научили быть второй.  
 Остановить бы тройку на скаку,  
 спросить: «Куда, родимая, несешься?..»  
 Что первенством от смерти не спасешься,  
 я знаю. Чем спасешься – не секу.  
 Переборов ребяческую прыть,  
 живу неспешно, то есть драматично,  
 предпочитая не демократично,  
 а царственно решать, куда мне плыть.  
 ...И мне уже не страшно быть второй.  
 И пятой. И десятой. И последней.  
 Да может, тот бессмертней, кто бесследней,  
 и тот первой, кто замыкает строй.

\* \* \*

Это небо набухло, как вымя,  
и висит над моей головой,  
и по-волчьи хотела бы выть я,  
и чтоб кто-нибудь слышал мой вой.  
Эх ты, родина, горе-злосчастье,  
ты в кого уродилась такой?  
И за домом – сплошное ненастье,  
и в дому – лишь один непокой,  
и в душе . . .  
Но об этом уж слишком –  
лучше я о душе помолчу:  
не понять ни умом,  
ни умишком  
этот замысел.  
Эту свечу.

## Бахыт КЕНЖЕЕВ

Поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1950 году в Чимкенте. Окончил химический факультет МГУ. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии «Anthologia» (2005) и «Русской Премии» (2008). Автор ряда поэтических книг и романов. Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий и шведский языки.

С 1982 года в эмиграции. Живет в Нью-Йорке.

## ЭЛЕГИИ

### Элегия шестая

Пора, мой друг, пора. Я Пушкина листаю.  
Четвертый час утра. Элегия шестая.  
Поморщусь, закурю и выдохну привычно:  
печаль моя мутна и ночь косноязычна.  
Вопит во сне вдова, на свадьбе шут рыдает.  
подснежник радуется, и тут же увядает,  
играют радугой разводы нефтяные  
на лужах городских. О чем ты хнычешь ныне,  
неблагодарный раб? Кому ты так глубоко  
завидуешь? Кому светло и одиноко?

Ах, мышья беготня. Уже пробрили зорю.  
Запахнет серый свет бродящею лозою,  
и дымом – свежий хлеб, не душистым, а сосновым,  
и спросят мёртвого: «не грустно? не темно вам?»  
Лимоном, лавром, друг, вернее, лавровишней.  
Давно ли вечно жить нам обещал всевышний?  
Но это было там, в других краях, где горе  
топили юноши в арабском алкоголе,  
и пела под дождем красавица чужая,  
грядущей тишине огнём не угрожая.

### Элегия седьмая

*Л.С.*

Все кажется – вернусь, и станет все, как было,  
на Малой Бронной, где теперь сугроб  
(как я тебя любил, как ты меня любила!),  
аптека и кофейня. Жизнь взахлёб.  
И будет нам тепло среди зимы косматой:  
подпольный Галич с плёнки запоем,  
и кухню полутемную зальет  
люминесцентный свет продолговатый.

Любил-то я тебя, а был влюблен в одну,  
 другую, третью и сердился, право,  
 когда ты выговаривала: ну,  
 ты, мальчик мой, неправ, а впрочем, слава  
 Создателю: он сам – творенья часть,  
 то сдвинет ось земли, то сам себе дивится,  
 то посылает всякой мрази власть,  
 то глупость – юношам, то молодость – девицам.

Кончается благословенный век мой.  
 Ты умерла (а я не поумнел),  
 но все смеешься, пепел сигаретный,  
 как бы профессор с тонких пальцев – мел,  
 отряхивая в оранжевое блюдце.  
 Нет, не вернусь. Ушедшим не проснуться,  
 лишь Патриаршие сверкают инеем,  
 и небо черное, и светло-синее.

### Элегия восьмая

Ах, как смешно ты мечешься, голубчик, в рубашке клетчатой,  
 в сиреневых носках.  
 в штанах (вельвет песочный в мелкий рубчик), с зачитанным  
 Овидием в руках.

Не нам воспрять – лишь ангелам, вернее, созданиям,  
 не знающим стыда –  
 мы выцветаем, глупый мой, бледнеем, а то и вовсе пропадаем, да.

Не возвратит заоблачный охотник оброненного в черных подворотнях,  
 в года, когда с отточенной тоской свет теплился в столярной мастерской  
 на первом этаже замоскворецком, на сельском кладбище,  
 в евангелии детском.  
 где Гавриил, небесный генерал, Давида молодого уверял:

лишь певший об увиденном впервые снять цепь врожденную умеет  
 с грешной выи  
 одним движением – и в тесном вещем сне зубами скрежетать  
 без помощи извне

### Элегия девятая

зацвела конопля созревает мак  
 а подумал о будущем и обмяк  
 и зашелся кашлем от сигареты  
 различив за безлицею синевой  
 осторожный и жалобный голос твой  
 повторяющий что ты где ты

распахнется при черной свече зрачок  
 молоку на смену придет обрат

станет страшно и тихо-тихо,  
лишь под утро в углу затрещит сверчок  
таракану друг и цикаде брат  
подзывая свою сверчиху.

потемнеет пристань невдалеке  
где спустился бы в лодку с узлом в руке  
раскулаченный, только пешим ходом  
бормотать ему по водам чужим  
над которыми сириус недвижим  
истекает бесплотным медом

полно хвастаться кожаным ярлыком  
на княжение – певчих сверчков на корм  
игуанам и мелким змеям  
размножают – и светимся мы во тьме  
и встречаемся как не в своем уме  
и прощаемся как умеем

### Элегия десятая

отсидели за школьною партой возмужали в родной стороне  
затхлый запах свободы плацкартной кружит бедную голову мне  
и играет в граненом стакане счастье странника спелый агдам  
и дошкольники машут руками уходящим на юг поездам

и еще я студент не добытчик а страна за моею спиной  
набивает ивановский ситчик полыхает травой степной  
тянет сети работает то есть про железнодорожный рассвет  
сочиняет стучащую повесть но у времени совести нет

счет идет на такие секунды что и выбора нету прости  
не замай темнохвойной пицунды моря в гаграх и праха в горсти  
предвечерний покоится с миром не резон уже и недосуг  
воскресать молодым пассажирам поездов уходящих на юг

### Элегия одиннадцатая

когда адам отстраивал содом  
и любовался собственным трудом  
телеги с черепицею скрипели  
по глинистой дороге, мастерки  
сновали, словно ласточки, легки,  
молчали плотники, а каменщики пели.

в чем смысл творенья город Расскажи  
десятники свернули чертежи  
грядущее плотнее и бесплотней  
охотник на оленей лжец кузнец  
и ростовщик и мельник наконец  
обнявши жён справляют день субботний

один адам на ложе земляном  
скорбит и размышляет об ином  
спи старец спи пускай тебе приснится  
красавец Блок (уволенный рыбак)  
с медовой папироскою в зубах  
и бумазейной розою в петлице

### Элегия двенадцатая

И стартовал бы с чистого листа,  
чтоб стала ночь прощальна и проста,  
ан не выходит. Грустно. Тараканы  
под плинтусом. Зима. Метаморфоз  
не жалуем, ни в шутку, ни всерьез,  
засим (привет, Лебядкин!) и стаканы

сдвигаем с тусклым звоном. Не хотим,  
но кожа превращается в хитин,  
а руки-ноги – в лапки, и свобода  
сужается, как довоенный мир,  
до точки, до одной из черных дыр  
в развалинах живого небосвода.

А тараканы знай шуршат, шуршат,  
кот ловит перепуганных мышат,  
бездомный муж на вентиляционной  
решетке, в древний кутаясь тулуп,  
пьёт из горла. И песня льется с губ,  
безмолвная, как пруд пристанционный

из Саши Соколова, с трын-травой  
и радугой бензиновой. Постой,  
на пышный град в убогой облицовке  
из жженой глины – оглянись! Жена  
с тележкой бредет, обожжена  
безумьем. Ни завязки, ни концовки.

Тем и скучна поэзия, та chère,  
что дышит только светом горних сфер  
(шучу). Сужаясь от избытка чачи  
(как бы зрачок), за истину не пьет,  
невнятицу бесшумную поет.  
И рад бы изменить ей, но иначе –  
не смог бы, нет. Прощальна и проста,  
снимает тело мертвое с креста  
и, тихо прихорашиваясь, плачет.

## Евгений ЧИГРИН

Родился в 1961 году на Украине. Поэт, эссеист, автор четырех книг стихотворений. Публиковался во многих литературных журналах, в ряде европейских и российских антологий. Стихи переведены на 13 языков мира. Лауреат премии Центрального федерального округа России в области литературы и искусства (2012), Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (2013), Горьковской литературной премии в поэтической номинации (2014), а также Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2014).

Член Союза писателей Москвы и Международного ПЕН-клуба. Живёт в Москве.

## СТИХАМИ КОЛЕБЛЕТСЯ МОРЕ...

### Пераст

Всё сильнее размах Адриатики, бьющей хвостом  
 Переливчатой рыбы – стихами колеблется море...  
 Я живу между смертью и солнечным нежным огнём,  
 Где смятенье стиха и греха неизменно в повторе  
 Ожиданья тебя в колокольной деревне Пераст,  
 Непонятная жизнь перемешана с музыкой лета,  
 Побледневшей волной этот мир повернулся в анфас  
 И смеётся зверьком в окруженье прозрачного света.  
 Это море опять я вышёптывал, чтобы шептать  
 Твои плечи и звук амфибрахия, дактиля, ямба  
 В почерневшую быстро от буковок верных тетрадь,  
 Понимая любовь, как весёлое лёгкое пламя.  
 И, как праздник, вода Адриатики пела вокруг,  
 И барочная скрипка откуда-то слева звучала,  
 Забирая в себя, вынимая изысканный звук,  
 И бемольного света и в паузах было немало...  
 И глаза голубых гребешков голубели в воде –  
 Говорили тебя, все моллюски тебя говорили,  
 Этот бухтовый свет возникал и стелился везде,  
 И задабривал жизнь, и подбадривал водные мили.  
 Этот праздник воды говорил на моём языке,  
 Растекался строфой, и чернел в черногорской тетради,  
 И глаза голубых гребешков голубели в строке,  
 И барочная нежность стояла на скрипках Амати...  
 И, как праздник воды, я вышёптывал жизнь без тебя,  
 Вспоминая тебя, натываясь на древние стены  
 Заблудившимся взглядом (стихала стиха ворожба),  
 Говорящей на русском, молчавшей на местном Камены.

И хотелось молчать, и за облачком взглядом блуждать,  
 И на лодочке плыть за каким-то ребячьим секретом...  
 Всё по рифмочке букв эту музыку копит тетрадь,  
 И последнее солнце блазнится последним поэтом.

### Македонское

...Проснуться в Скопье и припомнить что  
 Я был во сне в потустороннем мире,  
 Там ехал дьявол в золотом авто  
 И было некомфортно. Было шире  
 Душе и музе? Это был музей? –  
 Музей пространств, в котором черти выли  
 Большую песню в свете новостей  
 Из жизни ада. Ангелы басили  
 Густой хорал, который Себастьян  
 Переписал в пределах отдалённых  
 Как только мог умелый протестант  
 Из самых совершенно-одарённых.  
 И облако три ангела несли  
 В починку к Богу? – видимо. Пробелы  
 В неровном сне... Попробуй, разбери,  
 Переведи с туманного на белый,  
 Точней, на ясный будничный язык:  
 Была с косой костлявая? Смеялась?  
 Я к ней стоял как будто бы впритык,  
 Но – облако, но – ангелы... Осталось  
 Такое чувство, будто часть меня  
 Находится в среде потусторонней...  
 Но – день в окне снимает пенки дня,  
 Растягивает солнце на балконе.  
 Проснуться в Скопье: Македонский где? –  
 Вот-вот и Македонский в «Мерседесе»  
 Прокатится по тёплой пестроте  
 И растворится в чистом поднебесье.  
 Продрать глаза. Налить в стакан ситро.  
 Подумать: смерть сегодня отменили  
 От лёгкой Македонии и до...  
 ...Проснуться в детском, как в мультфильме, мире.

### Мамберамо

В Новой Гвинее река Мамберамо,  
 Тёмные люди, леса...  
 (Просится в рифмочку «мама» и «рама»)  
 Застят виденья глаза  
 Мне в Подмосковье: в подзорную трубку  
 Фантазмагорий – река  
 Чудится. Мнится. Зелёную шляпку  
 Тянут – куда? – облака.

...Тыквы и яблоки осени – осень  
 Лакомят, как захотят,

Жёлтое яблочко падает оземь,  
Жёлтое кружится над...  
Длится ореховый остров: в Гвинею  
Стихотворенье пишу  
Словно в знакомую мне эмпирию?..  
Солнечному миражу,

В тропики? В мангры, в которых гуляет  
Голубь и синий павлин  
И химеричным закатом стекает  
В заросли сочный кармин.  
...Варвары пляшут синг-синг в полнолуние,  
В полый бамбуковый ствол  
Весело дует худая ведунья,  
Пахнет животным атолл.

...В Новой Гвинее река Мамберамо.  
Дождь в Подмосковье – врасплох!  
Тучей отъявленной смотрит с экрана  
Неба нахмуренный Бог.  
Остров стирается мокрым и быстрым:  
Демон с дырявым ведром  
Ходит в Мякинино вечером мглистым,  
Смотрит дождливым огнём.

## Предновогоднее

Зима слоится корочками льда,  
И тянется неровными снегами.  
Змеиным светом вспыхнула звезда,  
И скрылась за кирпичными церквями.  
Прожилося как? – совсем не в молоке:  
Надули щёки Парки над вязаньем...  
Светильник. Стол. По локоть жизнь в стихе –  
До петухов с таким иносказаньем.

Случилось что? – какой-то сложный звук?  
В тарелке хлеб и красным телом рыба.  
Всё больше заморожен бредом слух  
В тональности Борея, без просыпа  
Свистящего заботливо в ушах  
Пугающих задворок и проездов...  
Другим бы стать в рифмованных словах  
Под музыку таинственных оркестров,

Которые приносят волшебство...  
Два призрака прилипли к антресоли,  
Стоит декабрь в потрёпанном пальто,  
Луна в суставах ощущает боли,  
Которые бы морфием... Зачем  
Так мало жить?.. Обещано – ненастье  
И Новый год, и старый Вифлеем,  
И плюшевое заячье ушастье.

## Владимир РЕШЕТНИКОВ

Родился в 1971 году в пос. Сухобезводное Семёновского района Горьковской области. Окончил Нижегородский строительный техникум и Нижегородский педагогический университет. Служил в исправительной колонии строгого режима в должности психолога. В настоящее время – майор в отставке.

Член Союза писателей России. Лауреат премий им. Б. Корнилова (2011, Семёнов), «Болдинская осень» (2012, Н. Новгород), «На встречу дня» им. Б. Корнилова (2013, Санкт-Петербург).

Автор ряда поэтических сборников. Живет в Семёнове.

## ПОНАПРАСНУ ТВЕРДЯТ: МЫ БЕЗРОДНЫЕ...

### Китеж

По лесной тропе Батыя,  
Следом Гришки Кутерьмы  
Шли они в места святые,  
К свету из греховной тьмы.

И возрадовались души,  
Выйдя к озеру – воде.  
Первый молвил: звон послушай.  
А второй дивился: где?

Тут предстал Великий Китеж,  
И тогда один сказал:  
Под водою город видишь?  
Но второй лишь тёр глаза.

Распахнулись града двери  
Перед первым, а второй,  
В чудеса ещё не веря,  
Повернул назад, домой...

### Небо

Не будет небо снова  
Над нами голубым.  
Ты про меня живого  
Другому скажешь: был...

С упрёком, что не правы,  
По вечеру закат  
Болезненно-кровавый  
На нас опустит взгляд.

А утром в ножевую  
Дожди пойдут со зла.  
Я про тебя живую  
Другой скажу: была...

Не будет больше неба!  
По лету, средь зимы.  
Не будет, с кем бы, где бы  
Ни находились мы.

\* \* \*

*Памяти Владимира Пайкова*

Тишина над кладбищем повисла,  
Слышен только перезвон лопат.  
Жизнь прошла без найденного смысла,  
Будто дрожью с головы до пят...

Адвокат, поэт – сатирик или  
Вечно одинокий пилигрим?  
Мы с тобою не договорили,  
Значит после... «там» договорим...

Про твою неизданную книгу,  
Что издать стеснялся, не хотел...  
А потом пошутим про интриги  
Из твоих из адвокатских дел.

И всерьёз, что жизни смысл – не в смысле,  
А в процессе поиска его.  
Чья-то тень над кладбищем повисла...  
Господи, тоскливо ж до чего!

\* \* \*

*К 70-летнему юбилею  
посёлка Сухобезводное*

Понапрасну твердят: мы безродные.  
Наши деды – союзных корней,  
Их шагами по Сухобезводному  
Утрамбованы тонны камней.

Шли в неволе и в робах изжёванных,  
В гимнастёрках с присягою шли...  
Видно здесь потому и тяжёлые  
Неродящие комья земли.

Земляки, заживём ли по-лучшему?  
Если нет – обойдёмся и так...  
Наши шрамы в трудах заполучены,  
Нервы наши зажаты в кулак.

Наши скорби не выплакать градусом  
У могилок на дальнем бугре.  
А надежды все наши и радости  
Тычут пальчиками в букваре.

Наша вера – во что вы поверите:  
Церковь, Ленин на выбор стоят.  
Ну а память великая – в скверике:  
Молодой неизвестный солдат.

И какая б земля ни тяжёлая,  
У неё, у родной – юбилей.  
Приходите с друзьями и жёнами,  
Веселитесь сегодня на ней!

## Марина НЕКРАСОВА

Родилась в Чите в 1971 году. Окончила музыкальное училище, факультет журналистики Забайкальского госуниверситета. Защитила диссертацию по русскому языку. Работала учителем в музыкальной школе, журналистом, преподавала русский язык в госуниверситете Китая.

Рассказы печатались в литературных журналах «Слово Забайкалья», «Встречи», «Парус», «Дальний Восток», «Сибирские огни». Живет в Чите.

### УЛИЦА ЖЁЛТЫХ ФОНАРЕЙ

Молиться она не умела, но на ночь, лёжа и закрыв глаза, думала: «Спасибо, Господи, за этот чудесный день». Подумав так, она вспоминала. Иногда она восстанавливала прошедшее, двигаясь от последней минуты к первой, которую помнила; иногда прокручивала прожитый день с начала. Где-то она вычитала: ежевечернее припоминание цепочки событий прошлого тренирует мозг, укрепляет волю, дисциплинирует, учит терпению. «Спасибо, Господи, за этот чудесный день. Последнее, что я слышала? Сломать? Сломать. Нет, сегодня мне лучше пойти с начала», – решила она, легла на спину, нацелила взгляд в неясно бегающий потолок.

Утром он долго спал. Она сидела на балконе, радуясь теплу раннего утра, синему небу и белым далёким облачкам, чашке горячего чая в руке, и – чего уж там – радуясь тому, что он ещё спит. В небе галдели стрижи, сновали из стороны в сторону, свивались кольцами, собирались в кучу страшной чёрной массой, а потом бросались врассыпную, словно дети, играющие в пятнашки. Если бы не стрижи, смотреть с балкона было бы не на что: облезлые коробки домов, куцые деревья, пыльный асфальт, серые крыши киосков. Она долго следила за птицами и забыла про чай. «Бездельница, – с улыбкой подумала она о себе. – Бездельница и лентяйка. Видела б тебя бабушка».

Сейчас, в темноте, глядя в еле видимый потолок, она опять улыбнулась утреннему воспоминанию о старухе, её голосе и лице и о том, как, вздёрнув худой острый нос, та, бывало, ворчала: «Руки девицы просят работы. Нечем занять – вышивай, крупу выбирай». Старуха была права: когда руки заняты, в голове меньше ненужных мыслей, например – пойти погулять, или – познакомиться с тем светловолосым парнем. Она подумала: «Рано ты меня без догляда оставила, бабуля. Хотя, может,

и к лучшему. Всё к лучшему. Он всё равно бы бросил меня – после. Лучше уж так, потому что если бы он бросил меня после – ни за что не простила бы, пошла бы кроваво мстить, убила бы, посадили бы, а маленького тогда – в приют. Вот так всё и было бы, если б позже. А так – и винить-то некого, а кого винить хочется – того забыли как звать». Она не знала, как болит сердце, но когда думала о приюте, слева внутри себя ощущала воинственный кулачок, который крепко сжимался против её воли, будто угрожая, запрещая об этом думать.

«Увело, накренило в сторону», – подумала она, перевернулась на бок, зевнула. Сквозь щелку меж закрытыми шторами сочился жёлтый свет от уличных фонарей, висел, окрашивал столб воздуха напротив кровати.

Он долго спал, и утро получилось чудесным. Она успела подтереть полы, вымыть и высушить голову, снять с сушилки и переглядеть вчерашнее бельё, загрузить в машинку новое. Пока гладила, вползвук слушала телевизор: что-то о похудении, диетах для похудения, лепки фигуры к началу пляжного лета. Телевизор выключила вместе с утюгом: «Хоть бы раз рассказали, как поправиться». Она старалась кормить его хорошо, но он неохотно пробовал новое, рос быстро, но плохо набирал в весе. И хотя она боялась, что когда-нибудь он всё же поправится и она не сможет носить его на руках, старалась кормить его правильно. С утра на плитке для него томилась овсянка из цельных зёрен. Она успела сделать себе бутерброд – кусок батона с маслом и сыром, развести кофе с молоком, расположиться за столом с бутербродом, кофе и свежим номером журнала. Она откусила край бутерброда, глотнула кофе, раскрыла журнал – а он проснулся.

Она пошла к нему с улыбкой, но настроение испортилось, потому что он плакал. «Толком не успел проснуться: почему плачет? Интересно, когда он плачет, ему также плохо, как мне, когда плачет он? Когда плачу я – ему, кажется, всё равно, он не понимает такого». Она думала так, но всё-таки старалась не плакать при нём. Она, вообще, старалась не плакать, разве что иногда, совсем редко, в подушку. Тоже бабушкина школа: «Думочка в себя заберёт, в себя водицу впитает». Иногда, вспомнив старухины поучения, она вздыхала о том, что думы ей скрывать не от кого – и думы, и слёзы. Но такой мысли она стыдилась, а если случайно думала так – одёргивала и ругала себя, как бабка в детстве – по рукам била. Она мирилась с тем, что ему непонятны чужие чувства, но, по-честному, не до конца в это верила, сколько ни говорили. А порой ей казалось, что он притворяется: что понимает всё, только скрывает это.

Она стряхнула прядку волос со лба: «Опять занесло. Какие же непослушные эти мысли». Вернулась к событиям утра. Он плакал, она, услышав это, расстроилась, но попыталась сохранить беспечное летнее настроение: подошла к нему с улыбкой, что-то сказала, поцеловала, погладила шёлковую головку. Он плакал. Похлопала в ладоши – плакал. Пришлось взять его на руки. «Какой он тяжёлый – очень тяжёлый. Тот, кто плачет, должен быть лёгким и маленьким», – это сейчас она думала, лёжа в постели, а утром только взяла его на руки, почувствовала тяжесть его тёплого вялого тельца, обняла покрепче и стала ходить с ним по комнате – от окна к стене, от стены к окну, – пока не успокоился. «Значит, у него ничего не болело, – поняла она. – А плакал он по другой причине. Какие могут быть у него причины для слёз?»

Она поставила его на подоконник, грудью прижавшись сзади к тоненьким белым ножкам: «Смотри, там стрижи. Стрижи!» Он повторил:

«Стрижи», – а на птиц не посмотрел даже. Она вздохнула, усадила его в высокий детский стульчик – он взвизгнул, стульчик давно стал мал и при усаживании давил коленку. Плакать он перестал, засмотрелся в окошко. Она покормила его, не рискнув дать ему в руку ложку, чтобы его настроение снова не испортилось. Она убрала пустую тарелку, заметила, что он занялся пальцами – стал рассматривать их, прикладывая один к другому, опустив подбородок, желобком оттопырив нижнюю губку – подумала, что, может быть, пока он играет пальцами, она успеет дочитать журнал, и торопливо стала его пролистывать: «Как справиться с перхотью. Как победить молочницу. Как правильно загорать летом...» Она дошла почти до обложки, когда он сильно стукнул по столешнице ладошкой и снова заплакал. «Нас это не касается!» – она захлопнула журнал ладонями. Посмотрела на него: он выглядел несчастным. «Нет, нас это касается. Нас всё касается! Мы тоже можем загорать летом. У нас тоже может появиться перхоть, да?» – говорила она, обращаясь к нему. Чтобы отвлечь его, она скрутила журнал трубкой и стала выть в неё, изображая автомобильную сирену: «Ыы-аа, ыы-аа...» Потом она бросила журнал ему на маленький столик. Он замолчал, взял в руки журнал, стал рвать странички, она отвернулась – «Читать там всё равно нечего» – и решила, пока он занят, вымыть посуду. Она покончила с этим быстро, а вытирая полотенцем руки, почувствовала на себе его взгляд.

Она медленно повернулась. Он снова смотрел на неё тем взглядом. Иногда она замечала этот его взгляд, и он пугал её, потому что был слишком серьёзен и разумен, и каждый раз, встречая этот взгляд, она думала, что он притворяется, что на самом деле он понимает гораздо больше, чем она привыкла считать. Он понимает всё, но зачем-то скрывает это. Зачем?

Она подошла к нему:

– Ты ведь всё понимаешь, правда? Скажи мне, что ты понимаешь всё.

Он отвернулся к двери и молчал, глядя в проём между белыми косяками. Пора было выбираться на прогулку, но сегодня ей не хотелось. «Он так долго спал, скоро обедать, потом отдохнём и ходим в парк ближе к вечеру». Совесть грызла недолго. «Вера Зиновьевна сказала заниматься каждое утро», – придумала она оправдание. Она унесла его в комнату, посадила на ковёр, дала «приборчик». Когда-то, вдохновлённая надеждами, она сделала большой и красивый приборчик: ярко разрисованное папье-маше с углублениями для чайной ложки, погремушки, резинового утёнка, шарика для пинг-понга и чупа-чупса. Суть занятия с приборчиком – разложить предметы в нужные углубления. Сделать этого он не мог, сколько она не билась – не то чтобы путался в соответствиях, а, судя по движениям, которые он делал, совсем не понимал задачи. Углубления для шарика, в которое, как ей казалось, так и просился шарик, он не замечал, да и других тоже, иногда только засовывал в раскрашенные ямки указательный пальчик.

Тот первый «приборчик» он со временем поломал, стучая хрупким папье-маше по полу. Она обрезала непоправимое, подклеила, что было можно. «Так даже лучше, бог любит троицу»: «приборчик» стал маленьким, в три углубления – под ложку, шарик и утёнка. Но прогресса в его занятиях не было, он кидал утёнка, кидал шарик, кидал ложку, стучал по полу «приборчиком», а иногда надолго замирал, сидя с утёнком или ложкой в руке, будто забыв о них, и смотрел в сторону. Когда он доломал отреставрированный «приборчик», она решила оставить

занятия, но месяца через два, сдавшись под уколами совести, снова села мастерить папье-маше. На этот раз она сделала его совсем простым: два углубления – для ложки и теннисного шарика. Но он невзлюбил новый «приборчик»: не замечал его, если она раскладывала предметы на полу, ронял, если она всовывала «приборчик» ему в руку.

Он захныкал во сне, и она затаила дыхание, прислушиваясь, не проснётся ли. Он простонал что-то невнятное, пошевелился в постели и стих, а она стала думать дальше. «А ну его к лешему – “приборчик”». Чем мы обедали? Доели вчерашний суп. Мы всё доели, и я мыла посуду. Как хорошо, наверное, сейчас на улице – не жарко и светят фонари. А днём была духота, и ели мы без аппетита. Я научилась работать двумя ложками сразу, чтобы моя порция не остывала, пока я кормлю его. Да, точно. Кому скажи – не поверят. Но я никому не скажу. Так вот. Попели. Я мыла посуду, а он клевал носом над столиком. Наверное, он был сонным из-за жары. Но жара у нас долго не задерживается. В прошлом году и двух недель не стояла. А я опять отвлеклась». Помыв посуду, она вытерла руки, вынула его из детского стульчика – не пискнул, безболезненно вынимать его из стульчика получалось – и понесла к своей кровати. Она положила его ближе к стене, и сама легла рядом, потом встала, открыла балконную дверь, задернула шторы и снова легла. В комнату солнце не попадало, и в ней было прохладнее, чем на кухне. Он взял её за руку и больно сдвинул мизинец. Она аккуратно вытянула палец из цепкого кулачка, но он поймал его и больно сдвинул опять.

– Больно! – воскликнула она и выдернула палец.

– Больно, – повторил он и улыбнулся, прижавшись щёчкой к её плечу.

Она отвернулась, чтобы не видеть его улыбки, повернулась на бок, спиной к нему, прислушалась: «Сейчас заплачет». Но он не заплакал. Она заглянула украдкой через плечо: он играл пальцами. Она почему-то вспомнила, как вчера на его глазах прихлопнула мухобойкой влетевшую в кухню муху. «Что мама?» – спросил он. «Я убила муху», – ответила она. Он присел на корточки посмотреть, но она поспешно схватила со стола салфетку, взяла муху, скомкала её вместе с салфеткой, бросила в мусорное ведро. «Убила муху», – повторил он. «Да – надо убить муху», – сказала она, взяла его за руку и вывела из кухни.

Ей стало душно, она откинула одеяло и потянулась на кровати. Хотелось спать, и она решила вспоминать быстрее. «Так, значит, утреннюю прогулку мы пропустили. Да и ладно. Утром – только во двор. Слишком тяжело спускаться и поднимать на пятый этаж его вместе с коляской. А во двор – и без коляски можно». Правда, по лестничным пролётам она его всё-таки носила на руках. Он и сам мог бы подниматься и спускаться, но не хотел. Иногда ей хватало терпения подождать, пока он одолеет три-четыре ступени. Иногда она даже считала громко: «Раз, два, три, четыре. Молодец!» Но чаще, сделав шаг, он останавливался, будто забывая о том, что от него требуется, или действительно забывая об этом. Часто ей казалось, что он просто вредничает, как вредничают любые другие дети, но потом она вспоминала о том, что он не похож на любых других, и поднимала его, брала на руки и несла на руках.

Они пошли гулять под вечер, когда стало прохладней и небо затянуло тучами. Вечером они всегда ходили в парк – раз уж мучиться со спуском и подъёмом в подъезде, так не ради двадцати минут во дворе. Коляска у них была хорошая, лёгкая, только вот лестницы в их подъезде узковатые, и спускаться с коляской и ребёнком в руках было ещё труднее, чем подниматься, потому что подниматься она могла, двигаясь

боком вперёд, а спускаться боком вперёд она боялась – вдруг оступится и уронит его. Из-за этих прогулок она любила зиму больше, чем лето. Санки легче таскать в подъезде. Зимой рано темнеет и можно катить его на санках вдоль улицы в сфере жёлтых фонарей на высоких столбах. Она вспомнила, как приятно бывало катить его, закутанного в шубку, сидящего на санках с алюминиевой спинкой – ножки в серых валенках воинственно торчат вперёд, из-под шарфа смотрят синие глазницы. Когда зимой она возила его вдоль улицы, никто не обращал на них внимания, потому что на санках катают разных детей. На санках катают даже совсем уже взрослых детей. Детские санки – не то что детские коляски, коляски – только для маленьких.

Она открыла глаза, сон прошёл: «Самое главное! Что там сначала было? Да ничего особенного». Они подкатились к песочнице, там были все свои, она поздоровалась с мамочками, вынула его из коляски, подтолкнула к сиреневому бордюру. Дети играли в тени высокой сосны, вокруг на широком газоне зеленела трава. Маленький Артёмка, возивший по песку грузовичок, глянул на них недружелюбно и отвернулся. «Кажется, я заговорила со Светкой? Да. О чём? Не помню, странно. Да о чём можно говорить с этой Светкой? Стерва. В тот раз умудрилась высказаться: “А хорошо тебе в каком-то смысле. Нам вот велосипедик пора купить, то игрушку новую, то игру, теперь к школе готовиться – альбомы, фломастеры, а твоему не надо ничего”. Змея подколодная. Да нет, какая она змея, обыкновенная дура. Она тогда спохватилась: “Ой, миленькая, прости”. Простила, чего уж там. А зачем тогда вспоминаю? Так. Где я остановилась? Остановилась я на песочнице».

Пятилетняя Сонечка подняла покорно повисшего в её руках смешного дымчатого котёнка с белым пятном над носом.

– Какая лапочка! – загнула Светкина Анжелика.

– Какой хорошенький! – в тон Анжелике заныла другая девочка.

– А он дрессированный? – спросил шестилетний Артёмка.

– Он ещё очень ма-аленький, – подражая своей маме, объяснила Сонечка и нежно прижала котёнка к подбородку.

Дети облепили Сонечку, каждый хотел дотронуться до перепуганного животного, беззвучно повисшего у девочки на руках.

– Его надо убить! – вдруг громко пискнул её большой мальчик.

– Ты что-о-о? – завопила Сонечка и мгновенно заплакала.

– Дурак, – крикнул Артёмка.

– Его надо убить! – пискнул её мальчик ещё громче.

– Ты что?

– Какой ужас!

– Ты нехороший!

– Маленький котёночек, разве тебе не жалко?

Мамы говорили показательно, дети – искренне, а она злобно дёрнула его за руку, невольно оттягивая подальше от котёнка и других детей, увлекая к себе. Сонечка всё громче плакала, дети теперь утешали её, мамашки о чём-то оживлённо говорили между собой, Артёмка их внимательно слушал, а на сосне у песочницы закаркала ворона.

Она заставила себя успокоиться, присела на корточки, развернула его бледным личиком к себе, взяла за обе ладошки.

– Почему?

Он молчал: испугался криков. Не выпуская из рук, она пощекотала пальцами его ладошки. Он нехотя улыбнулся. Она тоже улыбнулась ему, заглянула в личико, ловя взгляд, спросила тихо и ласково:

– Почему?

«Молчит. Может, уже забыл?» – подумала она быстро.

Но он не забыл: ответил тихо, будто даже обиженно:

– Его надо убить... Как муху...

Она ещё пару секунд улыбалась ему, потом смотрела на него без улыбки, просто так, внимательно, потом прижала к себе – шёлковая головка легла на плечо – погладила гладкие волосы.

– Как муху. Как муху, я поняла. Как муху...

– Как муху? Ты сказал – как муху?

Она вскочила, ринулась в сторону, потянув его за собой к коляске. Усадила его, сцепила защёлку ремня, покатила из парка, забыв попрощаться с мамочками. Рука тряслась: она с трудом нашла в списке её номер: «Где же. Вот. Вера Зиновьевна».

– Вера Зиновьевна, здравствуйте! Да, это я. Спасибо. Нет, хорошо. Всё хорошо у нас. Вера Зиновьевна, он сказал – «как!» «Как муху». Он сопоставил, Вы меня понимаете?! Да. Ну, не важно, что. Он сравнил, соединил, у него получилось! Невероятно, но он сопоставил вчерашнее и сегодняшнее, понимаете? Это ведь на порядок сложнее, я читала. Да, спасибо. Я тоже. Да, нужно устроить праздник. Хорошо. Мы к вам придём. Мы придём обязательно – да, на следующей неделе. Да, я поняла вас: тренировать, насколько возможно, чаще. Да-да, я справлюсь, это легко. Дерево высокое, как дом. Печенье вкусное, как конфета. Да-да, я понимаю вас! Два яблока – как два стакана. Да, это труднее, но, я думаю, это он тоже поймёт. Конечно, не следует торопиться. Да, придём, и вы хорошенько нам всё объясните. Спасибо вам. До свидания.

Она убрала телефон в сумочку и шла бодрым шагом, энергично толкая коляску, а та подпрыгивала на трещинах старого тротуара. «Два яблока – как два стакана. Три яблока – как три стакана. Или как три ложки. Ты можешь держать ложку, как я. Ты – как я. Ты – как они. Когда ты бросаешь песок им в глаза – им больно, как и тебе будет больно, если я брошу песок в глаза тебе. Если я стукну тебя – тебе будет больно, как мне – если ты меня стукнешь. Я плачу, потому что мне больно, когда ты сильно сжимаешь мой палец. Я плачу как ты – ведь больно мне как тебе. Ты – как я. Ты – как они. Ты можешь ходить, как они. Ты можешь бегать, как они. Ты можешь говорить так, как они говорят. Если они спросят – ты ответишь. Если ты спросишь – они ответят тебе», – она придумывала новые и новые будущие его открытия, придумывала весело, легко, стараясь запоминать самые ловкие сравнения, придумывала всю дорогу, до подъезда дома, пока не въехала колёсами коляски в бетонную ступеньку крыльца.

Она умыла его, сварила картофельное пюре – его любимое, с кусочками сливочного масла и каплями протёртого куриного мяса, потом кормила его и возбуждённо общалась ему разную нелепицу: «Убить котёнка – как убить муху»; «погладить котёнка – как погладить тебя», «ты живой – как котёнок и муха»; «пюре вкусное – как каша и суп». Она дала ему компот, вынула из стула, усадила на горшок, а потом на ковёр, но почувствовала, что слишком возбуждена, чтобы играть с ним. Он рассматривал свои пальцы, а она смотрела в окно и старалась успокоиться. Он понимает цвета. Он понимает команды: «сядь», «вставай», «ложись», «дай», «на». «Как собака», – подумала она, и слева внутри неё крепко стиснулся кулачок, запрещающая продолжить. Он знает много слов: «дом», «дорога», «коляска», «улица», «яблоко», «каша»... Он знает очень, очень много разных слов.

Когда-то она записывала всё, что он знает, в тонкую тетрадку. Тетрадка кончилась, другой она заводить не стала, потому что поняла, что то, что он много знает, ничего не меняет. Он не может понять «больше» и «меньше», «выше» или «ниже». Он не может понять «два», «три», «пять». А она не может понять, как это – не понимать, что два яблока – это «два». Когда она впервые узнала о том, что вероятнее всего он так и не сможет соотносить предметы, чувства, величины – она решила, что это не так уж страшно. Он просто не будет математиком, инженером, доктором, строителем и кем-то ещё другим, чья работа требует такого умения. Она не знала тогда, что умение соотносить вещи, чувства, величины нужно не только в работе математика, инженера, строителя, что оно нужно не только для работы, не столько для работы, что работа тут ни при чём.

Почти каждый день он осваивал новые слова. Одно из последних завоеваний – «хочу». Он говорил «хочу», подставляя к нему разные другие слова, иногда выходило удачно, иногда не очень. «Хочу яблоко», «хочу мяч», «хочу спать», «хочу дай». «Хочу, чтобы ты дала мне попить» – это пока слишком сложно. Это вообще слишком сложно. Нужно ли громоздить такие длинные паровозы из слов, если можно сказать просто: «Хочу пить»? С этим мы справимся, а вот с другим? Скажет ли он когда-нибудь «хочешь»? «Ты хочешь попить, мама?» Сейчас, в тёмной комнате, внутри неё снова сжался кулачок, и она отвлекла себя и от этих мыслей, вернувшись к припоминанию сегодняшнего. «Почему он сопоставил именно это? Потому что это его удивило? Почему его удивила убитая муха? Это было не похоже на всё другое? Может быть. Не важно, главное – если муха его удивила, значит, он способен удивляться, значит, я могу этим воспользоваться, нужно лишь чаще удивлять его. Как? Говорить неправдоподобное, преувеличенное? “Ты вырастешь большой, как дом”? Слишком сложно, “большой” – ему непонятно. Тогда просто – “Ты вырастешь как дом”». Она засмеялась.

Она думала об этом вечером, когда, выкупав его в большой ванне и закутав в мягкое синее полотенце, носила от стены к окну, от окна к стене, дожидаясь, когда он захочет спать и начнёт тереть глазки. В ванной они скопили пар, зеркало запотело, и, когда она вынимала его из воды, он пальцем начертил на запотевшем зеркале полоску, и она подумала, что нужно купить краски и кисточки, и, может быть, ему понравится рисовать, а может, он окажется талантливым и станет знаменитым художником, когда вырастет. Она пыталась представить его взрослым, но не могла.

Он потёр глазки. Он был очень хорошенький, когда, поддаваясь сну, тёр кулачками глазки. Однажды они задержались на прогулке, и она несла его, засыпающего, домой, и соседка по подъезду сказала: «Какой красавчик! Вырастет – от девчонок не будет отбою». И в парикмахерской говорили, что он красивый, что волосы такие редко у кого встретишь – густые, гладкие, блестящие – чистый шёлк. И что глазки умненькие, говорили. И что послушный. «Да, послушный красавчик», – она погладила его мокрые волосы, поставила его на подоконник, одела его в пижаму. Но он стал вредничать, и она опять носила от окна к стене, от стены к окну, делая остановки на подоконнике.

Состороны парка, с востока, дул сильный ветер. Тучи плотно облепили небо, и под ними, будто на прозрачных качелях, на ветру раскачивались стрижи. Старательно работая крыльями, они продвигались на несколько метров к востоку, а потом замирали, сдаваясь, и ветер отбрасывал

их назад. Туда-сюда, туда-сюда – качались под тучами десятки чёрных пташек. Она смотрела на них, когда подходила к окну, и думала, что птицы счастливы, что им по нраву вдруг подаренная ветром бестолковая игрушка, им привычно это «туда-сюда», они прилетают сюда каждый май и улетают отсюда каждый август, и вся их жизнь напоминает маятник, а люди не похожи на этих птиц, люди не могут топтаться на месте, не могут снова и снова возвращаться к тому, с чего начали.

Стемнело. Она устала его носить, но терпела, знала, что вот-вот начнёт тереть кулачками глазки. И тогда она поцелует его в гладкий белый лобик и уложит в постель. «Дождёмся только фонарей», – решила она. Летом фонари включали в половине одиннадцатого, зимой – раньше, и она всегда ловила этот момент. Фонари вспыхивали сначала холодным – розово-голубым, а через пару мгновений теплели – наполнялись мягким и тёплым жёлтым, вокруг каждого появлялся сияющий ореол, в котором летом мелькали дождевики или трепетали мотыльки, а зимой – иногда – сверкали капли изморози или летели снежинки, но чаще мельтешила пыль, что поднимали машины с дороги.

Странной была эта улица – безликой и почти бесцветной: стены типовых пятиэтажек с облупленной штукатуркой, выцветший до бледно-серого асфальт весь в буграх, ямках и трещинах, грубо обрезанные тополя, пыльные газоны, на которых зимой не залёживался долго снег, а летом ни в какую не приживалась трава. С их верхнего этажа видны были безобразные крыши киосков почты, мороженого и бытовой химии. Прохожих там было мало, машины проезжали быстро, иногда тормозили у одного из ларьков или сворачивали в какой-то дворик. Но когда зажигались фонари, улица преображалась. Из вытянутых в форме капель чашек вниз лились потоки неяркого золотисто-жёлтого. Асфальт казался более тёмным и будто бы новым, свежим, газоны – влажными, обрезанные тополя становились диковинными деревьями, они отбрасывали на тротуары страшноватые тени, алюминий на крышах киосков мерцал, а стены дешёвых домов в волшебном свете жёлтых фонарей вдруг превращались в древние и значительные.

«О чём ты думаешь?» – тихо спросила она, зная, что он не ответит.

О чём он думает? Думает ли он о чём-нибудь? Она смотрела на нежное личико – мечтательное, с оттопыренной желобком нижней губкой – и убеждала себя и его: «Это кончится, это пройдёт. Ты понимаешь “как”, значит, ты можешь понять многое: трава – зелёная, как листья, твои глаза – синие, как небо, ты – хороший и умный, как другие дети». Она чувствовала, что ноги на полу мёрзнут – не от холода, ведь пол застелен толстым линолеумом, а оттого, что в голову лезет вопрос: «А вдруг не пройдёт, не кончится?» Но на улице как раз зажглись фонари. И она улыбнулась: «Пройдёт, конечно, пройдёт». А он вдруг сказал:

– Хочу туда.

Она встала на цыпочки, заглянула в его серьёзное личико. Он смотрел на похорошевшую улицу.

– Зачем? – спросила она.

– Идти.

– Куда?

– Туда.

– Зачем?

– Сломать те жёлтые фонари.

Она стояла, обнимая его и глядя на струящийся золотисто-жёлтый. Он потёр кулачками глазки. Её босым ногам снова стало холодно, она

пошевелила пальцами, чтобы ноги не мёрзли, взяла его на руки и понесла к кровати. Она уложила его, поцеловала в лобик, вернулась к окошку. Она долго смотрела на улицу с древними стенами домов и таинственными тенями от диковинных деревьев, потом закрыла шторы и пошла спать. «Сломаю жёлтые фонари», – звучал где-то вокруг неё тоненький голос. «Сломаю жёлтые фонари». У края кровати она тряхнула головой, отпугивая его, отгоняя, как комара, но голосок упрямо звучал где-то. Она выключила ночник и влезла под одеяло. «Сломаю жёлтые фонари». Она отвернулась к стенке: «Спасибо, Господи, за этот чудесный день». «Сломаю жёлтые фонари». «Нет, сегодня начну вспоминать сначала». Она вспомнила прожитый день, а когда добралась до вечера, до тёмной улицы за окном, до жёлтых фонарей, сон почти одолел её.

Сон окутывал её плоскими и вывернутыми бесконечностями, поворотами, ямами, коридорами, случайными словами, предметами, среди которых были и шарик для пинг-понга, и резиновый утёнок, и мухобойка, и ложка, и котёнок, и ворона на сосне, и маятник, и коляска, и санки, и бабкина крупа, и думочка. «“Сломаю” – новое слово. Как муху? Как “приборчик”? Новое слово – это хорошо. Но с этим я не усну. Новое слово – плюс, но я не могу заснуть из-за этого нового слова». Она ворочалась. Легла так, что свет от уличных фонарей прицелился ей в глаза, и сощурилась. Она крепко сомкнула веки, но жёлтая полоска осталась, и она думала теперь об этой жёлтой полоске. Мысли спутывались, но она успевала ещё выхватывать их, выравнивать, укладывать одну на другую в стопку, как укладывала по утрам выглаженные простыни. «Мне надо знать, как эти штуки устроены», – подумала она вдруг и сразу же успокоилась. Она перевернулась на бок и улыбнулась, освобождённая, будто вынувшая из глаза мошку. Сон потянул, поволок, понёс, как течение быстрой речки, но она успела повторить то, о чём нельзя позабыть завтра: «Ты вырастешь большой, как дом... Ты будешь идти по улице, ломая жёлтые фонари, а я буду чинить фонари, которые ты ломаешь».

## Дмитрий ФИЛИПPOB

Родился в 1982 году в городе Кириши Ленинградской области. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Работал педагогом-организатором, грузчиком, продавцом, подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии на территории Чеченской республики с 2006 по 2008 год.

Публиковался в литературных журналах «Знамя», «Нева», «Волга», «Север», в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия». Автор двух книг прозы: романа «Я – русский» и сборника рассказов и повестей «Три времени одиночества».

Работает в Доме молодежи «Царскосельский». Живет в Санкт-Петербурге.

## СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Май случился душным. Поля и леса высыхали, осатаневшие слепни сосали все живое и движущееся. Дворовые собаки, одурев от жары, забивались под плетень и весь день лежали, замерев в одной позе, тяжело дыша и высунув язык. Люди сдавленно матерились, работали, поливали чахлые огороды. Под вечер чуть отпустило.

Всю ночь Маша спала беспокойно, вздрагивала, шептала во сне бессвязное. Окна в доме были распахнуты, но раскаленный воздух не успевал остыть, и плотная, вязкая духота впитывалась в обветренную кожу. Потели спина и плечи, ночная рубаха намокла, широкий лоб блестел в свете жирной луны, как начищенный медный таз. Несколько раз она просыпалась, устало и машинально отирала пот мокрым полотенцем и засыпала снова, тяжело дыша, зачем-то прижимая руки к животу.

К утру духота спала, на короткий час в воздухе повеяло прохладой. И Маше приснился запах сына. Сладкий и кислый одновременно. Как цветной рафинад, вымоченный в козьем молоке. Она проснулась с этим запахом, закусила губу и заревела в подушку.

Детей Маша хотела страстно, жадно. Эта ноющая бабья тяга сверлила нутро и мешала дышать полной грудью. Она заглядывалась на деревенскую ребятню, и в такие моменты лицо ее озаряла блаженная улыбка предвиденья, предчувствия.

Родители Маши умерли в один день. Дом их стоял на краю деревни, заваливаясь в овраг. Семья жила бедно и не могла платить пастуху, поэтому за коровой глядявала Маша. Это ее и спасло, когда рухнули подгнившие перекрытия и дом сложился. Разобрав завалы, отца и мать долго не могли достать: так крепко вцепились они друг в друга перед смертью.

Гроб колотил старик Осип Давыдов, сосед и вдовец. Большой был гроб, один на двоих. Не пожелали старики разжимать пальцы. Лежали в гробу смиренные и тяжелые, страшные и пустые, высосанные до дна. Лица их затвердели. И так тяжело, не по-родному пахло от родителей, что Маша не смогла поцеловать их, глотая комок отвращения, застыдилась своих чувств и в рев заголосила.

Осип Давыдов взял девушку к себе. Расписался с ней законным браком, но притронуться по-мужски не смел. Да и сил в нем уже не было.

– Ты живи, дева, живи. И не бойся меня.

– Я не боюсь, Осип Макарович.

– Господь не зря нас скovyрнул, значит. Что-то будет...

Встала Маша легко, с какой-то сладкой разбитостью во всем теле. Умылась. Гремя ведром, вышла на улицу. Из коровника донеслось протяжное мычание – Клякса томилась от наполнившего вымя молока.

– Сейчас, сейчас, – прошептала Маша. Еще раз втянула носом воздух, но ночной запах пропал, остался в предсонье.

Днем снова свалилась жара. Работы было много: накормить скотину, прибраться по дому, приготовить обед, полить огород, натаскать воды из колодца, постирать белье.

Белье Маша стирала в речке, как и все бабы. Спустившись к плесу с полным тазом грязных рубашек, простыней и наволочек, Маша, опрокинув таз на землю, сладко потянулась и вдруг замерла от странного чувства наполненности во всем теле. Будто живительные токи побежали по венам, и не было ни жары, ни усталости – только необычайная легкость и гибкость в членах. Маша представила себя кошкой, греющейся на подоконнике, но готовой в любой момент ловко взорваться и, представив, зажмурилась в предвкушении чего-то волшебного.

– Доброго дня, красавица.

Девушка вздрогнула и обернулась. На пригорке стоял крепкий, щетинистый мужик, не местный, хитро щурился на солнце и катал соломину в углу рта.

– Доброго, – произнесла с опаской и поправила подол платья.

– Да ты не бойся, не укушу, – улыбнулся незнакомец.

– А чего мне бояться? – ответила Маша, плотнее сжимая пральник.

– Местная?

– Ну, допустим.

– Как звать?

– Как звать – свои знают, а до чужих дела нет.

– Ишь какая...

Мужик легко прыгнул с пригорка и, ловко перебирая ногами, засеменял вниз, к реке. У Маши отчего-то перехватило дыхание, но не от страха – от другого, ранее неведанного чувства.

– Меня Гаврилой звать. Будем знакомы.

Маша не спешила отвечать. Откинув пральник и уперев руки в бока, внимательно рассматривала путника, его крепкую, ладную фигуру, жесткую щетину, озорной прищур в черных как ночь глазах.

– И откуда ты взялся, Гаврила?

– Домой возвращаюсь. Нахаловку знаешь?

Маша кивнула. Нахаловка была большой деревней, километрах в тридцати от Назарьевки по дороге в райцентр. Там поселилась Маша с сестрой Елизаветой с мужем Захаром.

– Вот там и живу. То есть жил раньше.

– Раньше?

- Десять лет не был.
- Что ж так?
- Лес валил для советской власти.
- Долго.

Мужик ослабил:

- Десять лет можно на одной ноге простоять.

Только сейчас Маша заметила выцветшие чернильные рисунки на тыльных сторонах его ладоней. Гаврила перехватил ее взгляд.

- Руки мои, как книга. Свои прочтут, а чужие глаза сломают.
- Загадками говоришь.
- Какие уж тут загадки.

Он сделал шаг ей навстречу, чуть ближе допустимого, но Маша не отодвинулась. Только грудь ее стала вздыматься чаще и сладкие мурашки пробежали по позвоночнику. Будь что будет, подумала. Мужик выплюнул истрепанную соломинку, медленно протянул руку и коснулся девичьего плеча. Машу будто током ударило.

- Десять лет такой красоты не видел...

Молчала. Не могла отвести взгляда от его властных, голодных глаз.

И тогда он рванул ее к себе, сжал крепко, как целый мир сжимают. И Маша оторвалась от земли и поплыла, поплыла...

Потом лежали на песке, тяжело дыша. И был стыд, и боль, и сладость в животе. В ногах валялось нестираное белье.

Гаврила схватил Машу за руку и зашептал жарко в самое ухо:

– Ты не думай, я не просто так. Пойдем со мной. Горя знать не будешь...

- Нельзя.
- Пойдем, пойдем...
- Замужем я. Уходи.

Маша тяжело поднялась, собрала белье. Духота дня навалилась на нее, как наказание за грех. Гаврила натянул штаны, стряхнул с колен дорожную пыль.

- Как знаешь.

Постоял немного, выжидая, и стал подниматься по пригорку, к дороге. Обернулся напоследок и произнес:

- Зовут-то тебя как?

Ничего не ответила, взяла из кучи мужнину рубаху и пошла к воде.

Стыд и радость замешались в девичьей душе, дни наполнились иным содержанием: страхом, тайной, предчувствием. Маша жила как во сне, не чуя под собой ни времени, ни земли, не думая о том, что будет. Щеки ее горели от воспоминаний, а внутри тяжелела новая жизнь.

В июле Осип решил зарезать свинью. Маша вышла во двор и вдруг остановилась как вкопанная, не в силах пошевелиться. Смотрела, как муж с соседом Колькой Грымовым тянут из свинарника связанное животное, как подтягивают задние ноги к вбитому у поленницы металлическому штырю и плотно привязывают. Колька навалился на свинью всем телом, прижимая ее к земле. Свинья визжала, чуя смерть, и этот ржавый визг, заполнивший пространство, не давал Маше пошевелиться. Осип поднял длинный узкий нож и, наклонившись, точным и резким движением вогнал свинье в шею, перерезая яремную вену. Хлынула кровь.

- Чего встала! – закричал муж. – Тазик тащи...

Маша подошла на ватных ногах, ничего не соображая, и подала белый эмалированный тазик.

– И ведро давай, значит.

Кровь стекала быстро. Наполненный до краев тазик Осип сливал в ведро и снова подставлял под струю густой темной крови. Свинья дергалась все медленнее.

– Шалит, паскуда, – улыбнулся Колька. – Сейчас обосрется.

Предсмертные спазмы скрутили тело животного, и желудок опустошился. Запах дымящейся крови и испражнений пропитал воздух. У Маши закружилась голова. Девушку вырвало.

– Тю, – присвистнул Осип. – Иди в дом, неженка.

В этот день она слегла и провалялась неделю. Позывы рвоты накачивали волнами, и Маша не могла их сдерживать. По ночам ей снились тяжелые, муторные сны. Вот она рожает посреди поля, а вокруг вся деревня стоит, бабы, мужики, пацанва, смотрят, и никто не поможет, не подойдет. А потом приходят ее покойные родители и приносят поросенка. «Вот, – говорят, – это сынок твой». – «Как же так, мама?» – «Ну, что же, бывает. Ты расти его, сиську давай. А как подрастет – зарежем». – «Что ты такое говоришь? Ведь внук твой». – «Так-то оно так, но ведь не помирать с голоду из-за этого». Маша берет поросенка на руки, прикладывает к груди, а у того из шеи начинает хлестать кровь. Или снится ей Гаврила, идет по дороге в Нахаловку, а она чуть сзади, окликает его, но мужик не оборачивается. И тогда Маша начинает бежать за ним, но почему-то никак не может его догнать. Выбившись из сил, она кричит ему в спину: «Меня Машей звать, Машей!» Гаврила оборачивается, а вместо лица у него свиное рыло.

К концу лета живот у Маши начал расти. Первыми заметили деревенские бабы. Нюрка Грымова сначала долго косилась на ее живот, что-то нашептывая про себя, а потом в лоб спросила:

– Ты не брюхатая часом, мать?

– А тебе что за дело?

– Ох, ты, бог-ты, дает Макарыч... Или это не от него? Ась? – Нюрка облокотилась на забор и плотоядно облизнула губы. – Ты скажи, наше дело бабье.

Маша вырвала из грядки плотный кругляш свёклы и со всей силы запустила в соседку. Полетела земля в разные стороны.

– Ты чего, сдурела? Или правда рыльце в пушку?

– Топай давай.

– Больная...

Но слух пошел. И не спрятаться было от этого слуха. Как бы хотелось Маше провалиться сквозь землю и никогда не выбираться на свет. Тоска грызла ее изнутри. Но вместе с этим рождалось в ней и другое чувство: упоенность женским предназначением. Так росток пробивает камень и тянется к солнцу.

Настал день, когда она открылась мужу. Думала, будет мучительно стыдно, а произнесла вслух – и как гора с плеч. Стояла бесшабашная и спокойная. Глядела прямо. И эта прямота растравила мужика, озлила. Осип Давыдов ударил хлестко, без замаха. Маша отлетела к печи, бухнулась на пол, как куль с мукой. Осип отвернулся и, не глядя на жену, выплюнул:

– Пошла вон, потаскуха. Чтоб духу твоего здесь не было.

Больше он ей ничего не сказал.

Маша собрала вещи и отправилась в Нахаловку, к сестре.

Засветло она дойти не успела и заночевала в поле, у дороги. Поужинала хлебом и огурцом и, положив сумку под голову, зарылась в луговую

траву, укуталась полынью и растворилась в душистом травяном запахе. Зажглись звезды над головой, яркие, сочные. Маша глядела в ночное небо, а душа наполнялась покоем и благодатью. Будущего не существовало, а настоящее было внятным и верным. Ночь звучала трескотней цикад. Тянула болью распухая от удара щека. Но все это было неважным по сравнению с новой жизнью, зреющей у нее в животе. И в этот момент ребенок пошевелился. Маша замерла, прислушиваясь к самой себе, к ощущениям и вдруг улыбнулась: небу, цикадам, полю. Рыбка в животе проплыла.

Лизавета работала в огороде. Маша вошла во двор, окликнула ее. Та поднялась, тяжело и охая, вытирая потный лоб тыльной стороной ладони, так что грязные разводы от земли бороздами прочертили кожу. Лизавета с минуту смотрела на сестру и вдруг звонко расхохоталась.

– Чудны дела твои, Господи! Ты-то когда успела?

– Успела.

Только тут Маша заметила крупный, выпирающий живот сестры.

– А я-то тоже... вот-вот рожу, – продолжала сквозь смех говорить Лизавета. – Тут столько всего, Машка, столько всего... Давай проходи. Какими судьбами? Откуда? Почему одна?

Маша подошла к сестре и расплакалась.

– Эй, ты чего? Ну, будя, будя.

Лизавета с улыбкой погладила Машу по щеке и вдруг скривилась от боли, ойкнула и вцепилась сестре в плечо.

– Что такое? – испуганно спросила Маша.

– Ничего-ничего, толкается, родненький... Сейчас пройдет, давай в дом.

В сенях Лизавета прижала Машу к стене и зашептала в самое ухо:

– Захара увидишь – молчи. Он как узнал, что я на сносях, замер как закопанный, а потом затрясся весь, зашипел, пена изо рта пошла. Приступ, значит, падучая у него открылась. Пока люди сбежались, пока подняли, скрутили – язык себе то ли прикусил, то ли внутрь пропихнул, а вытащить не смог... Короче, чуть не задохнулся. Язык ему вытащили наружу, а он его ну кусать, до крови... Страсть что было. Потом побился, побился и затих. Два дня в горячке провалялся. А как очнулся – речь отнялась. Ни слова теперь сказать не может, только мычит все время.

– А ты... – начала Маша о главном, но сбилась. – От Захара ребенок?

– Конечно, от кого же еще.

Тишина пролезла в разговор.

– Ох, – поняла Лизавета. – А Осип знает?

– Знает.

– Пойдем в дом. Все потом, потом.

Захар вернулся вечером с работы, на приветствие Маши не ответил, и вообще как будто не заметил девушки. Как и сказала сестра, он все время молчал, лишь изредка, когда обращался к жене, прорывалось сдавленное мычание, как у юродивого. И глаза в этот момент делались жалостными, коровьими.

Через неделю Лизавета родила. С утра начались схватки, и Захар позвал бабушку-повитуху.

Лизавета громко кричала в дальней комнате: то тонко стонала, как русалка, то рычала по-звериному, звала маму, выла. Маша сидела за столом в большой комнате и комкала скатерть дрожащими руками. Ей было страшно. Неужели совсем скоро и она, такая живая, такая цель-

ная будет вот так корчиться и всем нутром рваться к небу?.. И длилось это часами. Бабка иногда выходила, набирала ковш парящего кипятка из ведра и снова уходила к Лизавете, плотно прикрыв за собой дверь. А Маше казалось, пока дверь открыта вот эти короткие секунды – все будет хорошо, ничего страшного не случится. Она заглядывала в проем двери и вымученно улыбалась сестре, но та не видела ее, никого не видела. Но как только бабка возвращалась и цыкала на нее и закрывала дверь – снова падал из горла в живот этот сосущий ужас.

Захар пил. Он снял с комода тяжелый гипсовый бюст Ленина, поставил на стол и осторожно чокался с вождем. Медленно наливал водку в стакан, до краев наливал, и так же медленно, вытянув губы вперед, втягивал алкоголь в себя. Гулко ходил вверх-вниз пшеничный небритый кадык. Потом он ставил стакан на стол, занюхивал куском черного хлеба и выдыхал сквозь зубы сивушное послевкусие. Гладил Ленина по лысине мозолистой ладонью. Волос на мужицкой голове был мягким, редким, не волос даже, а так, лебяжий пушок. Путался и топорщился. После выпитого Захар приглаживал его нетвердой рукой. Потом долго сидел молча, глядя прямо перед собой, буравя взглядом гипсовые очи вождя всех народов. Словно пытался вырвать у камня самый важный ответ. Но камень молчал. От этого молчания Захар темнел лицом и плотно сжимал зубы. И дрожала жилка на левой щеке.

Несколько раз приходили Захаровы старики, мать и отец. Топтались у порога, слушали крики невестки в соседней комнате и, помявшись, не сказав ни слова, уходили.

Что-то было не так. Чувство страшного и непоправимого песком набилось в рот. А потом наступила ночь.

Лизавета уже не кричала – ритмично хрипела сквозь зубы. Посеревший и страшный сидел Захар. Руки его дрожали. Лунный свет подсвечивал гипсовую лысину Ленина.

Вышла бабка.

– Худо все. Младенчик поперек идет, пуповину на себя намотал. Молитесь.

Снова набрала кипятку и ушла.

А Маша прислушалась к себе, и вдруг поняла, что страх ушел. Она знала, что делать.

Открыла дверь и вошла. Лизавета лежала на кровати, овальным яйцом горбилась живот. Недобро зыркнула бабка.

– Уйди.

– Отдохни, бабушка.

– Что?

– Отдохни, я сказала.

Голос был спокойным и твердым, и бабка, не перечая, встала и проскользнула к двери.

– Сами нонче в ответе, – прошамкала напоследок.

Маша присела на край кровати, погладила сестру по вспотевшему, вымученному лицу. Та слабо повернула голову. Узнала, но улыбнуться не было сил. Лицо уже наполовину ушло в землю, откуда нет возврата.

– Все будет хорошо, милая. Теперь все будет хорошо.

Приложила губы к вздувшемуся, с синими прожилками вен животу. Ощутила тяжелой солоноватый вкус. И начала зацеловывать сестрин живот, нежно и аккуратно, чуть касаясь, щекоча губами.

– Помнишь, ты с Генкой на речке миловалась, а я подглядывала за вами, а потом мамке все рассказала, а та тебя мокрой тряпкой по двору

гоняла, а я сидела на завалинке и хохотала, дуреха, а ты потом на меня долго обиду таила, не разговаривала, а я потом Генке записки от тебя носила, а он приходил под окна и на гармони наигрывал, а потом война началась, и Генка на фронт ушел, а ты ждала, а он вернулся без ноги и с какой-то девкой, стали жить, а ты плакала по ночам, сохла по нему, а я залезала к тебе под одеяло и мы лежали так, обнявшись, всю ночь, до рассвета... – не говорила – заговаривала Маша, зашептывала, заколдовывала страшный, натянувшийся живот. И этот шепот пробуждал древние, спящие в природе силы, выманивал их из бани, из чердака, из леса, из полей. И силы, вынырнув из вековой дремоты, слетались к дому и кружили, кружили вокруг...

Начал толкаться ребенок в животе. Лизавета вновь закричала, но уже другим, обновленным голосом, выцарапывая саму себя из ямы, а Маша, сама проваливаясь в какую-то дрему, вдруг сжала сестрин живот двумя руками, направляя плод, подталкивая. Давила, и сама не ведала, откуда проснулось в ней это знание. Показалась головка ребенка. Лизавета вцепилась кривыми пальцами в простынь и вдруг посмотрела в глаза сестре долгим, ошарашенным взглядом. И было в нем и удивление, и надежда, и благодарность. И любовь.

– Тужься, родненькая, тужься, последний разок...

Заскочила бабка в комнату, всплеснула руками.

И тогда Лизавета заорала из последних сил, как орут идущие грудью на пулеметы, и младенец вышел из нее на свет, таща за собой склизкую пуповину. Бабка ловко приняла его, щелкнули ножницы, а Лиза, освобожденная, заревела от счастья, от того что осталась живой.

Не выдержав, забежал Захар. Пьяным, мучительным взглядом смотрел на жену. Колдовала бабка с ребенком, шлепала его, вертела, но мальчик молчал. И все видели, что это мальчик, Лиза видела, закусив губу. И ждали, ждали...

Вдруг Захар замычал:

– В-в-в-вы-ы-ы-ы... А-а-в-в-в-в-а-а-а... В-в-в-а-а-а-н-н-я-я-я-а-а... Ва-а-ня... В-а-а-а-н-я-а-а-а!!

И сын заплакал нестерпимым, режущим первым плачем.

Маша легла на сестру поперек живота, вытянула руки и устало закрыла глаза. Хотелось спать.

Гостила она у Лизаветы три месяца, до середины ноября. Уже осенняя хлябь застывала по ночам, земля превращалась в холодный пластик. Выпал первый снег. Машин живот округлился, налился соком, сама она раздобрела, отяжелели руки, опухло лицо, а на лбу высыпали гречишным зерном нарывистые прыщи.

Как-то раз в начале осени увидела Маша Гаврилу. Пошла с Лизаветой на базар и на краю его, за овощными рядами услышала знакомый голос.

– Рыба! Накося – выкуси!

Он сидел с мужиками за длинным столом и играл в домино. Вокруг толпилась ребятня. На краю стола стояли бутылки, стаканы и нехитрая закуска на засаленной газете: хлеб, картошка, лепестки лука. Гаврила был все тот же: кепка, щетина с проседью, спичка в углу рта. Только глаза большие и поплывшие, как у загнанного зверя. Он обернулся, скользнул по Маше глазами, но не узнал ее.

– Ты чего, – спросила Лизавета. – Лешего увидела?

– Почти.

– Пойдем, Ванька скоро проснется.

Они уходили прочь, и вдруг звонко, с разухабистой удалью пропел Гаврила им вслед:

– Горе-баба: дала коню – и конь сдох...

Маша не обернулась.

В конце ноября ранним морозным утром около дома остановилась старенькая полуторка. Из машины выпрыгнул Осип Давыдов и, закулив папиросу, спокойным, уверенным шагом направился к дому.

– Собирайся, – сказал он Маше. – Погостила, и будет. Домой пора.

Так Маша вернулась домой.

Муж ее поменялся за три месяца. Стал спокойнее, яснее. Так после причастия люди изнутри светятся. Ни разу он не попрекнул жену. Только по возвращению случился у них разговор.

– Ты ушла, а меня тоска за грудки схватила. Недели две маялся, потом в лес по грибы пошел. Царь-гриб нашел, огромный, шляпа – в мой обхват. А рядом с ним на полянке с десятков малышей. Жмутся, значит, к родителю. Я белый-то сорвал, а малышей не стал трогать. Думаю, пусть подрастут, через пару дней загляну. А потом прихожу – нет грибов. И следов никаких. Думал, померещилось, так ведь царь-гриб есть, три банки закатал. Что это было? До сих пор не пойму.

Маша слушала, потупив взор, не перебивала. А Осип продолжал:

– Но вот тогда и стало мне ясно, что не виноватая ты. Никто не виноват. Я старик, а молодость... Ее в тисках не удержишь. Травинка – и та камень бьет. А тут, значит, человек живой. Со своим представлением.

Осип замолчал, проглатывая главные слова, но они уже рвались из груди, не удержав.

– Что ударил тебя – не жалею. Заслужила. Но боле бить не буду. Ребенку имя свое дам, моим будет. Но и ты не гуляй. Как помру – живи своим умом, а пока, значит, моим умом жить будем.

– Люди шептать начнут... – еле слышно проговорила Маша.

– Пуцай болтают. Собака лает – ветер носит.

– Прости меня, Осип Макарович.

– Пустое. Так и решим, значит.

Деревня безмолвствовала. Маше казалось, что все смотрят на нее, смеются и шепчутся за глаза. Но люди посудачили и забыли.

В феврале объявили всесоюзную перепись. Надо было ехать в Житниц – райцентр в пятидесяти километрах.

Добирались на рейсовом автобусе. Новый ЗИС ходил по маршруту один раз в день. В Назарьевку он приезжал к восьми часам вечера.

В тот день ударили морозы, и с обеда началась метель. Осип с Машей вышли на дорогу и стали ждать. Автобус опаздывал на час. От ветра было не спрятаться. Он бил со всех сторон, замечая ледяную крошку под шапку, под воротник.

– Уйдем, – просила Маша.

– Надо ехать.

И они ждали. Маша перестала чувствовать пальцы ног. Осип подпрыгивал, стараясь согреться. Наконец из-за поворота моргнули два желтых зрачка, и красно-желтый автобус, похожий на булку хлеба, натужно тарахтя двигателем, остановился. Маша с трудом ступила на высокую подножку, придерживая огромный, выпирающий живот.

В салоне было ненамного теплее, чем снаружи, пахло бензином и выхлопными газами. Автобус был почти пустой – два мужика клевали носом на задних сидениях. Сильно трясло на ухабах.

В Житнице их ждали друзья Осипа. Все должны были сделать одним днем и сразу уехать домой.

Маша прислонилась лбом к замерзшему стеклу. За окном ревела мгла. Почему-то подумала о Гавриле, где он сейчас?

Через час что-то застучало под днищем и автобус, кряхтя и постанывая, замедлил ход, а через минуту и вовсе остановился. Зло матерясь, из кабины вышел водитель и нырнул в ночную мглу, мигая фонариком. Мужики на задних сидениях озабоченно оборачивались, глядя в овальные окна, пытаясь угадать, с чем колдует водитель. Из раскрытой двери потянуло холодом.

Наконец, водитель вернулся в салон. Сел в кресло и не спеша закурил вонючую папиросу.

– Все, приехали.

– Что случилось-то? – спросил один из мужиков.

– Генератор накрылся.

– И что? Ты по-русски скажи, мы поедем?

– Все, говорю, приехали.

После этих слов что-то треснуло у Маши в животе, как будто бельевая веревка лопнула, и полились теплые воды.

– Ой, мамочки...

Лицо стало кривым и испуганным.

– Мама, мамочка...

– Эй-эй, ты чего? – испугался Осип, стал трясти ее за плечи. – Ты погоди, погоди...

Мужики молчали, оценивая ситуацию. Водитель продолжал курить, глубоко затягиваясь, не отрывая взгляда от испуганного девичьего лица.

– Я мокрая, – удивленно произнесла Маша.

Водитель щелчком выбросил окурок в ночь и сплюнул под ноги. Тоненькая струйка пара поднялась от слюны.

– Идти надо. Километров семь осталось.

Мужики не двигались. Глядели на Машу.

– А дойдем? – спросил Осип.

– Куда мы на хрен денемся.

Он грубо улыбнулся: не губами, а всем скуластым трудовым лицом, и добавил, обращаясь к Маше:

– А ты терпи, краля. Как хочешь, терпи. Хоть обратно запихивай.

Пятеро вышли в ночь, четверо мужчин и одна женщина. Водитель шел впереди, освещая тусклым фонариком заметенную дорогу. Сухо скрипел снег под ногами. Свистела метель. Пятеро шли сквозь мглу, и только свет фонаря был для них путеводной звездой, хрупкой ниточкой между жизнью и смертью.

Шли медленно, Маша опиралась одной рукой на плечо мужа, другой поддерживала дрожащий живот. Страх не было. Надо было идти, и она шла.

Страх пришел позже, когда что-то стремительно сжалось и разжалось внизу живота. Она охнула, остановилась.

– Что?

– Не знаю...

И снова, сжалось и разжалось, и еще раз, и еще... Маша заплакала.

– Не могу больше...

Подожел водитель, мигая фонариком, осветил ей в лицо.

– Не надо...

И тогда он ожег фонариком себя и заговорил, перекивая вьюгу:

– Слушай меня, баба. Я – Саня Мелихов. Я три раза в атаку ходил, два раза был ранен. Под лопаткой осколок сидит. У меня две звездочки на груди – не за хрен собачий. Я тебя вытащу.

Лицо у него было худое, вытянутое. Черный трюх надвинут на затылок. Глубоко впавшие синие глаза глядели твердо и горячо. Тонкие губы плотно сжаты. Шрамик на левой щеке. Борозды морщин. Маша поверила этому человеку. Сказала только:

– Я идти не могу. Схватывает...

– Решим... Эй, братва, – окликнул он мужиков. – Давай-ка, взяли, за руки, за ноги.

Никто не посмел перечить.

Так и шли. Маша обнимала плечи мужа и Сани Мелихова; двое других обхватили ее за колени, упирая свободную руку в мягкий женский зад. Несли сквозь вьюгу и темноту. И лишь тускнеющий свет фонаря освещал дорогу.

Воды выходили по чуть-чуть, на блюде молока для кошки. Во время ходьбы Маша не чувствовала холода, но когда ее понесли – железная стылость схватила и больше не отпускала; она чувствовала как замерзает намокшее белье. Еще она чувствовала, как устают руки мужчин, наполняются ватой и дрожат, как все чаще подбрасывают ее ноги, чтобы перехватиться поудобнее. Схватки пошли чаще и больнее.

Мужчины шли молча, не тратя сил на пустой треп. А Маша глубоко дышала ртом, постанывала. И вдруг она поняла, что умрет этой ночью. Не будет города, не будет ребенка. Она просто замерзнет в этой мгле. И как только она это поняла, как только почувствовала кожей и кровью неотвратимое, – ребенок дернулся и пошел.

– Мамочки... мамочки...

Все поняли.

– Ходу, мужики, – выплюнул водитель. – Ходу, с гульки хрен осталась...

И они побежали маленькими шажками, матерясь сквозь зубы.

Фонарь тускнел на глазах. Мелкий снег набивался в рот, уши, глаза. И когда казалось, что все бесполезно, что нужно бросить эту бабу посреди дороги и спасаться самим, – мелькнул огонек. А когда совсем выбежали за поворот – огонек засветил ярко и надежно, как звезда.

Темп не сбавили, слов не говорили. Берегли дыхание. Но у каждого потеплело на сердце.

Это был колхоз. В нос ударил запах замерзшего навоза. Светилось окно в сторожке.

Саня Мелихов забарабанил кулаками в дверь.

– Открывай... Открывай, сукин сын...

– Кто такие? – раздался за дверью старческий голос.

– Люди. Баба у нас рождает...

– Так вам в город надо.

– Она на крыльце сейчас родит. Сука ты, открой!

И вдогонку взмолился:

– Ну, открой же, отец! Ну...

Маша застонала. А потом звякнула щеколда после долгой – в вечность – паузы. На пороге стоял заспанный дед.

Этот миг застыл в морозном вьюжном воздухе. Дед в сторожке. Со спины бьет свет электрической лампочки. Маша закусывает губу. Возпревшие мужики глядят с ненавистью.

– Сюда несите, – дед показывает на обтянутый мешковиной матрац на полу. – Кровати нет. Не положена.

Машу аккуратно кладут и отходят на пол шага назад. Руки вдруг становятся легкими и воздушными.

– Кипяток нужен, – говорит водитель.

– Сделаем.

Сторож ставит на раскаленную буржуйку ведро воды.

Пахнет скотиной от всех углов.

Маша не может говорить, смотрит затравленно по сторонам. Пытается поймать взгляд мужа, но Осип отводит глаза. Не верит, что все закончится благополучно. И тогда Саня Мелихов опускается перед ней на колени, задирает юбку и стаскивает намокшие, отяжелевшие рейтузы. Рвет нижнее белье.

– Ну-ка, отвернулись все, – рычит.

Все послушно отворачиваются, только Осип стоит и смотрит как замороженный, не в силах пошевелиться.

Кипяток греется долго. В это время Маша кричит, тужится. Ребенок постепенно выходит на свет. Сторож достает из тумбочки ополовиненную бутылку самогона, протягивает Мелихову. Тот щедро ополаскивает руки. Разливается сладкий сивушный запах.

Ребенок выходит медленно. Показывается сморщенная головка.

Маша кричит, ее крик рвет тесное пространство сторожки, устремляется в ночь, в непроглядную тьму. Мужики стоят и смотрят. Дергается веко у Осипа. Мелихов бережно принимает головку ребенка просамогоненными руками.

Время и не застыло, и не замерло – завязло в крике, в свете запыленной лампочки, в молчании мужчин. Прошмыгнула мышь под столом.

Маша рвется от крика, грудь ее раскалывает булькающий воздух. Больно. Невыносимо больно. Словно весь белый свет болит у нее в животе.

И вдруг всем становится понятно, что все будет хорошо. С Машей, с ребенком, с миром. Мелихов произносит:

– Ножницы. Или нож. Накалите.

Дед роется в тумбочке и достает огромные ножницы. Вымя коровам резали. Кладет на буржуйку. Через минут ножницы краснеют на концах.

Младенец лежит у Мелихова на ладони, по-тараканьи шевелятся пальчики. Слизь. Кровь. Маша облегченно дышит.

– Режь, – говорит Мелихов Осипу.

Тот в полусне берет ножницы, но обжигается, одергивает руку. И тогда сторож протягивает засаленное полотенце. Осип зажимает полотенцем кольца ножниц и перерезает пуповину. Шипит кровь. Маша вновь кричит, а потом начинает смеяться. Ее не остановить, она хохочет, заливается. Мелихов держит младенца и тоже начинает похохотывать. И уже все хохочут, трясутся от смеха.

Младенец не кричит. Только открывает рот, ищет маму. И Маша протягивает к нему руки. Мелихов передает ребенка матери, и все видят, что это мальчик.

– Можно и покурить, – говорит Мелихов.

Мужчины выходят на улицу.

Тишина.

Стихла метель.

Закуривают. Трещит табак в морозном воздухе.

– Спасибо, – говорит Осип Давыдов.

– Спасибо не булькает, – отвечает Саня Мелихов и улыбается.

– За мной не заржавеет.

– Чудо сегодня случилось. А раз чудо – держи!

Он снимает с запястья часы и протягивает Осипу.

– Пацану отдашь, когда вырастет. Немецкие. Трофейные. Я – Саня Мелихов.

Один из попутчиков лезет за пазуху, достает коробочку, протягивает:

– «Шипр». Раз такое дело... Андрюха меня зовут.

Последний снимает золотую цепочку с шеи и без слов протягивает Осипу.

– Я же... Я... Этот ребенок...

Осип давится словами. Сглатывает. В руках подарки.

– Иди к жене, к сыну, – улыбается Мелихов.

– Да, пойду, пойду.

– Иди.

Осип заходит в сторожку, аккуратно прикрывает за собой дверь.

Три волхва курят морозной ночью.

Смерти больше нет.

## Соня АЛЕКСАНДРОВА

Родилась в 1997 году в Воркуте. С 2004 года живет в Нижнем Новгороде. Публиковалась в журнале «Светлояр русской словесности», журнале филологического факультета Нижегородского госуниверситета, альманахах «Слово», «Полдень», в других региональных изданиях. Дипломант III Слёта молодых литераторов России в Большом Болдине (2016).

## ПРЕКРАСНЫЕ РЕПЕЙНИКИ

Знаете, что я думаю? Думаю, маленьким девочкам не стоит ходить (а также ездить, летать и плавать) в гости к придуманным дядям. Во-все не потому, что это может плохо кончиться. Не все дяди одинаково опасны!

Хотя Они говорят – ужас как «опасны». Они вообще много чего говорят. Говорят принимать таблетки, говорят, что Им хочется, чтобы я поскорее выздоровела (а разве я чем-то больна?!). Говорят, что мне нужно, просто необходимо написать про свое детство и про этого дядю в дневнике (а потом Они прочитают и скажут, что я это все придумала).

Так вот, маленьким девочкам не стоит ходить в гости к придуманным дядям хотя бы потому, что потом их (девочек, а не дядей, конечно!) заставят вести дурацкий дневник. А это печально, особенно если не умеешь писать.

Ничего. Я быстро научилась.

Когда-нибудь у меня хватит смелости рассказать о том, что придуманный дядя (а его звали Эдуард) и его золотая рыбка (я пока ещё не придумала ей имя) хотели бы сохранить в тайне.

Но лучше начать сначала. Семнадцатого ноября (а это был я-пока-не-знаю-чей День Рождения) я придумала себе котенка, он меня поцарапал, а потом убежал. Когда я пришла домой за лентой – хотела за-лен-то-вать (это слово я тоже придумала) царапину, Они спросили меня, откуда взялась кровь на моей руке. Я Им все рассказала, Они, как всегда, не поверили...

Помню еще, как придумывала человечков из желтой и на редкость невкусной каши. Одинаковых не было (точно!), но они так походили друг на друга – только я могла различать их и запоминать все имена, фамилии, звания...

Если человечкам становилось скучно, они собирались вместе и устраивали войну. Когда война заканчивалась, считали убитых и раненых.

Раненых лечили, а убитых сбрасывали обратно в тарелку.

Но я не хотела, чтобы отважные воины становились кашей, придумывала новых человечков, злилась, когда они опять устраивали войну...

Когда Они приходили посмотреть, съела ли я кашу, человечки прятались – кто куда. Самые маленькие залезали в карман моего передника. Целая армия пряталась за горшком, в котором медленно умирал фикус. Некоторые не успевали добежать до укрытия и рассыпались на мягкие комочки каши прямо на полу.

В общем, когда Они приходили посмотреть, покушала ли я, вся кухня была в каше.

Надо ли говорить, что каждый раз меня ругали и заставляли убираться?

Когда я была маленькой, я ненавидела детей из обычного (настоящего, поэтому неинтересного) дома, который всегда торчал где-то поблизости, улыбаясь во все тридцать два балкона (не знаю, почему их было, например, не сорок?). Дети ходили в школу с разноцветными портфелями. На портфелях были рисунки. Мальчики предпочитали машинкам футболистов, девочки – цветочки бабочкам, а я...

У меня не было портфеля, и я ненавидела их всех.

Придумывала, как девочки станут проститутками и им придется постоянно снижать цены ввиду отсутствия спроса, а мальчики, которые вроде и должны создавать спрос, будут тратить деньги родственников и друзей на «сиги», «яжку» и «пивас», при этом ещё умудряясь оставаться в долгу у наркокурьеров.

Потом поняла, что морального удовлетворения от созерцания будущих проституток и наркоманов не получу.

Но мне было очень скучно, и тогда я решила придумать дядю Эдуарда. Я плохо запоминаю имена, поэтому мне пришлось звать дядю Эдиком-Медведиком, что его жутко злило. Поэтому Эдик-Медведик вскоре превратился в величественного Эдуарда-Леопарда.

Когда Эдуард понял, что на детской площадке среди «этих отбросов» нам делать нечего, он как настоящий джентльмен пригласил меня выпить чашечку кофе у него в гостях.

А вот о том, что произошло дальше, никто никогда не узнает, потому что «свидетели и участники заинтересованы в неразглашении...» и так далее.

Зато я могу рассказать, как добиралась оттуда домой. Пока мы пили кофе, выяснилось, что Эдуард живет в городе, у которого есть куча заводских труб, торчащих во все стороны, как иголки ёжика, но нет названия. И это место жутко далеко от моей кровати.

Я придумала дорогу.

Встала у обочины, подняла вверх согнутый, как крючок, палец и стала ловить машину.

Тогда я выглядела странно – пышное розовое платье, подаренное Эдуардом, оставалось розовым только выше пояса, а ниже оно было в грязи, перьях, машинном масле и вообще неизвестно в чём. Наверное, это вызывало жалость. Или отвращение.

Сразу же рядом остановился большой грузовик. Дверь открылась, и оттуда выглянул бородатый мужчина. У меня в кармане было слово,

и слово было «Авынедовезетеменядодома?» Я показала это слово мужчине, и он разрешил мне залезть в кабину. Мы поехали, всю дорогу водитель пытался узнать, куда конкретно меня везти.

Я стеснялась рассказать ему, где я живу, но надеялась, что куда-нибудь он непременно меня привезёт. Мы остановились у большого белого здания. Оно мне понравилось, и я обрадовалась, что буду здесь жить.

Теперь у меня есть своя маленькая комната с мягкими стенами и кровать без матраса.

И больше ничего нет.

Здорово, правда?

Постоянно забываю что-нибудь важное! Забыла рассказать, кто Они на самом деле!

Их трое. Я не знаю, есть ли у них имена, поэтому придумала сама – Мокрая Швабра, Длинные Брюки и Белые Туфли. А ещё я не уверена, что Они существуют выше колен. Нет, это просто я боюсь поднимать глаза.

Когда приходит Мокрая Швабра, я сижу на своей кровати без матраса и рассматриваю пол. Пол очень красивый! На нём много разных пылинков, пятнышек, трещинок... Иногда в трещинке прячется какой-нибудь жучок или паучок.

Швабра просит меня поднять ноги, и я подчиняюсь. Через пару минут Она уходит, хлопая дверью, и я понимаю, что всё кончено.

Аккуратно опускаю ноги на мокрый пол. Как же он уродлив! Как отвратительно блестит!

Цокают по абсолютно стерильному полу Белые Туфли. Чаще всего их обладательница проходит мимо. Но Туфли все равно внушают страх.

Длинные Брюки – врач. Противный!

Коротышка, но штанины не подворачивает. А может, специально покупает длинные.

Появляется именно тогда, когда мне меньше всего хочется его видеть, начинает задавать идиотские вопросы своим писклявым голосом, заставляет есть невкусные таблетки.

Точно! Все из-за него. Это он запретил мне придумывать.

До чего не люблю, когда мне что-то запрещают!

Врач Длинные Брюки виноват в том, что я:

1. Вместо невкусных таблеток придумала вкусные. Квадратные. Разноцветные. С экстрактом дельфина. (Врач, пытаясь понять, откуда я беру вкусные таблетки, заглядывал под кровать, в карманы моего придуманного халата и туда... Туда, куда обычно посылают.)

2. Ела вкусные таблетки, а невкусными плевалась.

3. Придумывала птиц, а потом отпускала.

4. Прячала придуманных слонов под кроватью без матраса.

5. Написала записку: «патамушта Вы мне надаели».

6. Придумала дверь на потолке и ушла через неё.

За дверью была дорога. Мимо проносились автомобили. Я махала руками, плакала, кричала, что хочу домой, показывала неприличные знаки в зеркала заднего вида, корчила рожицы водителям, ругалась, хрипла, плевала в лобовые стекла – все зря. Никто так и не остановился.

Я была босиком. Ноги мёрзли, а придумать обувь не получалось.

Отчаявшись, бросилась под колеса. Грузовик закричал, зажмурил глаза (столкновения не последовало), осторожно посмотрел вокруг и с облегчением выдохнул, когда понял, что остановился в метре от меня.

Дверь открылась, приглашая войти.

Кто-то на небе улыбнулся и вынес приговор: «пожизненное приключение».

Вот так начались мои скитания.

От машины к машине, от человека к человеку.

Зачем-то пила пиво с дальнбойщиками в придорожных забе-галовках.

Зачем-то начала принимать наркотики (тоже вкусные такие таблетки, но не придуманные).

Зачем-то платила поцелуями (и не только) за километры пути. А иногда просто так, бесплатно, целовала чьи-то (неважно) мокрые от пота, пахнущие куревом, липкие губы.

Зачем-то (может, за компанию?) ездила туда, куда совершенно не хотелось. А куда хотелось, не знала.

Так было до тех пор, пока красивый мальчик на новеньком блестящем автомобиле не пригласил замуж. Согласилась.

Ночевала дома. Готовила еду. Родила дочь.

Это было неинтересно.

Потом придумала чужого мужа. Это был человек, которому я не боялась смотреть в глаза. – Задумавшись, я замолчала.

– А дальше? – спросила маленькая зелёная девочка, моя дочь. Её чудесные глаза (они были зелёными, как и всё остальное) тоже не будили во мне того древнего страха, который испытывает животное, поймав человеческий взгляд.

А дальше...

Ночью мне не спалось, милая моя Зеленоглазая девочка. Я пошла на кухню заварить чай, а по дороге придумала чужого мужа.

Ему, наверное, тоже не хотелось спать.

Я спросила, как его зовут.

Оказалось, его жена была ленива настолько, что даже не придумала имени собственному супругу.

Чужой муж заплакал, и мне пришлось поить его горячим чаем, а потом вместе мы стали придумывать ему имя.

Я знаю много имен. И они все произносятся так, что во рту становится сладко. Но я знаю еще одно имя, и оно пахнет полынью. И это имя – Свет.

Свет.

Он наклонился, чтобы поцеловать меня, но тут я услышала чьи-то шаги.

За секунду до того, как на кухню вошел мой собственный муж, Свет исчез, и мы остались в полной темноте.

– С кем ты разговаривала? – спросил муж.

– Со Светом.

– Ненормальная, – он покрутил пальцем у виска и пошел спать.

Вот так закончилась эта сказка, Зеленоглазая.

Нет.

Во-первых, это не сказка. А во-вторых, ещё рано. Ещё не конец.

Видимо, я слишком ненормальная для того, чтобы мирно сидеть (а может, сесть) дома.

Я снова придумала дорогу.

Но теперь я точно знаю, куда я еду, зачем, почему, и – наизусть – ответы на тысячу похожих вопросов.

Куда: куда-нибудь.

Зачем: чтобы любить.

Почему: потому что кому-то обязательно нужно, чтобы его любили.

Мне теперь ничего не страшно.

Кого встречу – обнимаю.

Хожу босиком, в чудесно пахнущей рубашке огромного размера и восхитительно дырявых мужских трусах.

Я очень люблю людей, а дальнобойщиков и поэтов – особенно.

У меня всё хорошо.

Дневник больше не нужен, спасибо.

Сейчас я выброшу его в канаву с прекрасными репейниками и дивной грязью.

Но перед этим напишу одно слово.

Это слово и будет – «конец».

## Елена ТУЛУШЕВА

Родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической психологии и Институт психоанализа. Работала во Франции и США. Сейчас старший медицинский психолог в Центре по работе с подростками, страдающими наркозависимостью.

Публиковалась во многих литературных журналах России, Беларуси и Казахстана. Лауреат V Славянского литературного форума «Золотой Витязь».

Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

## ОДИННАДЦАТЬ ПЛАТЬЕВ

Рая провернула ключом, и дверцы старого дубового шкафа, слегка хрустнув от ветхости, отворились.

– Ты мой хороший. Что, разохся совсем? Э-эх, моложе меня, а вон как кряхтишь – не стыдно? Сейчас мы тебя проветрим, протрём и смажем. Ты ещё поживешь, мой дорогой, послужишь. Вон какой гладкий, – она ласково провела рукой по прохладной полированной поверхности.

Из шкафа пахло мандариновыми корочками, разложенными с осени от моли. Каждый год 31 декабря Рая разбирала весь шкаф, тщательно перетряхивая белье, протирая каждую полку и вешалку, просматривая каждую вещь на предмет дырочек. Так делали ее бабушка и мама. Так могли бы делать ее дети.

Прямо перед ней рядом висели, отгороженные от других, несколько платьев. Когда отцу дали эту квартиру, Рае было двенадцать лет. Они переехали в ноябре, в середине учебного года. У неё не получалось привыкнуть к новой школе, друзей не нашлось, а из-за высокого роста ей всё время хотелось куда-нибудь спрятаться. Родные понимали, как Рае тяжело, но отложить переезд было нельзя, а ездить на другой конец города в старую школу оказалось слишком долго. Как-то под Новый год, увидев в очередной раз её слезы, отец открыл шифоньер и достал большой сверток в грубой серой бумаге, перевязанный бечёвкой:

– Держи, Раечка. Это тебе для поднятия боевого духа!

Отец и раньше старался побаловать её, как младшую, но подарок такого размера бывал только на день рождения! Она с предвкушением развязала бантик и развернула бумагу: новенькое бирюзовое шифоновое платье пахло счастьем. От восторга она не могла вымолвить ни слова. Такой красоты не было не только в мамином гардеробе, но и вообще не встречалось ни у кого из ее знакомых! Рая бросилась целовать отца.

На радостный визг из кухни пришла мама и с деланной сердитостью заворчала:

– Ты посмотри на него: не мог подождать две недели до праздника!

Рая танцевала в обнимку с платьем. Плиссированная юбочка кружилась каруселью. Ощущение волшебства переполняло до слёз.

– Надевай, Раечка, конечно, надевай! – улыбнулась мама. – Когда ещё отец такую красоту достать сможет.

– Вот они, женщины! Только одно платье подарил, так они уже о новом рассуждают!

– Да что ты, папулечка! Ты можешь мне долго-долго ничего не покупать! Спасибо тебе, преспасибо!!

– Долго-долго – это, конечно, хорошо, но не обязательно. Руки-ноги есть, а трудящемуся человеку в нашей стране всегда работа найдется. Будут тебе ещё платья!

– Ну-ну, наобещаешь еще дочери! А у нас из мебели один шифоньер!

– Вот и наш казначей вмешался! – папа с улыбкой приобнял мать. – Я и не говорю, что каждый год. Всё купим, всё будет. А раз в пятилетку я обещаю моей дочери самое красивое платье. Уж если они там на всю страну могут планировать, то на своих девочек и я смогу.

Платья действительно хватило на «долго-долго». Оно было длиннее на целую ладонь, брали на вырост. Мама заботливо подшила подол и каждый год отпускала по два сантиметра. Рая надевала платье только на самые важные праздники, и каждый раз все спрашивали родителей, где достали они своей дочке такую красоту.

Вслед за первым бирюзовым, Рая достала из шкафа шелковое коралловое платье с кружевным накладным воротничком. Этим летом она видела такие воротнички у молоденьких девушек. Мода возвращается! Папа сдержал обещание: через пять лет он подарил ей это платье. Совсем взрослое, элегантное, с расшитым белым кружевом пояском. Мама в тот год совсем ослабла. Она лежала в комнате возле наряженной елки и любовалась на Раю: «Ты пока не надевай его никуда, впереди выпускной – будешь самой красивой!».

А через три месяца, первого апреля, мамы не стало. На выпускной Рая, конечно, не пошла, да и в ближайшие полтора года не ходила ни на какие праздники. Настроения хватало лишь на вечернюю учёбу и работу днём в лаборатории института. Платье она надела только на втором курсе, на свадьбу брата. Зря надела: весь вечер хотелось убежать и вдоволь наплакаться, вспоминая тот последний мамин Новый год.

Вот и сейчас слёзы снова подступили, но теперь это были слёзы нежности и любви. Отболело. Рая неспешно вынимала свои сокровища: вот платье на окончание института. Бархатное, с коротким рукавом и широким поясом. Она тогда уже сама копила, откладывала с каждой полочки. И когда на Новый год отец подарил шкатулку для украшений, и не подумала напоминать ему про «пятилетку». Но, к ее удивлению, после удачной зимней сессии отец принёс точно такой же, как десять лет назад, сверток:

– Раечка моя, самая умная! Вот держи, пусть хоть этот выпускной будет для тебя счастливым! Новая жизнь у тебя начинается! Трудовая, полноценная, радостная!

Отец, так искренне и полно умевший любить свою семью, страну, работу, всегда верил в достойную жизнь каждого трудящегося челове-

ка. Он успел уйти из жизни до того, как страна начала разваливаться, а трудящиеся люди перестали получать зарплаты. Он подарил ей четыре восхитительных платья. Конечно, покупали и другие, обычные, как у всех. Но раз в пять лет в гардеробе появлялась настоящая красота.

Последний папин подарок был перед московской Олимпиадой. Рая раздобыла билет на лёгкую атлетику: выменяла у Людки из чертёжного отдела на джинсы. Тогда она уже устроилась после института на ювелирный завод. Джинсы, конечно, было жаль, тем более, что у Раи они были одни, а у Людки несколько пар! Людкин брат работал каким-то чиновником в министерстве, и ему билетов на Олимпиаду дали целую кучу. Свою сестру, как ни просили родители, он к себе пристраивать не хотел (глуповатая она была и очень болтливая), но регулярно откупался дорогими подарками. Тогда на заводе Людка чего только не выменяла на эти билеты, а себе оставила на закрытие, о котором потом ещё несколько месяцев трещала в каждом перерыве.

Всё равно Рая была счастлива: её знакомые надеялись посмотреть Олимпиаду только по телевизору, и то если с работы будут отпускать. Ей и завидовали, и наставляли, как завязать знакомство: в свои двадцать семь она всё ещё была не замужем. В марте папа подарил ей польское летнее платье: сверху белое в сиреневую мелкую клетку с непривычно глубоким декольте, а от пояса белое вразлет с сиреневой прострочкой на подоле. За столько лет Рая так и не смогла выведать, где и по чьему совету папа доставал ей такие модные и редкие наряды. На фоне девушек, неспешными потоками направлявшихся к стадиону, Рая заметно выделялась. На неё оборачивались, с интересом разглядывали, возможно, принимая за иностранку. И вот она сидит где-то на галёрке с армейским биноклем брата и разглядывает пёструю толпу зрителей: другие лица, иностранная речь, стойкий запах духов, инопланетного вида фотоаппараты. К ее удивлению, женщины из Западной Европы, обозначающие себя маленькими флажками Франции, Италии или Испании, в основном были одеты в тогда ещё не известные в Союзе платья-сафари, достаточно унылой расцветки, больше похожие на рабочую одежду. На стадион Рая смотрела редко: спорт её никогда особо не интересовал.

– Извините, что отвлекаю, но разве на трибунах тоже кто-то бежит? – высокий мужской голос донёсся откуда-то снизу. С переднего ряда на неё в упор смотрел смуглый молодой человек лет тридцати.

Рая покраснела, представив, как давно он на неё смотрит, а она водит биноклем по всей арене. Сколько её ни учили подруги, она совсем растерялась и не могла завязать беседу, только смущенно улыбнулась.

– Вот там, на девятой дорожке бежит мой друг. Ему нужна поддержка! – паренек говорил с сильным акцентом, дополняющим его образ волшебного принца.

– А я как раз туда смотрю. Я с удовольствием за него поболею!

– Не получится! – рассмеялся паренёк. – Там всего восемь дорожек! Это шутка!

Рая смутилась еще больше.

– Меня зовут Марко! – паренёк, не обращая внимания на уставившихся на них соседей, продолжал кричать ещё громче. – По-моему, бег – это очень скучно! А у вас в городе есть что-то интересное?

– Да, конечно. У нас очень красивый город! Много интересных мест и памятников архитектуры, – Рая говорила, как по учебнику. Она впервые общалась с иностранцем. В институте она видела индусов

и африканцев, но ни разу к ним не подходила. Да это было совсем другое.

– А я в Москве в первый раз, бывал только в Ленинграде. Меня зовут Марко! По-вашему Марк!

– А меня Рая, – наконец поняла она его намек.

– Рая? Как там? – он показал пальцем в небо. – Очень красивое имя! Покажете мне город после бега?

Рая почувствовала, как залилась краской, опустила голову и только украдкой кивнула. Оставшиеся пару часов она сосредоточенно изучала всё происходящее на стадионе, стараясь запомнить имена, дистанции и прочие детали, на всякий случай.

После соревнований Марко пригласил её в кафе рядом с ареной. Прохладные залы, живая музыка, за столиками много иностранцев, и Рая вместе с другими счастливчиками! Хорошо, что не пожалела джинсы!

– А откуда вы знаете русский?

– О, я несколько лет жил в России! Четыре года учился в русской школе! Даже плохие слова выучил! Мой папа – он инженер, помогал строить фабрику в Тольятти. Мы там жили, но недолго, там сложно было со школой. Потом уехали с мамой в Ленинград, а папа к нам приезжал на выходные. Он строил фабрику автомобилей, у вас её называют завод. Знаете у вас наши машины «Фиат»?

– Кажется, не слышала. У нас есть «Волга», «Жигули»...

– Вот-вот, эти ваши «Жигули» – это наш «Фиат-124»!

– Правда? Странно, никогда бы не подумала.

– Его немного поменяли: у вас проходило много испытаний разных машин. И нужен был завод. Да, это была грандиозная стройка! Завод создавали с нуля, тогда все детали везли из других стран! Папа рассказывал очень много смешных историй!

Марко так активно жестикулировал, что случайно толкнул бутылку с пепси-колой: она покачнулась и со звоном упала на столик. Карамельная пена побежала сотнями пузырьков по стеклянной поверхности и мелкими водопадами потекла прямо на Раю. Мгновенно отскочив, она всё-таки не смогла уберечь платье: бурое пятно на глазах разрасталось на белоснежном подоле.

– О, простите! Какой я неуклюжий! Я просто разволновался от вашей красоты!

– Не отстирается... – Рая почти готова была расплакаться.

– Не переживайте! Всё будет хорошо! Как я мог расстроить такую потрясающую девушку!

Рая слышала его комплименты, но они её только злили. Иностранец – это конечно редкость, но такое платье в Союзе – редкость не меньшая. Да и Марко уедет через несколько дней, оставив лишь приятные воспоминания, а платье – она успела его надеть только один раз, а рассчитывала блеснуть в нём ещё на стольких праздниках!

– Вы так расстроились из-за этого пятна? Я обязательно куплю вам новое платье! Хотите – прямо сейчас? Пойдёмте, в любой магазин!

– В любом такого не купишь...

– Тогда мы купим ещё лучше! Самое красивое!

Конечно же, Рая не повела Марко ни в какой магазин. Не только потому, что ей хотелось произвести впечатление человека воспитанного, но и потому что прекрасно знала: хорошее платье в магазине не купишь. А объяснить это иностранцу невозможно. Следующие несколько

дней Марко старался компенсировать свою оплошность: дарил цветы, катал на теплоходике и водил в кафе. Всё было так красочно и легко. А потом пришло время прощаться. Они стояли в аэропорту, не зная, увидятся ли когда-то снова.

– Ты мне, пожалуйста, пиши! Давай не потеряемся. Приезжай ко мне на Рождество!

– Это немного сложно.

– Почему? Ты отмечаешь Рождество с родными?

– Нет, что ты, мы Рождество не отмечаем.

– Тогда что же? Лететь всего три часа до Рима, а там я тебя встречу и дальше на поезде!

– Сложно выехать. Для этого нужен повод.

– А я разве не повод? Это ты нашла повод отказаться. Я думал, нам с тобой хорошо?

– Марко, ты смешной! – она нежно держала его за руку, иногда боязливо озираясь. – Мне очень понравилось с тобой общаться. Нужен повод, чтобы разрешили выезд из страны. Ты же знаешь, у нас с этим сложно.

– Но у тебя очень важный повод: я должен купить тебе новое платье! Так им и скажи! – он широко улыбнулся и поцеловал её при всех.

В Италию она к нему так и не доехала, но их общение продолжилось в дружеской переписке. Пятно, кстати, не отстиралось, и на платье пришлось сделать кармашек. Сейчас Рая с улыбкой разглядывала эту «доработку», а тогда жарким летом 80-го она в отчаянии обегала не один магазин тканей, чтобы найти лоскуток подходящего сиреневого цвета. Оно того стоило: платье до сих пор выглядело вполне свежо, а ведь она его носила несколько лет, бережно стирая детским мылом.

Марко сдержал обещание: он всё-таки подарил ей платье, пусть и через десять лет. Замечательное, наверно самое роскошное из тех, которые ей дарили. Марко приехал в девяностом. Тогда Рая уже решила отказаться от идеи с пятилетками: слишком сложно стало доставать вещи в перестройку. Страна ждала перемен, все были и истощены, и воодушевлены одновременно. Вот-вот должно было всё наладиться, и Рая решила просто подождать, когда страна наконец заживет свободно и богато, каждый день обсуждая эту будущую новую жизнь с коллегами в перерывах.

К тому времени Марко уже был разведён и по выходным воспитывал сына. В письмах они рассказывали друг другу обо всех жизненных поворотах, и когда Марко выпала возможность приехать в Россию, он за два месяца начал писать Рае о том, как они будут проводить время.

Они сидели в каком-то ужасно дорогом ресторане. Как и много лет назад, здесь тоже слышна была иностранная речь и хорошая музыка. Марко не столько постарел, сколько стал более мужественным. Он был наголо выбрит, но это ему удивительно шло, подчеркивало элегантность. Голос его стал ниже и мелодичнее, хоть на этот раз они больше молчали, нежели говорили. Вроде и так всё знали. Или, может быть, их жизни стали столь непохожими за эти десять лет... Рае казалось, что она выглядит и ощущает себя гораздо старше Марко. От этой мысли и странной роскоши, существовавшей в её же стране, но где-то в параллельном, закрытом для неё мире, она начинала стесняться и даже раздражаться.

– Я снова предлагаю тебе приехать в Италию. Ты хочешь?

– Марко! Ты такой импульсивный! Мне очень приятно, но такие вопросы нужно хорошо обдумать.

– Я много думал. Я предлагаю тебе приехать насовсем. Или хотя бы на месяц, чтобы присмотреться.

– К чему?

– Рая, мы можем с тобой жить вместе. Мы много знаем друг о друге: характер, хобби, особенности работы, любимые вещи. Совместная жизнь – это не страсть, как я теперь понял. Это – взаимопонимание. Я много думал, Рая. Мне кажется, мы очень хорошо друг друга понимаем, чувствуем. Я постоянно практикую русский: у нас в компании много ваших эмигрантов. Как видишь, мы легко общаемся.

– Марко, это, конечно, звучит заманчиво. Но что я там буду делать? Где я найду работу?

– Я достаточно зарабатываю. А в Италии женщина может не работать, и её не будут осуждать.

– Дело не в осуждении, а в том, чем я буду заниматься?

– Чем? Ты будешь заниматься домом, своим мужчиной. Ты наверняка хорошо готовишь. У меня много родственников и друзей, они будут приходить к нам в гости. Ты будешь заниматься собой. Как все женщины: ходить в парикмахерскую и на массаж, покупать фрукты на базаре, что-нибудь шить, гулять с собакой.

– У тебя появилась собака? – Рая машинально поддерживала ход его беседы, как будто и не воспринимая всерьез обрушившееся на нее предложение.

– Нет, но я бы хотел. Я сам часто бываю в разъездах, ты же знаешь. Очень хочется приезжать домой, где тебя ждут. Ты понимаешь?

– Понимаю. Я бы хотела английского дога... Это такие высокие, с острыми ушами, знаешь?

– Нет, большого – это неудобно. Ему нужно много места, и он слишком много ест.

– Да, ты прав... – Всё это звучало так странно, как будто с киноэкрана. Ещё несколько лет назад Рая фантазировала о том, как Марко предложит ей выйти замуж. Как в фильмах – встанет на колени и откроет маленькую бархатную коробочку. Но сейчас... Всё-таки они такие разные... – Я не знаю, Марко...

– Я тебя не тороплю. Просто приезжай сначала хотя бы на две недели. Если нужно – я куплю тебе билет. А потом, если ты захочешь остаться, ты сможешь оформить себе документы. У вас сейчас всё очень сложно, этим можно воспользоваться, чтобы получить убежище. Подумай, у нас есть время. Но всё-таки мне бы не хотелось затягивать, я устал жить один.

Целую неделю они ходили вечерами гулять, потом ехали на ночь к нему в гостиницу, скудный интерьер которой возмущал Марко. Рая стеснялась привести его к себе в ещё более скудно обставленную квартиру.

На прощание Марко вручил ей бордовую коробку с золотой лентой:

– Я хочу, чтобы ты прилетела ко мне в этом платье. В аэропорту все будут смотреть только на тебя...

Это платье Рая помнила хорошо, хотя не разу его не надела. Желтое с золотыми нитями, струящееся почти до самого пола. Платье даже пахло чем-то заграничным, сейчас уже и не вспомнить точно. Она его «съела». Вскоре после отъезда Марко Раин завод вместе с лабораторией закрыли, а через пару месяцев сотрудники перестали

строить иллюзии, что кто-то о них позаботится. Рая обнаружила, что её профессия новой стране не нужна. И образование тоже оказалось невостребованным. Стране нужны были продавцы, вышибалы, официанты, бандиты. Первые полгода получалось протянуть на сбережениях. А потом пришлось продать платье. Оно прокормило Раю ещё добрых три месяца, хотя и очень скромно. Но за это время удалось устроиться учителем в школу. Зарплата, конечно, мизерная, но хоть какая-то. Рая не очень понимала, как работать с детьми, переживала первое время. Но дети быстро к ней привыкли, а через год появились частные ученики.

Что же касается Марко... Во всей кутерьме и страхе девяностых тот разговор превратился для Раи в какую-то добрую сказку. Очень старую, почти забытую. Марко напоминал о себе письмами и фотографиями. Но каждый раз, перечитывая их, всё сложнее ей было представить себя бесцельно расхаживающей по солнечным улицам или лежащей на диване в ожидании «своего мужчины». О чем им говорить? Чем заниматься вечерами в его маленьком городке? Что делать целыми днями, когда он будет в командировке? Да и можно ли всю жизнь поменять теперь... Она откладывала и откладывала решение. Ведь он всё-таки слишком «чужой», чтобы стать близким человеком. А Марко спустя пару лет снова женился, потом через четыре года развелся, всё также продолжая звать её в Италию, хоть и с меньшей настойчивостью.

О продаже золотого платья Рая не жалела: как будто и не для неё оно было – про какую-то другую жизнь. А о Марко намного лучше напоминало то самое, олимпийское. Рядом с ним в шкафу висели два самых невзрачных «экспоната». Первый – подарок брата в восемьдесят пятом. После смерти отца он хотел продолжить традицию и привёз из Латвии что-то вроде сарафана. Со вкусом у брата было намного хуже, чем у папы, но сама забота очень трогала, и Рая подарок сохранила, надевая для простых выходов в магазин. Второе платье она купила сама в девяносто пятом. Денег заранее не накопила, потому и платье пришлось купить простое. Хотя для школьных праздников оно было в самый раз. После этого Рая решила обязательно откладывать с каждой зарплаты по чуть-чуть.

И вот в 2000-м Рая со старшими классами поехала в Чехию. Там девчонки, конечно же, выведали у любимой учительницы про её коллекцию. Платье выбирали всей группой. Ученицы приносили ей в примерочную лучшие, а потом Рая, смущаясь от такого внимания, выходила к ним, как на подиум, и терпеливо слушала комментарии. Выбирали два дня, казалось, обошли все магазинчики Праги. Раю до слёз трогало такое внимание. Остановились на серебряном вечернем платье с рукавом три четверти. Пришлось разориться и на туфли. Рая вздыхала, что и носить эту красоту некуда, на что девчонки шутливо обижались: а разве их выпускной не повод.

В школе слух о её традиции «платьев-пятилеток» быстро долетел до учительской. Да и наряд из Чехии пришлось показать. На выпускном вечере платье действительно смотрелось шикарно. «Рая Максимовна, да от вас глаз не оторвать!» – слышала она от многих. Тем теплее ей было, что эту вещь выбирали её ученики.

А спустя три года на её юбилей коллеги преподнесли сюрприз – платье в стиле индийского сари удивительного незабудкового цвета. На такое она сама бы не рискнула и посмотреть! Не по возрасту оно

казалось, да и какое-то сказочное. Даже сейчас она доставала его с особым трепетом, но вдруг на плече заметила зацепку.

– Э-эх! Это всё, небось, ты, старый скрипун! О твои петли, наверное, задела. Придется вправлять. Шёлк-то, вон какой, нежный, как бы следов не осталось.

Рая бережно отложила сари на кресло и потянулась к последней вешалке. На ней висело приятное сиреневое платье в мелкий серебристый цветок. Красивое. Но совсем «бессюжетное». Рая смотрела на него и не могла вспомнить ничего примечательного, что сопровождало бы покупку или вообще тот 2010 год. Вроде бы и деньги отложены были, вроде и выбирала долго. А вот вспомнить нечего...

\* \* \*

Шкаф был разобран и протёрт, петли смазаны, зацепка успешно спрятана. Рая принесла с кухни чайник, чашку и коробочку с безе, поставила на столике, села в мягкое кресло и включила телевизор. «Голубой огонёк» уже начался.

– Ну, вот и год прошёл. В понедельник магазины откроются, надо будет сходить примерить то кружевное с накидкой.

## Дмитрий ФАМИНСКИЙ

Родился в 1969 году в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Работает в банковской сфере.

Автор ряда книг прозы и сборника сказок. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## СЕВЕРНЫЕ ЛЮДИ

Чёрные, обтесанные ветром валуны. Отвесные скалы по берегу. И это гулкое дыхание океана. Исполнилось то, к чему Игорь стремился последние тридцать лет. Он здесь, где прошли лучшие, как ему кажется сейчас, дни его юности.

Откуда-то, как из-под земли, вырос, присел рядом худощавый старик в фуфайке.

– Как доехал? Машина-то цела?

– Да вроде... – неуверенно протянул Игорь, вспоминая, как полз с черепашной скоростью по грунтовке, то и дело наезжая колесом то на острый камень, то на торчащую из-под досок, подложенных на гиблых участках, проволоку. Когда студентом проходил здесь практику, добрались до посёлка на грузовике, не заботясь, как и что. А тут... Не повредить бы новенький семейный кроссовер...

– Да, дорожки у нас аховые, – понимающе прищурился бесцветно-прозрачные глаза, протянул собеседник. Игорь присмотрелся и понял, что незнакомец примерно одного с ним возраста. Только внешним видом не заморачивается, да и ни к чему здесь это. Поджарая фигура, разрисованное морщинами лицо, словно выветренная горная порода, а у Игоря брюшко и лёгкая, но уже мешающая одышка.

– Науку, вижу, здесь давно забросили...

– Да как советская власть кончилась, так в Мурманск и перенесли.

– А люди?

– Люди... Люди в основном тоже уехали, кто куда. А я вот остался.

– Давно здесь?

– С молодости. Институт закончил, распределили сюда. Я корабельный механик. Звать Семён.

– Игорь. Биолог. Практику здесь проходил студентом. И вот всю жизнь тянет! А доехал только на пенсии.

– Манит, значит, наш Север?

– Ещё как! Но семья... Забросил науку...

– Семья – это важно... Важно! – вынул из помещенной на камень пачки сигарету Семён.

– Сыну говорю, поехали со мной. Он вроде и хочет, да семья на теплое море тянет.

– А-а... Жена тоже от меня по этой причине сбежала. Нечего здесь делать, говорит. Перестройка началась, так она, как и многие, подалась в Москву. С тех пор один.

– Чем занимаешься?

– Туристов на птичьи базары, на рыбалку сопровождаю.

– Красотища-то здесь какая!

– Это для тех, кто понимает!

– Да, Север не всем понятен...

– Сам-то где остановился? В гостинице небось?

– Я ещё нигде не остановился. Как приехал, сразу сюда, на берег...

– Если не брезгуешь, давай ко мне! Всяко дешевле, чем в гостинице.

– Не брезгую. Спасибо.

В посёлке среди полуразрушенных жилых домиков с облупившимися стенами высилось здание бывшего научно-исследовательского института биологии моря, также пострадавшее от северных ветров и запустения. Выделялась гостиница, построенная совсем недавно из современных материалов, в ярких скандинавских красках. На гостиничной стоянке припарковано несколько автомобилей. Рядом группа молодых людей, смеясь, переговариваясь, собирают резиновую лодку и акваланги. Конечно, перед поездкой Игорь посмотрел по Интернету всю необходимую информацию. Он знал, что недавно создана турфирма, организующая поездки и отдых на побережье Баренцева моря. Но поехал так просто, наугад. Заранее номер в гостинице не бронировал. Он почему-то внутренне был уверен, что домик, в котором жил студентом, ещё ждёт его... И он сможет без проблем в нём поселиться. Но оказалось, что домик уже в таком состоянии, что жить в нём невозможно и самому неприхотливому человеку. А за оставшиеся пустыми квартиры в единственном жилом четырёхэтажном доме еще оставшиеся местные жители берут вполне московские цены. И их можно понять, нужно как-то жить!

Остановился Игорь у Семёна за символическую плату. Пробыл неделю. Больше нельзя, жена и так со скрипом отпустила. Не скандалила, конечно, слезу нарочитую не пускала. Живут они, слава богу, душа в душу. Но про дела на даче напомнила и что ноги у неё болят... Иной раз и несколько шагов с трудом и болью давались. А у сына первенец родился, вот Игорь и возил супругу помогать молодой семье. Ирина была дамой изнеженной, к физическим трудностям не привычной, общественный транспорт плохо переносила. А к детям – с пересадкой!

Ирина отговаривала, чего, мол, там, на Севере, забыл, сердечко уже пошаливает, и машину новую изорвешь по плохим дорогам...

Но, наблюдая на протяжении многих лет, как Игорь всей душой стремится к месту своей юности, чем-то так поразившему его воображение, наконец сдалась. Сама же ехать наотрез отказалась.

Действительно, чего он здесь, на Севере, забыл? Свою дерзновенную мечту о новых научных открытиях, свою молодость, свою первую, невысказанную любовь к девчонке-однокурснице. И сейчас помнит, как бегали с ней по берегу, измеряли, сопоставляли высоту волн и силу прибоа.

Семён пару раз свозил его на вельботе на самый далёкий и шумный птичий базар.

– Выходит, мы с тобой северные люди! Одинаково природу эту понимаем, – любил приговаривать, прищулив свои проникновенные, светлые глаза, Семён.

– Выходит! – Игорь сидел на скамье покачивающегося на волнах вельбота, смотрел на бескрайние просторы океана, казалось, пропускал через себя всю его мощь, чистоту и красоту, возвращаясь в свою мечтательную молодость. Для этого, наверное, и стремился сюда. Наверное, это правильно – стояние на месте. Не уйти, не разорвать сложившуюся связь – так, как Семен. Пройдет время, и как знать...

Но время сделало своё дело, и он чувствовал, что уже не может смотреть на океан своей молодости глазами юного человека, а вот Семен может.

– Я, слышь, о чём всё думаю? – проникновенно шурился, глядя вдаль, Семён.

– О чём? – слушая вполуха, сквозь свои воспоминания, спросил Игорь.

– По этим водам ещё викинги, наверное, плавали.

– А... Наверное.

Игорю как-то было уже все равно, кто здесь плавал, когда. Семен мечтательно вздохнул:

– То-то были отважные моряки, люди северные...

Пару раз Игорь погрузился вместе с теми весёлыми молодыми дайверами. Он ещё всё хотел доказать им и себе, что в состоянии нырять наравне с молодыми. Но куда там! После погружений дало знать о себе сердце, и он с тревогой думал, не переусердствовал ли? Машине также досталось: пару раз сильно ударился днищем о камни на дороге, отбил краску мелкими камешками из-под колёс обогнавшего «уазика».

Напоследок Семён всё утешал его, подбадривал:

– Всё наладится, вот посмотришь. Мы с тобой северные люди – а они крепкие!

– Спасибо тебе за всё, старина! – со слезой, то ли от хлесткого ветра, то ли от переполнивших чувств, отвечал ему Игорь, крепко сжимая на прощанье руку.

Всё это он вспоминал уже на обратном пути. В долгой дороге Игорь размышлял, а был ли смысл в его поездке? Может быть, он только наполнил душу тревожными воспоминаниями навсегда ушедшей молодости? И для чего было это преодоление себя во время изматывающего пути и ныряния под воду под угрозой обострить болезни? Покрасоваться перед молодёжью? Доказать себе, что силы ещё есть и он не перезрелый овощ? Удивить впечатлениями домашних и друзей? Но им это если и интересно, то на несколько минут застолья! Те воспоминания, которыми он жил, мечтая о поездке, были краше и интереснее увиденной теперь действительности. Но нет, нет, конечно, смысл был. И эти рассказы Семёна о викингах. Какие, действительно, мужественные и смелые были люди! В утлых судёнышках, один на один со стихией, несмотря на опасности и болезни... Что же они чувствовали? Что ими двигало? Но пора возвращаться к прозе жизни. У жены наверняка обострился артрит, и надо искать частную клинику, и на работе ожидает запарка...

Приехав в город, Игорь, к своему удивлению, обнаружил, что Ирина у детей. Как же она туда добралась?

– Как? Очень уж хотелось внука увидеть! Разработала свой маршрут. Изучила линии общественного транспорта. Не спеша, потихоньку. С остановочками. Надо идти! А на третью поездку и боль поутихла!

– Ну ты даёшь!

– А что? Поездку в Питер запланировала. Помнишь, я давно хотела, но боялась пешеходных экскурсий?

– Помню.

– Подруга зовёт. Очень недорого. Отпустишь?

– Конечно! А может, и я с тобой?

– А огород кто будет поливать?

– Да, конечно, конечно... Я ведь обещал!

– Хорошо на даче. Солнышко, речка! Прогноз погоды благоприятный!

– А комары... Как я со всеми этими сорняками воевать буду? Полить, вскопать – это ещё ничего! А прополка... Вот чего не люблю так не люблю...

– Ну ничего, – улыбнулась супруга, – сдюжишь. Северные люди – они крепкие!

## Дмитрий КАЛИН

Родился в 1974 году в селе Спасское Горьковской области. В шестилетнем возрасте переехал в село Салганы Краснооктябрьского района. Окончил филологический факультет Нижегородского госуниверситета. Публиковался в «Прологе», «Терра Нова», «Порт-Фолио» и некоторых других интернет-изданиях.

Живет и работает журналистом в Нижнем Новгороде.

## ФОТО НА ПАМЯТЬ

Сплетением линии судьбы – впритык к переплету. Дрожащей старческой рукой потянуть на себя громоздкий том, выборочно запечатлевший прожитое, прошаркать к креслу – и плюхнуться на колени. Тяжело. Никогда не считал, сколько в нем страниц с застигнутыми фотокамерой мгновениями. Даже странно, что и мысли такой не возникало. Суетился, бегал, решал насущные проблемы... и, как казалось, жил. Промелькнула, словно чуждый сон, и растворилась, оставив в памяти призрачные отпечатки босоногого детства, лакированной молодости, и уткнулась в матерчатую ветхую старость. И почти все здесь. Уместилось между обтянутым потертым бархатом покрывала и дна. Шершавая ладонью обложку, Юрий Иванович задумался, невидяще вглядываясь в сумрак комнаты. Темно и тихо. Лишь свет плачущих дождем заоконных фонарей проявляет негатив обстановки. Контуры предметов причудливо изломаны, раздроблены на струящуюся пиксельную зернь. Не собрать, не сложить, не зафиксировать... Сплошное не.

Обслюнявленные пальцы ухватились за толстую картонную плиту, и она, всхлипнув, запрокинулась, прихватив с собой пару слипшихся страниц. Нет, так дело не пойдет – вмиг пролистнул младенчество, и без того стертое ластиком времени. Сколько ни вглядывайся, не разобрать строк памяти. Мерещатся, чудятся, домысливаются эфемерные следы, воскрешая из небытия размытые фрагменты снимков, запахов и ощущений. Желтые прутья детской кроватки, впивающиеся в мякоть обглоданной перекладки. Обхватить ртом и – со скрежетом – зубами. Вкусно! Привкус содранной краски до сих пор на губах. Дырявая соска на бутылочке капает, течет умиротворяющей теплотой сладкого молока. Отец с мороза колется щетиной. Вет каким-то своим неповторимо родным ароматом от матери.

А вот и он в распашонке. Развалился безмятежно, нагло выставив писюн. Девчонки, заходившие в гости, очень уж любили рассматривать

этот снимок, похихикивая и пряча глаза. Некоторые наиболее любознательные смогли позднее познакомиться с ним поближе. Юрий Иванович усмехнулся, припоминая любовные утехы. Как давно это было...

Школа, первая учительница. До сих пор помнит, как ее звали. Тамара Васильевна – вторая мама. Не потому, что так было принято называть, а по сути своей. Ребята из класса. Октябрьские звездочки, пионерские галстуки, дружина имени Тани Савичевой, школьные линейки и непреходящие чувства послевоенного голода и счастья. Пожелтевших, обрезанных по краям витиеватыми узорами фотографий мало. Лица, смотрящие из безвозвратно улигнувшей эпохи и переворачивающие трещащую по швам душу. Никого не осталось. Никого. Он последний. Были – и нет. Словно и не было. Курить. Как же хочется курить. Но нельзя. Врачи запретили. Плевать. Чуть раньше, чуть позже... Все равно пора готовиться. Альбом переплетом на отлежанный диван – и к окну. Половицы сварливо скрипят, жалобно охая и вздыхая. Почти его ровесницы. Форточка ахнула как-то особенно по-своему. Звук, который невозможно спутать ни с каким другим. Только так и никак иначе звучат, распахиваясь, дряхлые, со шпингалетами и затворами, окна. Поздняя осень плачет беззвучьем. Без надрыва, смиряясь с неизбежным. Слезинки, смешанные с редкими снежинками, залетают внутрь, падая на лицо. Промокшие листья из последних сил цепляются за ветви деревьев и кустарников. Сигарета алеет, серебря виски темноты. Завитки дыма, играючи, ускользают наружу. Вот и все. Последняя затяжка, и окурок, испуская вздох, скрючился, ткнувшись в пепельницу. Вспомнилось, как школяром воровал у деда махорку и неумело, рассыпая, скручивал из газетного окаема козью ножку. Продирало легкие до надсадного кашля, до головокружения и рвоты. Отец как-то поймал и отвесил подзатыльника. Не сильно, но запомнил на всю жизнь. Как-то хотел вырезать перочинным ножом трубку мира, как у Чингачгука. Не получилось. Порезы на пальцах давно затянулись, спрятались среди морщин, так что не разобрать. Одна из любимых игр – в ножички. Согнуть лезвие под 90 градусов, подцепить снизу за ручку и дернуть вверх. Измерить пальцами расстояние между полем и ручкой. Два, три... Это десятки. Кто больше наберет?! Ему везло. Нож часто падал провинившимся кутенком, лезвием вверх. Это сразу сто очков. Или лучше «в землю». Тоже интересно. Кидать с высоты роста в очерченный круг, проводить черту, отхватывая у противника куски территории. Балансировать на оставшейся, постоянно уменьшающейся части... Или нет. Лучше в солдатиков. Пластмассовых, оловянных, вылитых вручную из свинца, спрятать в домах и крепостях из кубиков и разрушать из пушки, стреляющей вместо потерянных снарядов палочками для счета. И кусок черного хлеба, политый растительным маслом и посыпанный крупной, хрустящей на зубах солью. А еще картошка, запеченная на костре. Корочка пачкает и обжигает губы. Вкуснотища! Еще что ли покурить? Нет. Достаточно. По рассерженным половицам – обратно в кресло. Альбом на колени – и перелистывать страницы. Родители молодые, и он с шариками и флажком. Вероятно, Первомай. Так и есть. На обороте смазанная дата – 1956-й. Дальше выпускной, армия и... Она. Дождалась.

Ком застрял, заворочался в горле, мешая вздохнуть. Красивая. Даже очень. Не понять, почему выбрала его и всю жизнь вместе. Молодая, веселая, смешливая и терпеливая. А затем... Высохшая бессильная рука, кроткий взгляд и измученное уставшее лицо на подушке. Семь

лет, не вставая, цепляясь за жизнь и ловя надежду в его ускользающем, избегающем взоре. Отворачивался, шутил, улыбался, а оставшись наедине с собой, выл в бессилии. Неудачная операция, паралич – и комья сырой земли на ладони. Наташа, Ната, Таша... Да, пил. Пил иступленно, вдрызг, на разрыв. Забывался – и снова, и снова, и снова... Приснилась. Зарылся, уткнулся лицом в знакомый до одури запах, чувствуя и чуя ласковые пальцы на поседевшей голове. Очнулся – и без выходных, без праздников, всегда на виду и среди людей. Работа, работа, работа... Ловил удачные моменты, кадры, проявлял, печатал фотографии, устраивал выставки, ездил в командировки, на репортажи – лишь бы не остаться одному. И по ночам в пустой квартире мерещилась и чудилась легкая невесомая поступь по молчащим онемевшим половицам.

Все рабочие фотографии собраны в других альбомах, разбросаны по архивам редакций, дискам и компьютерам. Это тоже часть жизни, но не его жизнь. Его вся здесь, загнана между бархатной желтой обложкой, держится осенними листьями за ветхий корешок и того гляди оторвется и вывалится. Рассыплется, разлетится, перепутается так, что ни собрать, ни склеить...

Что там дальше? Ничего нового, все те же знакомые родные лица, очерченные кругами. Одного за одним отмечал Юрий Иванович уходящих поочередно, порой внезапно, а иногда и ожидаемо, тягостно-обреченно. Кресты, могилы и похоронные землистые взгляды. Зачем нужно это было снимать и тем более втискивать в прорези по углам? Для памяти? Она и без того, не смыкая глаз, неотступно тревожит и денно, и ночью. Особенно во тьме, в забытьи сна. Придет, сядет в изголовье и молча, безотрывно и печально смотрит. Задремлет рассвет, и ласково-печально коснется на прощанье серебра волос. Или это Ната, Наташа, Таша... Исчезнет в сумерках, оставив шлейф щемящего аромата. В последнее время все чаще.

За грудиной вновь привычно заныло. Привстал, и позабытый альбом, неловко соскользнув, шмякнулся на вздрогнувшие половицы. Пусть лежит. Кому он нужен. Все смотрено-высмотрено насквозь, наизусть. Шагнул к буфету и пальцами – в аптечку. Валидол под язык, и на непослушных ногах вернулся обратно.

Окно по-прежнему манит неизъяснимостью. Светает или почудилось? Будто ночь вытерла со стекол мутные подтеки дождя, наводя ракурс на окрестности. Фонари тлеют дежурным освещением, но шелкни выключателем, и вспыхнут софитами, изгоняя из комнаты полутона и тени. Главное – правильно, грамотно их выставить. Взяться за стойки, выдернуть из озябшей сковывающей земли и – с разных сторон – от объекта. Убрать черноту застывших деревьев и пожухлых кустарников. Сменить задний фон из скорбных многоэтажек, поблескивающих объективами окон; прямой, пустынной и безыскусной улицы, забывшей, где начало и где конец беспрестанной, надоедливой измороси.

Но вроде бы действительно посветлело. Выдернулся из обхватывающего кресла и, споткнувшись об альбом, прошагал к окну. Половицы запели старую песню, не изменяя ни единой ноты. Прислонился горячим лбом и глянул сквозь стекло. Первый снег обелил округу, улегшись на грязную землю, повис гроздьями на листве, нахлобучился на крыши. Так много. Видимо, шел беспрестанно всю ночь, а он и не заметил. Все равно недолговечен. Растает, рассоплится каплей, разольется лужами среди мешанины спешащих ног. Сверху шлепнуло по карнизу, резанув тишину часовой стрелкой, и Юрий Иванович, вздрогнув

от неожиданности, отпрянул. Развернулся, оглядывая комнату. Действительно, посветлело, но еще нужно подождать. Хотя, пока собирается...

Под мольбы задремавших, страдающих бессонницей половиц, прошагал к буфету. Полупустой ящик высунул язык, дразня покотившейся отпитой чекушкой. стакан, впитав остатки, взмыл и, негромко притопнув, отдал честь, словно старый солдат генералу. На ходу занюхал рукавом, и дверцы шкафа распахнулись, выставив товар лицом. Прогулялся взглядом, примеряясь. Новый, с иголки, костюм пусть пока повисит, дожидаясь торжественного случая. Сойдет попроще, в котором он работал фотокором вплоть до ухода из профессии. Именно в нем Юрий Иванович и растянулся на льду, сломав ключицу и плечо правой руки. Кости срослись неправильно, а ломать заново и править не стали. Может быть, и зря, но что поминать о минувшем. О нем либо хорошо, либо ничего. Костюм сидит, как влитой, будто и не снимали. Что еще? Старая фотокамера, с которой не расставался ни днем, ни ночью. Вытер пыль – и поводком на шею. Теперь порядок, хоть вновь садись в редакционную машину и езжай на ответственное задание. Но это все позади...

Юрий Иванович погляделся в сумрачное зеркало. Расческа пригладила отросшие седые лохмы. Повертел головой. Хорош! Усы с бородой чуть бы укоротить, ну да ладно. И так сойдет. Флакон насмешливо фыркнул одеколоном. Вроде все...

Привычно охнуло продавленное кресло. Взгляд пробежался по комнате. Да, света предостаточно. Окно внезапно почернело, округляясь линзой, впитывая и выплевывая с хрустом наружу кости рамы. Миг – и комната залилась ярким светом софитов. Юрий Иванович замер, ощутив-угадав невесомую кисть на плече. Ната! Таша! Наташа! Прошла незримо, незаметно встав сзади. Вскочить! Обернуться! Но... Не шевелитесь! Улыбочку! Ослепительная вспышка резанула по сознанию. Готово фото на память. На последнюю страницу альбома.

## Публицистика

### Сергей ЕСИН

Родился в 1935 году в Москве. После окончания филологического факультета МГУ был актером в театре, работал на радио, телевидении, главным редактором журнала «Кругозор». С 1987 года – преподаватель, затем профессор кафедры литературного мастерства, в 1992–2006 годах также ректор Литературного института им. А.М. Горького.

Автор ряда романов, многочисленных рассказов и повестей, а также знаменитых «Дневников», публикуемых с середины 80-х. Лауреат Международной премии им. М.А. Шолохова в области литературы и искусства (1999), Бунинской премии (2008), премии «Золотой Дельвиг» (2014) и других.

Секретарь Союза писателей России, вице-президент Академии российской словесности. Живет в Москве.

### ДНЕВНИК-2014

(Фрагменты)

*Окончание. Начало в №№ 1–3, 2016*

**1 октября, среда – 2 октября, вторник.** Собственно, два дня провел дома, старательно вычитывая новую порцию дневников – за 2013 год. О мотивах не говорю, и так понятно, стараюсь все закончить сам. После будет некому, все заняты собой.

Ах, знаменитые долго жившие жены – Софья Андреевна, Надежда Яковлевна и ныне, к счастью, здравствующая Наталья Дмитриевна! О последней придется опять говорить, но чуть ниже.

Честно говоря, мне самому иногда кажется, что мой Дневник выдыхается, объем охвата жизни сокращается, и это понятно, но вот читаю страницу за страницей – интересно, полно, даже иногда ново. Впрочем, одно есть, и Леша Козлов, мой издатель, наверное, прав: с политикой чуть пересаливаю, так же как и с моей мстительностью бедного человека к богатым, которые неизвестно каким путем добыли свои средства. Но кто уже через год после судов помнит этих депутатов, губернаторов, заместителей губернаторов и банкиров? Потом, так однообразно воруют и так старательно не хотят отдавать краденое. Кстати, в четверг состоялся какой-то съезд инвесторов, на котором – слышал по радио – мужской голос спрашивал у Путина, а не начнется ли пересмотр незаконно приватизированных заводов, угодий, лесов, особняков и другой

госсобственности. И Путин твердо ответил, что этого не будет. А почему нет? Не преувеличивают ли все эти собственники тот коллапс, который якобы возникнет в промышленности, когда собственников возьмут за их нежные и розовые жабры? По закону ли только должна жить Россия, или еще и сообразуясь с благодатью?

В среду пришла «Литературная газета», стал читать поздно, перед сном, и сразу натолкнулся на статью Елены Мушкиной о Юрии Левитане, жили рядом, были знакомы. Вот уж чего Лена добилась, так это жесткого документального письма, все плотно, правдиво, можно вырезать из газеты и хранить как бесспорный документ. Между прочим, я тоже неплохо знал этого поразительного человека. Именно по его звонку начальнику лесоторговой базы мне выделили щитовой домик, который стал моей дачей. Раньше, несмотря на письмо заместителя министра, мне в этом отказывали. Список персонажей, которые могли бы, чтобы получить результат, позвонить этому начальнику, был серьезным – я тогда работал главным редактором Литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, значит, дружил со всеми знаменитыми актерами – возглавлял список Михаил Ульянов. Но позвонил все-таки Юрий Борисович – надо понимать при этом, что директором базы тоже был не Иван Иванович... Мужик Левитан был хороший, хотел постоянно читать художественную литературу.

Скандал, который возник после выступления Полякова о Солженицыне и письма Надежды Дмитриевны, разгорается. Уже высказался Женя Миронов, обидели вдову, и вот утром позвонил Леня – в «Московском комсомольце» чуть ли не целая полоса Минкина. Все то же.

К вечеру номер газеты мне принесли. Здесь все какая-то советская аргументация: если, дескать, не понимаешь, то как же ты работаешь редактором «Литературной газеты». Так в советское время жаловались в ЦК КПСС. Статья пустоватая, ее пафос сосредотачивался на давнем номере газеты с портретом Сталина на первой обложке, кажется, к очередному юбилею. Тот давний номер, как резервный полк, хранился целый год в каких-то идеологических запасниках – к выстрелу по Полякову, видимо, готовились давно и серьезно.

Сижу дома, вычитываю Дневник-2013, идет трудно, но ощущение все-таки, что интересно. Как все быстро забывается!

**3 сентября пятница.** Машину, как обычно, оставил в институтском дворе и пошел в Дом литераторов – в два часа исполком, а в три в большом зале – съезд Международного союза книголюбов. Человек тридцать из исполкома собрались в комнате за сценой. Доклад и отчет были отпечатаны в виде небольшой книжки, в ней была и моя статья, по мыслям – вступительное слово на съезде. Вела все Людмила Шустрова, председатель; я немножко тоже поговорил; приняли двух новых членов – общество в Сарове и еще одну организацию в Актюбинске, в Казахстане, здесь общество организовалось при университете. Потом выбрали меня президентом.

Сам съезд – в лучшем случае сидело половина зала, но я понимал, что за каждым еще целая группа людей, интеллектуальное развитие которых не заснуло, – итак, сам съезд состоял из добротного выступления Михаила Сеславинского и собственного моего, после которого проходили бесконечные награждения грамотами, медалями, благодарственными письмами. Хорошо, что я позвал, разбавить это официальное действие, Мишу Тяжева, он читал свой рассказ, и Максима Лаврентьева – это две его поэмы: «Колокол» и «Стена». Потом, во время фуршета,

ко мне подходило несколько женщин, уже настоящих любителей и, видимо, по-настоящему понимающих литературу, и хвалили обоих ребят.

К семи часам я из Дома литераторов переключался в МХАТ им. Горького. Здесь премьера по пьесе Юры Полякова «Как боги...». Театр полон, ставила сама Доронина, уж чего сразу ясно – пьеса отчаянно современная. Здесь старый дипломат, бывший посол, его жена и дочь, с сексуальными проблемами ее возраста и нашего времени, старый бизнесмен-ворюга, молодой бизнесмен, китайская классическая поэзия – дипломат бывший посол в Китае, его бывшая, первая, жена, вышедшая замуж за старого шотландского лорда, их балбес-сын. Жена посла дает уроки этикета бандитам и выскочкам. Есть адюльтер, «ягуар», взрыв мотора. Самое главное – Поляков, уже признанный мастер диалога, насытил обширный, явно сатирический сюжет, обилием блестящих реплик, которые могут, как реплики у Грибоедова, и войдут, наверное, в обиход. И как бы снобам это все ни казалось достаточно банальным, зритель это принял на «ура». Все, что, может быть, автор не дотянул, искусно замазала и заделала своей режиссурой Татьяна Васильевна. Отдельно об актерах, ряд ролей сыграно виртуозно. Матасова – это концертный номер.

О Дорониной отдельно – она сменила имидж, вышла на сцену в замечательной черной кофте и юбке чуть выше колен. Прекрасно, очень современно, по-своему, даже царственно.

После спектакля, как обычно, состоялся банкет. Леня на следующий день – дописка! – рассказал, что разошлись в пятом часу. Я бы, конечно, такого не выдержал, но когда я уже ушел, Татьяна Васильевна стала говорить о «Гамлете», который сейчас ставит в театре Валера Белякович. Пропустил!

**4 октября, суббота.** Утром говорил с Леной, обменивались мнениями, а в обед дозвонился до Л.М. Царевой – 7-го числа, во вторник, нам представят нового ректора, Алексея Варламова. Я ему не завидую, в сложных условиях ему придется отрабатывать за назначение у его сторонников.

<...>

**6 октября, понедельник.** <...>

Днем прочел материалы Глеба Гладкова к семинару, а так весь день сидел над вычитыванием рукописи Дневника-2013. Довольно безжалостное по отношению к прошедшему институтскому режиму получилось у меня сочинение. Вести Дневник легче, чем потом его вычитывать.

В рассказах Глеба, пропитанных сексом, слишком много жестких сторон жизни. Кое-где становится страшно, все это увидено и прочувствовано до болезненных оснований. Не очень представляю, как завтра это буду обсуждать, в группе много совсем юных девчонок.

Завтра на час дня назначен ученый совет, большое начальство из Минкульта и, видимо, Владимир Толстой, советник президента, будут представлять нам как будущего ректора Алексея Варламова. Наверно, я не сумею промолчать. Оказывается, Алексей заходил на кафедру к Надежде Васильевне еще в четверг. В разговоре признался, что его во вторник представят – в каком качестве, в виде исполняющего обязанности или в качестве ректора, неизвестно – и одновременно сообщил, что хотел бы числиться у нас профессором, а также, что став ректором не откажется от должности главного редактора «Литературной учебы».

Передном открыл «Российскую газету». Буквально потрясло, что про Юрия Любимова, умершего в воскресенье, огромную статью написала

Алена Карась. Да кто же она такая, чтобы о нем писать? Это при том, что по радио и телевидению высказались первые люди культуры.

**7 октября, вторник.** В час дня мы все, ученый совет и «актив», в который включен и наш агент-экспедитор Коля, уже сидели в конференц-зале. Вошли гуськом министр культуры Мединский, Владимир Толстой, который, еще проходя к сцене, успел за руку поздороваться со мною, за ними шли Алексей Варламов и заместитель министра Ивлев. Не могу сказать, что процедура прошла блестяще. Очень коротко и с некоторой натугой несколько слов сказал Мединский, потом в раздумчивой интеллигентной манере Владимир Толстой, помощник президента по культуре, рассказал о том, что знает Варламова много лет и что надеется, что с его приходом Институт снова взлетит в своей славе. Существенно – обещал поддержку правительства. Речь Варламова я не очень запомнил, в ней слишком много было знакомого. После министр имел неосторожность спросить, не хочет ли кто-нибудь высказаться. Одновременно сидевший передо мною Евгений Рейн и я подняли руки, но со своим панегириком власти и новому исполняющему обязанности ректора Евгений Борисович уже помчался на трибуну. Я начал с того, что еще никто и никогда Рейна опередить не мог. А потом высказал, может быть коряво, несколько тезисов. Судя по тому, что представили не ректора, а еще исполняющего обязанности, Институт пока не лишили его академических вольностей. Второе, я имел смелость подумать, что смена одного исполняющего обязанности ректора другим исполняющим обязанности не означает, что первый исполняющий работал плохо. Конечно, я имел в виду Л.М. Цареву и сказал, что за последнее время она существенно освободила институт от ряда недостатков. Я все время говорил, как точен выбор министерства, потому что и наш выбор склонялся именно к Варламову. Его и чуть позже Олега Павлова – и это было сказано – мы и брали с дальним прицелом именно сделать из них в дальнейшем ректоров. В том числе я вспомнил эпизод, как в прошлый раз опрашивал всю кафедру: кто хочет стать ректором? Даже приходил, приостановив заседание кафедры, к Алексею в аудиторию, он в это время вел семинар: Алеша, хотите? Все это к тому, что зря министерство так активно во все это вмешалось, наверное, и сами собой выбрали бы. Закончил я грустной институтской статистикой: как правило, в Институте выигрывает выборы вольный соискатель, а не исполняющий обязанности ректора. <...>

Семинар, как мне кажется, прошел довольно тускло. Саша Парфенова и Глеб пишут хорошо, но, как мне кажется, эротика и мат становятся у наших студентов чем-то похожим на фэнтези – все собирается из блоков, легко, и, главное, собственный половой орган как объект наблюдения очень доступен.

<...>

Вечером был на спектакле в «Новой опере». Давали премьеру – оперу Моцарта «Свадьба Фигаро». Думал получить легкое, искристое удовольствие, но промучился почти три часа. Даже музыка звучала как-то глуховато, я уже не говорю о самом сценическом действии. На сцене чуть наклоненная в сторону зрителя огромная кровать – на ней собственно все и происходит. Я бы сказал, с европейской заумью. Если Керубино нужно выпрыгнуть из окна в сад, приносят «окно», сад изображают девушки, над каждой колыхается какая-то ветка, эти деревья чуть ли не целый спектакль уныло бороздят просторы необъятной кровати. Трагикомедия в двух действиях. В афише в качестве просветителей

стоят почти сплошь зарубежные имена: музыкальный руководитель и дирижер – Ян Лагам-Кёниг, режиссер – Алексей Вэйро, сценография – Ульрике Йохум; костюмы – Ян Майер; хормейстер – Юлия Сенюкова; художники по свету – Ханнес Зеземанн, Ханс Фрюндт, продюсер – Петер Шварц. Женщины – графиня и Сюзанна, пели превосходно, мужчины – и Фигаро, и Альмавива, недотягивали до свободы. А я, между прочим, помню – слушал, когда было мне лет четырнадцать, – изумительно веселый спектакль, правда, Россини, «Свадьба Фигаро» в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Ставил, кажется, сам Немирович-Данченко. Все простенько, в обычных реалистических декорациях.

**8 октября, среда.** Утром пришла «Литературная газета» с моей статьей по поводу критики Щегловой. Статью буду еще читать, но сразу же обратил внимание на иное. Вчера вечером в антракте рассказывал Колесникову о статье Алёны Карась, которую она написала о Любимове. Саша встал на ее защиту, дескать, надо было, наверное, написать быстро, а Алёна может это сделать за один вечер. Я стал рассказывать, что моя покойная Валя в тот же день поехала бы к кому-нибудь из великих и сделала бы статью от его имени – здесь честь и престиж газеты. Так вот, сегодня, открывая «Литературку», сразу заметил – о Любимове написал Виталий Третьяков, очень неслабо и безо всяких льстивых преувеличений. Фрагменты и отрывочки.

«Любимовская Таганка – это был публицистический театр, то есть более политический, чем театральный. Потому он и фактически погиб после того, как политическая ситуация, в которой этот театр родился и внутри которой жил, против которой боролся и внутри которой только и мог расцвести, исчезла. Самый антисоветский советский театр – вот секрет успеха Таганки Любимова. Такой театр мог процветать только при советской власти. С ее исчезновением он должен был рухнуть, что и произошло».

Текст, конечно, очень жесткий, почти, можно сказать, не к минуте, но такой отчаянно справедливый, что может стать образцом при наших театральных разборах. Впрочем, кто разбирает, критик, который заискивает перед театром и литчастью, чтобы они бесплатно пустили его на спектакль? Из знаменитых критиков, которые, чтобы быть свободными, покупали билет в Большой театр, я знаю только одного – балетного критика Евгения Маликова. Но все же к Любимову и Третьякову. Еще один убийственный пассаж.

«До сих пор остаётся открытым вопрос, а была бы при всех выдающихся качествах Любимова так знаменита Таганка, если бы в ней не работал Владимир Высоцкий, всенародная известность и популярность которого превосходила тогда известность всех советских театров вместе взятых. Думаю, что нет...»

И последнее.

«Бесспорно, Юрий Любимов был любимцем своего времени и судьбы вообще. Чтобы войти в историю абсолютной легендой, ему нужно было бы умереть раньше. Ибо после исчезновения СССР дела для него ни в театре, ни в политике уже не было. Но он был слишком самлюбив и слишком успешен, чтобы допустить такое. Потому предпочел жить долго...»

<...>

Вечером был в Театре Российской армии. Впервые ехал на метро – постепенно в Москве, как и в Париже, метро становится «в шаговой

доступности». Столько лет возле пятиугольного театра торчала огромная башня, одна из тех, которыми «Метрострой» помечал свои строящиеся объекты. Достроили – роскошная, прекрасно оформленная и просторная станция.

В театре давали «Царя Федора Иоанновича» Алексея Толстого. Постановка Бориса Морозова и его же сценография. Сразу же обратил внимание, все не без влияния знаменитого спектакля Юрия Григоровича. Сидел близко, наконец-то понял все извивы гениальной трагедии, все понял и все расслушал. Не обошлось, конечно, опять и без помощи Саши Колесникова, я у него вроде ассистента при его ревизии спектаклей. К сожалению, много в тексте лишь проговорено, внутренняя, дышащая разнообразными мотивами ткань трагедии рвется, превращаясь в текст. Сижу и внутренне все перевожу на «трагический»: здесь бы голосов, да погуще, и смыслов поразнообразнее. Хорош был князь Шаховской – Сергей Смирнов, и голос, и статья, и давит адреналин. Я принял и царя Ивана – Николай Лазарев, – но он несколько переозвучен интонациями Иннокентия Смоктуновского. Царица Ирина – дочь Бориса Морозова, хорошо, что это бесспорно русский тип, но жидковато. Боже мой, какой гениальный текст, как все разработано и соединено, как аргументированно и современно! И Путин, и Немцов, и Болотная, и перебежчики, и купцы, которые представляются народом, посадским людом. Но каков театр, как все вычищено и вылизано, какие фойе и вестибюли, сразу видно, что армию снова финансируют. Зал был, к сожалению, заполнен наполовину, но я даже порадовался, что привели на спектакль солдат, уж не меньше роты

**9 октября, четверг.** Весь день просидел дома. Во-первых, конечно, обдумывал и что-то почитывал к публичной лекции, которую должен о публицистике прочесть в субботу, а во-вторых, с увлечением продолжал читать верстку. Иногда звонила Оксана, предупреждала о лекции и о «празднике поэзии», который должен состояться во вторник. Это все остатки детских мероприятий, которые вела Галина Яковлева. Кажется, хлебать этот праздник придется мне, вручать «юным дарованиям» грамоты и что-то говорить. Пока в телефонных разговорах решили выделить от каждого поэтического семинара по поэтической четверке и пригласить несколько настоящих поэтов. Еще два дня назад думал, что свои стихи почитает Максим Лаврентьев, но от него сегодня пришло письмо. Фрагмент выписываю:

«К Дому Герцена у меня сложные чувства. С одной стороны – почти-тельная привязанность: я здесь провел какое-то время (время учебы на заочке не в счет, тогда я практически не бывал в Лите и ничему из того, что могло бы пригодиться мне как литератору, не учился и не научился), в основном я проникал чувствами к институту в пору моей довольно бессмысленной и ни к чему дельному не приведшей работы. Правда, один вполне ощутимый результат был: я познакомился в институте со своей второй женой, именно там, на кафедре критики, протекал наш с ней очень бурный роман.

Как Вы знаете, я покинул институт в 2007 году, т. е. семь лет назад, так как там ни для чего не мог сгодиться, кроме работы телефонным коммутатором и подателем чая, что мне представлялось, мягко говоря, нерациональным использованием моего потенциала. Ничего унижительного, после многолетней работы грузчиком, я в этом, разумеется, не видел, но имел дерзость думать, что мог бы принести Литературному институту пользу в более творческом качестве. Да, я до сих пор убе-

жден, что в пору моей последующей работы в “Литературной газете”, “Литературной учебе” и даже, возможно, в “Литературной России”, моя относительная молодость, мой приобретенный к тому времени технический опыт и мои возможности в поименованных изданиях позволили бы мне, чем черт ни шутит, вести поэтический семинар. Я мог не только грамотно разбирать со студентами их “пробы пера”, но и оказывать бесценную поддержку в первых публикациях, чего сам, числясь на семинарах Фирсова и Николаевой, был совершенно лишен. Но человек предполагает, а располагает Бог. Этого по разным причинам не произошло, хотя и Вы, и М.Ю. Стояновский, и Е.Ю. Сидоров (последние, как я догадываюсь, скорее декларативно) что-то собирались изменить в этом направлении. Убежден, что мысль была правильной, даже если бы она не имела ко мне никакого отношения: состав руководителей семинаров нужно резко менять, омолаживать, – руководить студентами должны люди, сами бывшие недавно студентами – 30-летние, готовые тратить и тратить силы не только на себя, но и на других... Увы (для меня – во всяком случае), этого не произошло.

В моем же случае, кроме того, и не произойдет никогда. В следующем году мне исполняется 40 лет; разные жизненные неурядицы сделали меня во многом другим человеком. И дело тут не только в моей нервной болезни – следствии нереализованных желаний и крушения планов. Штука в том, что с некоторых пор я полностью утратил иллюзии и вкус к “литературной жизни”. И Литинститут превратился для меня в эдакий мрачный символ этих утраченных иллюзий, в надгробие над моей молодостью.

Я с трудом пережил развод с женой, и возвращаться в то место, где когда-то мы оба с ней были так счастливы, для меня морально очень тяжело. Когда полтора года назад я был там в последний раз, после большого перерыва, то дал себе слово никогда больше не возвращаться в это грустное для меня место.

К тому же, в Литинституте у меня друзей, кроме Вас, нет. Нет больше Льва Ивановича. Пожалуй, еще только Оксана Лисковская, Сергей Арутюнов да Марина Драницына душевно ко мне относятся. В остальных я вижу только госпожу Молчанову, поливавшую меня грязью за то, что я, всегда отстаивавший честь Литературного института, посмел открыто высказаться против его бездарного руководства Тарасовым.

Читать стихи Молчановым? Увольте».

Еще вчера пришла «Литературная газета» с моей статьей о критике Е. Шегловой, нет Левы, и похвалить или поругать меня некому. Леня Колпаков сказал, что все нормально, на редакционной летучке к статье отнеслись хорошо. На этот раз не позвонила даже Галя Кострова, поглядим, что скажут коллеги во вторник. Я уже не помню, вставлял ли я текст этой статьи в Дневник, ну да бог с ней, со статьей. Зато позвонила Ольга Твардовская, благодарила за присылку Дневника и сказала, что теперь, как в свою очередь она сама, на мои дневники подседа и ее сестра Вера Александровна. Собственно, Ольга по просьбе Веры интересуется моим адресом. Вера, доктор исторических наук, хочет написать мне письмо, но уже устно сказала, что если я дотяну свой Дневник «до конца», то именно по нему будут ученые изучать эпоху. Пока медленно, но с интересом читаю Дневник за 2013 год, иногда удивляюсь: неужели это я?

**10 октября, пятница.** Утром тридцать минут ходил по стадиону, постепенно переключаюсь на лекцию в субботу, семинар во вторник

и встречу со студентами в МГИМО. Здесь надо накопить сил и для вступительного слова и для «экспромтов» во время занятий. Уже есть один пассаж из Достоевского, он может пригодиться для обоих семинаров. Это мое как для ленивого человека спасение – я сплю рядом с книжным стеллажом, утром снимаю том Достоевского, вечером статьи и эссе Набокова.

Вечером сегодня премьера «Леоноры» Бетховена в театре Покровского. Оперу слушал чуть ли не в детстве, ничего не понял. Какое-то монологическое пение в каких-то пещерах и подземельях. Как же много значит, кто ставит, кто дирижирует и кто оформляет. Мой добрый знакомый, Виктор Вольский, «сбил» это действительно монологическое, с большими музыкальными кусками действие на тесной площадке сцены, режиссер Михаил Кисляров все это с огромной находчивостью развел, а Геннадий Рождественский, гениальный дирижер, вдруг небольшой оркестр поднял на невероятную трагическую высоту. Будто раньше я слушал другую оперу. <...>

В антракте встретился и поговорил с Натальей Дмитриевной Солженицыной. Как всегда доброжелательна, спокойна, проста в разговоре. Чудные, неизвестные мне духи. Поговорили о школьных сочинениях, которые, собственно, именно после ее разговора с Путиным снова появятся в наших школах. Она сейчас входит в комиссию, которая разрабатывает условия. Не жалуясь, констатирует: входит в комиссию 10 человек, а практически работают только трое. Очень радовалась за Олега Павлова, когда я сказал, что он у нас в Институте. Говорили о всеобщем воровстве начальников всех уровней, о смене начальства у нас в Институте, об отношении к ушедшему Тарасову. Познакомил с Н.Д. Сергея Петровича Толкачева, он очень хорошо встроился в разговор.

**11 октября, суббота.** В одиннадцать часов уехал в Лит – там у меня в час лекция для старшеклассников о том, что такое публицистика. Как будто я знаю, как будто кто-нибудь знает, о чем здесь читать! У талантливого человека все идет в строку, а бездарному чурбану прочти хоть десять лекций, все рано не получится. Как обычно перед лекцией или перед семинаром, спал плохо и проснулся рано. Все эти лекции по субботам – московский и немалый грант, который Институт берет, чтобы, с одной стороны, просвещать молодежь, а с другой, чтобы накопить какие-то деньги. Я полагаю, что основные суммы расходятся на доплаты любимому начальству. По крайней мере, как мне показалось, этим достаточно свободно пользовался предыдущий ректор. Откуда тогда, плюс деньги за платное обучение, довольно значительные, существенные доплаты бухгалтерии и начальникам административного корпуса – чтобы сравнять их, несчастных, с профессурой, которой почему-то президентский грант полагается, а им нет. Уже и бюджет никого не удовлетворяет.

<...>

Хорошо, что в Институт поехал на машине – вернулся домой, в надежде поработать, но только успел с час полежать, и пришлось ехать в РАМТ, там сегодня премьера. Я всегда боюсь что-то существенное пропустить, потом не догонишь, да и Дневник прожорлив, как дикое чудовище. В искусстве и в жизни в искусстве всегда надо делать усилия. Но и на этот раз я не промахнулся, потому что сильный спектакль и настоящий театр, когда реальность и дыхание фантазии сливаются, и ты оказываешься на острие, как ножа, времени, не понимая, где вчера, где сегодня и как там, по другую сторону художественной реальности.

На этот раз Алексей Бородин предложил спектакль по сценарию, который лет пятьдесят назад был превращен в знаменитый фильм «Нюрнбергский процесс». Фильм-то я, пожалуй, не помню, кроме главного судьи – Спенсера Трейси и незабываемой Марлен Дитрих. Вот уж как была хороша, как тропическая бабочка, залетевшая в окно. Но здесь, кажется, все чуть по-другому, здесь американцы своим военным судят четверых судей фашистского режима. Тоже, между прочим, выполняли свой долг, присягу, были патриотами и спасали родину. А разве нельзя ради родины врать и судить? Спектакль идет два часа в одной декорации – это и пивная, и кабаре, и зал заседания суда. Магическим образом оживлено время 50-х, которое и я и, видимо, Бородин хорошо помним. Описываю все довольно скромно и скучно, хорошее вообще описывается плохо. Здесь на нашем театральном небосклоне блеснуло что-то подлинное.

Знаменательно, что эта постановка возникла в дни жутких историй на Украине. В программке спектакля, очень точной и содержательной, есть несколько биографий прототипов нацистских судей и американского прокурора Телфорда Тейлора, обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, одного из основных героев спектакля. «Со слов Тейлора были сформулированы принципы международного уголовного права: планирование агрессивной войны преступно; подчиненный отвечает за выполнение преступного приказа, если имеет сознательный выбор; любое преследование по политическим, религиозным и расовым мотивам есть преступление против человечности».

Зал выслушал все с невероятным вниманием, будто все и забыли, что это спектакль, и боялись аплодисментами тронуть действительность.

<...>

**12 октября, воскресенье.** Весь день, наконец-то, дома. Медленно двигаюсь по рукописи Дневника за 2013 год, собираюсь к послезавтрашнему семинару. День с утра – тяжелый. Вернувшись после зарядки со стадиона домой, опять рухнул на свой диван и смог подняться только в два, к обеду. Потом напечатал массу того, что мне прислали ребята, и принялся читать рассказы сначала Матвея Шуршикова, потом Ильи Вершинина. Оба ребята очень перспективные, но обоим не хватает общего обзора происходящего. Илья пишет, будто все знает – и место, и объект, и людей, о которых пишет, а Матвей, который написал несколько прекрасных сцен детских драк и об отношениях среди пацанов в школе, вдруг все решает сентиментальной «мезью». Гадкий утенок, которого все бьют, превращается в лебедя, в мировую поп-звезду.

<...>

**13 октября, понедельник.** Когда был в Институте, то на столе нашел приглашение на пресс-конференцию, Николай Иванович Рыжков написал новую книгу. Но рядом с этим листом бумаги лежал и большой пакет. Не распечатывая, твердо уверенный в том, что это, конечно, книжка Н.И., которую он мне перед конференцией прислал, я положил пакет в рюкзак. Кстати, подчиняясь судьбе парных случаев, дня за два до этого снял с полки последнюю книгу Рыжкова и уже долго не мог оторваться – глава о времени развала СССР, Николай Иванович тогда премьер-министр, это Яковлев, Горбачев, вся история с «секретными протоколами», которых в архивах не было, двойственность наших либералов – невероятно интересно. И вот, новая книга и пресс-конференция, опять парный случай. Но время идет, проходит с субботы еще один

день, начинаю складывать рюкзак на вторник, в частности пытаюсь запихнуть свое Собрание, которое надписал для Аннинского, вынимаю и распечатываю пакет – драгоценный подарок, три тома «Дневников» А.Т. Твардовского. Это прислали дочери – Ольга и Валентина. Сразу, отложив все, сунулся – невероятные истории новомирского времени. Мое время и моя жизнь. «Дорогому Сергею Николаевичу Есину – с добрыми чувствами и добрыми пожеланиями. Москва, 2014» Имена двух сестер, дочерей А.Т.

Беда моего положения в том, что все, что я вижу, многое из того, что я читаю, я уже не могу охватить и как следует переварить. Но все равно, какая жадность все узнать и всюду сунуть свой нос.

Сидел, как обычно, в понедельник дома, читал материалы к семинару, подбирал цитаты, смотрел в окно, читал верстку, много разговаривал по телефону. Вечером Ашот, который так любит чужую жизнь, принес мне интервью Алексея Варламова, напечатанное в «Известиях». Хороший, продуманный текст, правда, предельно осторожный. Единственная упомянутая в тексте фамилия – моя. Поэтому и выписываю цитату.

«– Вы назначены и. о. Что дальше? Выборы?»

– Да. Но четких сроков нет. Все будет зависеть от ситуации в институте. Конечно, мне бы хотелось остаться на этой должности не на несколько месяцев. Но выборы есть выборы.

– Не опасаетесь, что должность помешает творчеству?»

– Жить в том относительно размеренном ритме, в котором я жил предыдущие годы, теперь вряд ли удастся. Но я это понимал, когда взвешивал “за” и “против”. Только что я закончил роман “Мысленный волк”, который писал несколько лет, и книгу о Шукшине для серии ЖЗЛ. Так получилось, что когда была поставлена точка, поступило это предложение.

Все, что происходит с каждым из нас, не просто так, оно продумывается судьбой, которая дает нам те или иные возможности. И не любит людей нерешительных. И потом эта работа тоже может стать материалом для какого-нибудь романа. Хотя о Литинституте уже много написано, жанр опробован Сергеем Николаевичем Есиным: он вел дневник ректора и написал роман».

<...>

**16 октября, четверг – 17 октября пятница.** Каждое утро выхожу на один час на стадион, быстрая ходьба и маленькая зарядка. Потом сажусь и вычитываю Дневник. Дневник очень неровный, есть пассажи интересные, но как во всем этом, несмотря на все ахи рецензентов, разберется будущий читатель, не представляю. Не пора ли заканчивать, или искать какой-то иной ракурс. К сожалению, пропустил презентацию книги Николая Ивановича Рыжкова, стыдно перед ним и сожалею, потому что наверняка было бы интересно. Без секретаря при интенсивности моей работы трудно. А главное, почти ничего нового не читаю. Между надоедающими страницами Дневника что-нибудь беру новое или уже прочитанное, нет прежнего восторга.

Вечером приходил Юрий Иванович, на один день он приезжал из Ленинграда. Новости довольно безрадостные, рассказывал, как снимали с работы Ольгу Борисовну Кох. Против нее восстала стая театроведов. Министру, обкусанному вокруг, как олень во время травли, и правыми и левыми, уже стало все равно – и направление, и конечный результат работы знаменитого Института истории искусств. Модой стали, как в советское время, коллективные письма и – это новое – соревнователь-

ные концепции. Между прочим, в комиссии по рассмотрению концепций, оказался и Гриша Заславский, объективности которого я всегда доверял. <...>

Сегодня, т. е. в пятницу взялся пересматривать книгу Готфрида Бена, нашел в ней мои пометки и закладки, все при чтении очень увлекает, но ведь я ничего из ранее прочитанного у этого автора, не помню. Вот соображение о бедственном положении подлинного всегда, во все времена.

«Нельзя забывать, что в самый великий век европейского существования, в основополагающее столетие бытия Запада, на которое мы вплоть до сегодняшнего дня ежечасно оглядываемся, Эсхил, поэтический гений которого не утратил своего величия до наших дней, участник сражения при Марафоне, несколько раз – в общей сложности трижды – принимавший участие в воспевании Олимпиад, не понятый и одинокий, покинул свой народ и умер вдали от него; что издатель Гете еще в 1800 году вынужден был прикидывать, сможет ли он продать 300–400 экземпляров книги автора Гете, тогда как роман о разбойниках “Ринальдо Ринальдини”, написанный его шурином Вульпиусом, разошелся большими тиражами. Так не должно быть, какая-то повторяющаяся особенность здесь есть».

Днем был некий молодой человек, журналист, Валерий Скворцов – оказывается, чуть ли не каждый год создается – этим занимается некая западная фирма – словарь успешных людей. Это не самые выдающиеся люди, а профессора, ученые, люди бизнеса и средние люди политики. Том очень толстый, с золотым форзацем и в картонной коробке – чуть ли не 10-12 тысяч статей. Статья создается по особой схеме. Сидели, наверное, час, укладывали в схему моих родственников, отца, деда, маму, судьбу трудно уложить в две строки. Собрал для корреспондента несколько ксероксов из прежде вышедших словарей и справочников. «Проект» этого материала мне вышлют, и потом мне придется все довершать. Я поинтересовался сбытом, в основном это расходится по редакциям и большим библиотекам, для рядового читателя стоимость тома – 300–400 евро. Вот так иностранцы в России и работают – сборник, конечно, оплачивается внутренними, русскими деньгами, но какое подспорье для своей и чужой разведки.

<...>

**19 октября, воскресенье.** Еще несколько дней назад твердо знал, в ближайшие дни надо ехать на дачу. Основное – спустить воду из бойлера в бане и бойлера на кухне. Думал еще о том, что остался не выкопанный сельдерей, но это у меня крестьянское. В моем счастливом возрасте, когда все отсчеты уже позади, все-таки думаешь: а вдруг! А вдруг все продолжится, судьба отпустит еще одну серию! И тогда это уже не заботы наследников, а тебе самому возится с текущим бойлером и чинить водопроводную трубу. <...>

Приехали уже где-то около восьми, весь поселок темный, но ворота, включающиеся от сигнала телефонного звонка, работают. Электричество есть! Поели горячее и даже посмотрели телевизор. Включили, естественно, все электрические обогреватели и отопление, которое у меня на антифризе. Все меньше телевизор воспринимается как события, касающиеся тебя, и все чаще как некий иногда даже трагический развлекательный сериал. <...>

Утром прочел три новых рассказа Миши Тяжева, это все очень хорошо сделано, но все чаще чувствуется общее лекало. Я раздумываю,

как об этом Мише поделикатнее сказать. Почти одна и та же интонация, близкие ситуации, почти везде действует грустный одинокий мужчина. <...>

В Москве принялся читать начало повести Володи Артамонова – превосходно, но из-за мелочей на него наша семинарская демократия все-таки набросится; попутно обдумываю, что буду говорить ребятам в МГИМО.

**20 октября, понедельник.** К середине дня все-таки расхотелся, слабость чуть отступила, возможно, это от резких скачков атмосферного давления. Стрелка на большом барометре, который на семидесятилетие подарил мне Поляков, прыгает из стороны в сторону. Утром весь двор оказался белым от снега, за ночь выпало чуть ли не десять см., но к обеду потеплело. Уже не делаю зарядку, не хожу утром гулять, снова принялся жевать свою старость. Правда, в поисках иллюстраций к моим занятиям в МГИМО, стал рыскать по своей библиотеке. С горечью обнаружил, как много осталось из-за сутолоки непрочитанным. Я все это собирал в надежде на спокойную старость, на террасе, с пледом и книгой на коленях. Еще раз убедился, что никакое компьютерное собрание не дает такого поля для интеллектуального подбора и для работы собственных мозгов, ассоциативных связей. Пока читал мемуары Гюнтера Грасса, мемуары Эренбурга и полистал дневники Толстого. Я хочу послезавтра рассказать ребятам, чем отличаются мемуары и дневники. Но ни мемуаров Сен-Симона, ни мемуаров Казановы не нашел – хотя они точно где-то стоят на полках. Заставлю себя раз в неделю просто рыться, переставлять и вытирать от пыли книги, многое здесь вспомнится.

Из событий сегодняшнего дня это большая статья в «Известиях», которую мне в почтовый ящик подложил Ашот. Речь идет, возможно, о самой дорогой и престижной собственности в Москве – о здании Союза писателей России. Вроде бы его хотят отремонтировать, а потом к трепетной лани присоединить и коня. В одном здании с Союзом писателей поселить и ПЕН-центр. Это уже вызвало брожение, но, оказывается, к этому еще присоединяется и коррупционная составляющая. Всего не перечисляю, здесь и ресторан, и бывшие компаньоны по бизнесу у нашего министра – это, конечно, меня удивило, и жена министра, у которой, кажется, есть свое дело. Статья деликатно называется «Минкульт заподозрили в лоббизме». Естественно, в центре всего скандала: а не собираются ли в памятном доме открыть новый ресторан – один, в подвале, там уже есть. Но вот «вкусный» абзац.

«...в здании Союза писателей может открыть ресторан организация, руководство которой сами члены СП подозревают в связях с бывшими бизнес-партнерами и членами семьи главы Минкультуры Владимира Мединского.

<...> кроме того, по информации “Известий”, в сентябре 2013 года между подотчетным Минкультуры ФГБУК “Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры” и Автономной некоммерческой организацией содействия развитию кулинарного искусства и культуры общественного питания был заключен договор аренды подвала здания на Комсомольском проспекте, где располагается Союз писателей.

Учредителями АНО выступают Владимир Новых и Александр Чуреков. Господин Чуреков одновременно с этим является генеральным директором в других компаниях. Среди них, к примеру, ООО “Анкор девелопмент” – его единственным учредителем является давний

бизнес-партнер Мединского Егор Москвин. В свое время вместе они создавали коммуникационную группу “Корпорация Я”. Кроме того, Чуреков гендиректор ООО “Арсенал”, где совладельцами являются Егор Москвин и супруга министра Марина Мединская, а также ООО “НС Имбиларе”, где участниками общества являются Марина Мединская, Татьяна Мединская (сестра министра), Ростислав Мединский (отец министра) и все тот же Егор Москвин».

**21 октября, вторник.** Поехал в Институт довольно рано, потому что помнил, что должен был состояться разговор с Варламовым. Но у Алексея Николаевича оказались другие планы, он меня предупредил, и время у меня не пролетело даром. О семинаре кратко – обсуждался опять Володя Артамонов, налет, как я и предполагал, состоялся. Начал наступление в очень острой форме Илья Вершинин, кстати, еще недавно сосед Володи по комнате. Фрагмент, который Володя представил, мне нравится – по внутреннему состоянию это русская, несколько склонная к очерку, но – проза. Во время семинара я понял, что нелюбовь к тому, что делает Артамонов, связана в первую очередь с его заносчивостью, с его индивидуализмом более старшего и опытного. Илью он разозлил, вставив в свою повесть пассаж про своего бывшего соседа. С одной стороны, без таких деталей быта можно было бы и обойтись, с другой – если бы Илья, которому я симпатизирую, не обозначился, то никто бы и не узнал, что некоторые пассажи работы именно о нем.

Вечером, когда после семинара я на кафедре распивал чай с Надеждой Васильевной, пришел Миша Стояновский. И почти сразу вдруг появился Варламов. Он, оказывается, как я неправильно понял утром, поехал не в Тулу, в Ясную Поляну, а в Москве где-то собралось дружное и ладно работающее жюри этой премии, спонсируемой одно время «Самсунгом», и присудило очередные награды. А.Н. – теперь в Дневниках буду его называть для краткости так – даже сообщил имена новых лауреатов. Одного я точно запомнил – Роман Сенчин, другие потихонечку всплывут. Практически тут же начался наш «откровенный разговор» об Институте, о котором я писал уже раньше. И мне он был нужен – чего таить в себе разные сомнения, а вместе с ними и моральную ответственность, – и новому ректору А.Н. нужны уже готовые рецепты. И все-таки, и все-таки я, чтобы быть предельно объективным, попросил присутствовать при разговоре и Надежду Васильевну, и Мишу. Анализ работы кафедры, каждого ее члена. Проблемы, как мне они кажутся, прошлого рабочего режима, проблемы, которые неизбежно встанут перед каждым ректором. А.Н. не очень представляет, что работа ректора в маленьком вузе – еще и очень серьезная работа хозяйственника. Я сказал, что за время своей работы я подписывал все до единого денежные документы и тщательно все контролировал. Сказал, что знаю схему институтской канализации и побывал на всех институтских чердаках и крышах. Рассказал, что не только за собственные средства Института построил флигель, в котором сейчас пропускной пункт, но и переложил – добившись этого от Минкульта – ограду со стороны Тверского бульвара. И здесь Надежда Васильевна спросила, почему в Институте перед каждой зарплатой идут разговоры, что нет денег.

Из вопросов так сказать морального климата я рассказал и о двух-трех наших выборных собраниях, и об атмосфере тайны и особой секретности, которая семь последних лет царила в Институте. Все потом разошлись, я поехал домой с ужасом от того, что уже два дня не пишу дневников.

**22 октября, среда.** Похолодало, но все равно от станции метро «Проспект Вернадского» пошел пешком, автобуса ждать не стал. Уже на подходе к МГИМО вдруг впереди увидел грузную, тяжело шагающую мужскую фигуру. Так издали похоже на покойного Льва Ивановича, но сразу сердце оборвалось – его уже нет. Завтра в институте будет конференция, посвященная его восьмидесятилетию.

Видимо из-за снега, опять на занятиях было полгруппы. Предварительно ребята прислали тексты; художественные силы неравны, но люди все, безусловно, способные. Замечательно – уже третий материал – пишет Александр Белов.

Волнения по поводу занятий с этими студентами у меня пропали. Я уже выработал стратегию: надо со всех сторон, с жизненной и со стороны культуры, повышать уровень – пункт «а»; и пункт «б» – за семестр, который мне на предмет отпущен, хотя бы пунктирно рассказать о жанрах, приемах, манерах, опытах того, что можно отнести к понятию «литературное творчество». Ворошу свою библиотеку, выбираю цитаты. Кое-что из только что освоенного, в смысле чтения, переношу из одного семинара в другой, хотя страсть как не люблю повторять и повторяться. На этот раз как иллюстрации к тому, о чем мы говорили прежде, принес отрывки из «Годы, люди, жизнь» Эренбурга – это мемуары; из Гюнтера Грасса «Луковица памяти» – здесь беспощадность к себе мемуариста. Прочел и кусок из Борхеса – «эссе» и одновременно рецензия на книгу. Здесь «Процесс» Кафки, роман все прочли. На следующий раз решил провести занятие на Бронной, на Чистых прудах – реальность и действительность – это тема занятий, тряхну своими воспоминаниями о «турникете».

После занятий успел отдышаться и передохнуть – к половине седьмого надо быть у первой от метро колонны Большого театра. Сегодня генеральная репетиция «Легенды о любви», балета Юрия Григоровича, возобновляемого после многолетнего перерыва.

До похода в театр успел просмотреть пришедшую пачку газет. Естественно, подробнее «Литературку». На первой странице Ю. Поляков комментирует первое заседание Оргкомитета по проведению Года литературы. Выписываю, потому что и смешно и едко. «Не обошлось и без курьезов. Так, исполняющий обязанности ректора Литинститута А. Варламов попросил в рамках Года литературы озаботиться ремонтом помещения этого уважаемого заведения. Н что тут сказать! Здание “Литературной газеты”, которой в Год литературы исполнится 185 лет, тоже нуждается в ремонте...» Умеют ребята!

Конечно, я опять в театре, это опять Саша Колесников все устроил. И посадил роскошно – шестой ряд. Кстати, утром опять просматривал его прекрасную монографию о Легаре. С какой редкой обстоятельностью и точностью все написано! О, если бы все успевать подробно и размеренно читать!

Драгоценные камни и цветы сравнивать трудно, но, кажется, это все-таки лучший балет знаменитого мастера. Об исполнителях здесь не говорю, все были, а особенно кордебалет, на высоте гениальных фантазий балетмейстера. На символический сюжет Хикмета Григорович наложил еще и мистику судьбы, времени, обстоятельств. Загадочно, прекрасно и невероятно современно. Не прекращаясь, без единого сбоя, прекрасные «тексты» льются со сцены, возвышая собственное твое сердце. Обидно, что, как мне кажется, помельчала, обеднела и постарела публика подобных генеральных репетиций.

&lt;...&gt;

**23 октября, четверг.** <...> К одиннадцати поехал в Институт, сегодня очередные «Горшковские чтения». На этот раз они будут посвящены не 91-летнему Александру Ивановичу, а Леве. <...>

В открытых воротах Института, на въезде вдруг увидел со спины женскую на костылях фигуру. Я сразу понял, что это Татьяна Николаевна Архипова – она долго, долго работала слевой, сейчас на пенсии. Больше некому, и не ошибся.

Конференция открылась добротным выступлением Варламова, который вспомнил и нашу совместную работу слевой и с ним в жюри Горьковской премии. Материал подобрал и по работе Левы в «Литературной учебе». Я, честно говоря, после ухода из журнала Максима, журнала не читаю. Максим приносил на кафедру каждый номер.

Потом выступил я, в основном базируясь на своем написанном летом тексте. Вчера ночью, конечно, просыпался, прикидывал, как я все это скажу. Кажется, получилось, хотя, конечно, лучшим было выступление Ярослава Скворцова, он вспоминал отца, его жизнь, свою семью – замечательно тепло, но так и должен говорить сын. Я дождался двух объявленных в программе докладов: А. Ужанков «Секулярное Предвозрождение и Духовное Возрождение (О некоторых тенденциях в древнерусской культуре и литературе XV–XVI веков)». Мне показались рассуждения Ужанкова слишком головными, почти отрицающими естественное взаимопроникновение тенденций и культур. В это время Россия вернулась к истинному, византийскому, до монгольского нашествия православию. Доклад Б. Тарасова «Мировоззрение исследователя как методологическое препятствие в литературных изысканиях» мне показался любопытным по постановке вопроса, но очень спорным по существу. Это какое же литературное искание возможно без идеологии, без точки зрения исследователя, часто принадлежащего к другому времени. Примеры Тарасов приводил из Тютчева и Достоевского, подтягивая классиков к своему, довольно суженному пониманию. Примеры из Юрия Корякина меня не убедили – человек другого видения и сумасшедшего времени.

&lt;...&gt;

Вечером заглянул в почту – письмо от Марка Авербуха и маленькое сообщение от Ярослава Соколова. Ну, Ярослав всегда пересылает мне что-нибудь забавное.

Итак, Московское отделение Союза писателей России собирается – это инициатива Владимира Бояринова – заочно вручить членский билет Союза знаменитому американскому боксеру Майку Тайсону. Это, конечно, громкая пиар-акция перед приездом в ноябре боксера и презентацией через несколько дней книги «Тайсон. Беспощадная истина». Вот она, энергичная и самоотверженная работа его промоутера! В электронной заметке, распространяемой ТАССом, кроме боевых достижений будущего члена СП России есть и фрагменты жизнеописания. «Тайсон отбыл три года тюремного заключения в 1992–1995 годах за изнасилование. В 1997 откусил во время боя кусочек уха у Эвандера Холифилда. В 2005 году Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру».

В связи с этим мероприятием вспомнил и другое, в свое время вымышленное телевидением, когда – за деньги разумеется – нахваливая и восхищаясь, членский билет писателя вручали подставному лицу, актеру, якобы банкиру, представившему книгу стихов. Имя банкира легко

и весело расшифровывалось Б. Сивко – Бред сивой кобылы. Стихи, как признались шутники с телевидения, слеплены компьютером.

И последняя литературная параллель: невероятно забавная карикатура и фотография чуть ли не во всю последнюю страницу «Литературной газеты» по поводу битвы Ивана Переверзина за руководство деньгами писательских организаций. Очень смешно и очень страшно – люди в президиуме и в массовке очень немолодые!

Марк – это особая статья, чуть позже, пора спать.

**24 октября, пятница.** Начну все-таки с письма. Марк прислал письмо, как всегда, полное «художественных» описаний его собственной жизни. Как, наверное, и все мы, старые люди, он мечтал о свободной и интеллектуально полной старости, а жизнь распорядилась по-другому. Но это уже свойство характера. Впрочем, один абзац из письма друга я все-таки процитирую – слишком уж все похоже.

«Характер у меня слегка зашкаливает в негативную сторону, стал менее способен к компромиссам. С одним отношения разладились из-за его требований разлюбить Евтушенко, с другой – не поддерживать Обаму, третьему не нравится, что не с теми дружу, четвертому – что мало ему помогаю. Прихожу к выводу, что жить в одиночестве – большое искусство, требует стойкого мужества и вообще ценная черта характера. Учусь. Одного-двух я таких знаю».

Опускаю замечательный и вкусный эпизод – Марка тянет на «художественность» – прогулки американского пенсионера по торговому центру два раза в неделю, замечательные и трогательные наблюдения, и иду к эпизоду, который на меня произвел уже совершенно другое впечатление. Но это связано с тем, что трудолюбивый интеллектуал Марк решил попробовать себя в качестве переводчика. Здесь требуется некое предупреждение. Я, чтобы не пересказывать «чужое», опять прибегну к цитированию. В цитате появится некий Эд, фамилия его Вайс, он уже давно умер. Эд – сосед моего Марка, живший напротив, еврей, видимо, не без когда-то русских, читай – российских, корней. Но в цитате же некоторые точные приметы американского быта. Чем-то мы все-таки отличаемся от американцев.

«Приблизительно в 2005 г. – точную дату не знаю – жена Эда скончалась. В “доме напротив”, в течение двух дней была организована распродажа всей домашней утвари: мебель, посуда, одежда, электрика и т. д.

Памятуя о любви Эда к книгам, я решил посмотреть его библиотеку...» Здесь я опять произведу некоторые сокращения, потому что подробности об одиночестве меня всегда страшат. И вот дальше:

«Я нашел несколько замечательных книг: двухтомник полного собрания рассказов Сомерсета Моэма и красочный альбом “Мир Эжена Делакура”. Затем подошел расплатиться к человеку, принимавшему деньги, и обратил внимание на находившийся рядом с ним таз. В нем были беспорядочно разбросаны десятки семейных фотографий и несколько однотипно выглядящих книг явно кустарного изготовления. Довольно емкий манускрипт с машинописными страницами, переплетенный воедино пластиковой лентой. Такой переплет обычно делают в канцелярских магазинах Office Max. На передней странице дружеский шарж на молодого симпатичного паренька: огромная голова, добрая улыбка, короткое туловище, очки, удлиненные туфли.

– Это мемуары моего отца, – последовал ответ на мой молчаливый вопрос.

– Я встречал вашего отца. И сколько стоит книга?

– Один доллар.

Психоанализом я не владею, не знаю, что меня больше поразило: цена за книгу мемуаров, или интонация, с которой она была произнесена. Но ключевое слово в предыдущей фразе – поразило – точно отражает состояние встрепенувшегося сознания».

Страшная, конечно, для нас русских сцена, но Марк слишком долго жил в Харькове и многие годы говорил только по-русски. Конец этой американской истории, конечно, ясен. Через много лет после первого чтения рукописи своего соседа Марк прочел ее еще раз и решил перевести и издать. Вот аргументы Марка: «Это не только хроника жизни одной из миллионов семей, но и исповедь талантливого, просвещенного, думающего человека, обращенная к членам его семьи, но я уверен – не только!»

Вот так созрело решение попытаться перевести мемуары Эдварда Вейса на русский язык. Задача для меня, непрофессионала, очень сложная. Да уж как получилось, впрочем, не по недостатку усердия. В переводе встречается ряд многоточий. Опущены те места, которые представляют лишь узкосемейный интерес.

И в заключение, надеюсь, что те, кто возьмутся прочитать “Фрагменты памяти” Эдварда Вейса, отметят, что он –

\* был “в толпе собою” (“И если можешь быть в толпе собою” – Киплинг)

\* “интересен был среди людей / самую незаметностью своей” (Евтушенко)».

Для себя как писатель я отметил основную деталь: таз и доллар. О том, что все, что останется после меня, ждет почти наверняка такая же участь, я не думаю.

Теперь подлинное и счастливое начало дня – приехал Максим Лаврентьев и привез авторские экземпляры книги. Мне кажется, издано роскошно. Я даже смею предположить, что эта книга найдет своего настоящего читателя. Книга и подлинна, и сентиментальна. Что напишет критика? Все хлопоты по этой книге Максим взял на себя. Максим редкий по чувству благодарности человек. Вместе читали по Интернету очередную инвективу против Максима Вячеслава Огрызко. Ощущение, что здесь нечистая и виноватая совесть.

Под вечер поехал в гости к Нелли Васильевне Мотрошиловой.

<...>

**25 октября, суббота.** Накануне все-таки перед сном прочел первую главу книги А.Н. Круглова о Канте. Вот первая добыча: Кант, отзвуки его дыхания, в творчестве Пушкина:

«– Идеи “незаинтересованности суждения вкуса” и “целесообразности без цели”, выраженные в виде поэзии как цели поэзии и протеста против эстетического утилитаризма;

– Трактровка возвышенного;

– Учение о “гении” и учение об идеале как цели искусства, соотношение гения и таланта;

– Идея о свободе гения от правил и ограничений;

– Преломление учения об антиномиях в “Борисе Годунове” при посредничестве “Истории государства Российского” Карамзина;

– Проблема связи прекрасного и доброго;

– Понимание человека как цели, а не средства или орудия;

– Скептическое отношение к обучению “шутя”;

– Общий гуманистический пафос».

<...>

Вечером некое телевизионное соображение. На кухне, пока ел гречневую кашу, включил на последних кадрах передачу, где наши так называемые звезды эстрады демонстрируют парное катание с подлинными звездами спорта. Все у этих звезд эстрады достаточно коряво, жюри, в котором сидели все-таки люди известные, рассыпалось в неискренних комплиментах и поздравлениях. В жюри главная сваха России Лариса Гузеева! По занесенной к нам свободной манере наши звезды обнимались и, не выдерживая наплыва чувств, истошно кричали. На какой же низкий жеребячий вкус все это рассчитано!

Переключил на «Культуру» и оторваться уже не смог – «Большая опера» – конкурс молодых певцов, поют современную музыку. В центре всего этого действия великолепная всегда и везде, настоящая дива и звезда – Елена Образцова.

<...>

**28 октября, вторник.** Все до предела скучно – перед семинаром по обыкновению плохо спал. Уже точно известно, что текста для обсуждения не будет, придется выворачиваться. Попытался пригласить к себе на семинар Александра Проханова. С одной стороны, это просьба самих ребят, которые побывали на его презентации, с другой – я никогда не зову писателей не первого ряда, чтобы просто закрыть амбразуру. Позвонил Саше, но он как раз оказался на Валдайском форуме, где выступал Путин. Во вторник – не может, уезжает на Донбасс. <...>

Как ни странно, заняв два часа разборами по очереди всех этюдов студентов, получил и я удовлетворение, и ребята. Почти в каждом этюде была или интересная мысль, или находился предлог для спора. Если бы у меня были отношения с «Литературной Россией» я бы, пожалуй, сделал бы для них любопытный материал. Но и отсутствие стенографистки в Институте тоже не облегчает работу. Если в целом семинар прошел хорошо, ребята много интересного услышали друг от друга, то я получил удовлетворение от хорошего интеллектуального штурма. Два часа на арене, целый моноспектакль.

<...>

Дома на компьютере небольшая «пересылка» от Миши Тяжева, внимательно следящего за Интернетом. Хвастаюсь.

«Литературные итоги 2013 года (десять лучших книг по версии Андрея Аствацатурова):

- 1 Андрей Иванов «Харбинские мотыльки».
- 2 Илья Бояшев «Эдем».
- 3 Михаил Елизаров «Мы вышли покурить на 17 лет».
- 4 Вадим Левенталь «Маша Регина».
- 5 Алиса Ганиева «Праздничная гора».
- 6 Валерий Айрапетян «Врай».
- 7 Ильдар Абузяров «Мутабор».
- 8 Александр Снегирев «Чувство вины».
- 9 Сергей Есин «Дневник-2011».
- 10 Анна Старобинец «Икарова железа. Книга Метаморфоз».

Приятно. Андрей опытный читатель, но одновременно это еще одна программа для чтения. Надо достать и посмотреть. Почему, скажем, не пригласить на семинар Елизарова?

**29 октября, среда.** В одиннадцать часов на Пушкинской площади, возле неработающего «Макдональдса» встретился со своими студента-

ми из МГИМО. Это занятие по плану курса «литературного мастерства». Реальность и фантазия писателя. Практически это по маршруту и местам действия «Мастера и Маргариты». Показал институт как Мас-солит, потом прошли на Патриаршие пруды. Я-то ведь помню еще и «турникет», на котором катался в детстве. Закончили все музеем Булгакова на Садовой. Накануне я попросил Мариэтту Омаровну походатайствовать за меня перед музеем. Встретила нас изумительная женщина, Зоя Александровна, хорошо одета, с замечательной речью, все показала, рассказала. Обязательно пошлю ей книги.

<...> Уже дома из почтового ящика вынул поразительное письмо. Это Вера Твардовская, дочь Александра Трифоновича. Все довольно большое письмо перепечатывать у себя в Дневнике неловко, здесь приблизительно то, о чем мы с ее сестрой Ольгой говорили по телефону. Но вот отдельные фрагменты.

«Я уже было знакома с Вашим Дневником ректора (2000 или 2001 г.), который брала в своей районной библиотеке. Сейчас хотела оживить его в памяти, но его уже там, в библиотеке, не оказалось, как и вообще книг С. Есина. Зато целая отдельная полка у Дины Рубиной, как и у Л. Улицкой и у Аксенова. Томики новенькие, видно, не часто бывают “на руках” у читателей. Советские писатели, как правило, стоят в своих старых, доперестроечных изданиях. Ваш Дневник, когда я его брала, уже был достаточно потрепанным. Можно надеяться, что он сейчас просто “на руках”, а не пропал. Я и тогда читала его с интересом, но текст 2011 г. стал значительно богаче по самой фактуре».

Очень важен для меня и следующий отрывок. Сколько уже раз я встречался с подражателями! Жанр дневника, предложенный мною, кажется очень легким, органичным, пою, дескать, что вижу. Только многие недопонимают, что это «вижу» я часто не только конструирую, но и, порой, его сам и создаю, потому что иду навстречу событию. Как точно Вера Александровна это обнаружила, порода.

«Вы упоминаете о каких-то последователях этому жанру с вашей “легкой руки”. Мне таковые не попадались. Это лишь на первый взгляд может показаться, что вам легко “последовать”. Для этого нужно не только огромное трудолюбие и терпение, но и определенный литературный дар. И то, и другое, и третье встречается редко даже по отдельности. Сейчас вести такой дневник вряд ли смог кто-нибудь кроме вас. Поэтому и мне захотелось присоединить свой голос к тем, кто стремится утвердить вас в намерении продолжать это нелегкое и столь важное дело. Ваши Дневники – добротное литературное произведение, во многом помогающее современному читателю разобраться в происходящем вокруг. Но для меня, историка, несомненно, что они будут оценены и как серьезный источник для изучения нашего времени».

И опять Вера Александровна очень точно вскрывает причину, по которой я не осмеливаюсь прекратить писать. Здесь дополнительная надежда. Такое ощущение, что Твардовская списывает мои самые тайные мысли. А я ведь не только писатель, но еще и исследователь. Опять попал, не ошибся. Значит, Есин, будь терпелив.

«Здесь в самых разных проявлениях зафиксированы черты действительности 2000-х гг., в их сложном переплетении. Здесь и политика (внутренняя и внешняя) с ее лидерами, и общественное мнение в его разных направлениях, и культура во всей ее нынешней пестроты, и быт в своей обыденности. И то, что все это в вашем изложении не расчлениено, а предстает в нераздельной слитности и цельности – как в “живой

жизни” – и делает Дневники ценнейшим источником для постижения нашей эпохи. Ни один из ее исследователей не обойдет Дневников С. Есина – своеобразного ее хроникера. Используя специфическую исследовательскую терминологию, можно сказать, что они уже входят в “научный оборот”. Надо продолжать начатое, тем более что сделано уже так много. М. б., не стоит отвлекаться на ответы тем, кто по своей ограниченности не понимает смысла предпринятого вами. Надо беречь силы и концентрироваться на главном».

Но справедливый и бескомпромиссный дух семьи и главным образом отца, витает над этим письмом. Было бы нечестным, если бы я скрыл менее комплиментарные моменты.

«P. S. Это моё самое основное впечатление от Вашей книги не означает, конечно, что я со всем в ней соглашусь. В частности, расхожусь с характеристиками ряда личностей, представленных здесь. О некоторых персонажах вы, человек по природе своей доброжелательный, судите на мой субъективный взгляд, несколько поверхностно. В частности, о Солженицыне и его биографе Сараскиной. Метко определил биографию этого писателя, ею написанную, как “карамельно-мифологическую” Ю. Поляков. Мы с сестрой вполне одобрили его реплику об уже развернувшейся подготовке к юбилею Солженицына в 2018 г. Ю. Поляков напомнил о симпатиях А.И к бандеровцам и власовцам, которые на фоне юбилея Победы в 1945 г. выглядят вызывающе. Но стоило бы сказать ему и о “Пире победителей”, где наши солдаты представлены грабителями и насильниками. Не случайно А.И так и не решился это свое произведение дать прочитать Твардовскому».

**30 октября, четверг.** Весь день практически, кроме английского в метро, ничего не читал, не писал. Правда, утром в постели из того, что рядом на полке – из «случайного чтения», – взял давно уже подаренную книгу Бердникова «Евреи государства Российского». Узнал, что Софья Палеолог, Софья Фоминишна, была, как и следовало племяннице византийского императора, редкой интриганкой и отравила старшего сына и наследника своего мужа, а если бы этого не случилось, то не сидел бы на троне ее внук по прозвищу Грозный. Так делается история. Второе – слово «патриот» в русский обиход внес, оказывается, любимый еврей Петра Великого, дипломат барон Шафиров.

Постепенно начинаю пропитываться духом нового романа, но это короткие, как всхлип, мысли уже через весь день. Начну с утра.

Встал, как всегда, в семь и пока пил чай, принимал таблетки, варил кашу, размышлял над тем, что говорило радио. О чем оно говорило? Сначала об очередных санкциях, которыми пытаются выстегать Россию. У журналистов репертуар невелик, цена на рыбу в магазинах, пустоватые прилавки, пустоту которых я не заметил, потому что не отовариваюсь в дорогих гастрономах «Империи вкуса», а в пролетарском «Ашане» и без сыра бри переживу. Но вот о чем я еще подумал. Санкциями, нас, конечно, не испугаешь, но они, пожалуй, сыграют совершенно иную роль. Они вызывают чувство лжivosti Запада – этого хранителя чести, чувство его ненадежности, двуличия и отчетливое понимание, что и у нас не все в полном порядке. Возникает ощущение, что, пожалуй, Сталин, когда старался не рассчитывать на Запад, а стремился опираться на собственные возможности, не так уж был неправ.

<...>

**31 октября, пятница.** По случаю вручения сегодня почетной грамоты президента, надел не как обычно куртку, а почти новое пальто.

Обратно из министерства шел как значительное лицо: дорогое пальто, шарф, букет в одной руке, а в другой – роскошная коробка с гербом, в которой грамота. После вручения очень неплохо – пирожки, канале с рыбой и ветчиной, чай, пряники, фрукты, среди которых и глава роскоши ананас – накормили. Я теперь знаю, что Министерство образования и науки – это министерство, где хорошо кормят. Все было очень интересно.

Приехал, конечно, в Институт на машине, министерство рядом, на Тверской, сразу за Моссоветом. Такой величавой имперской роскоши я, конечно, не ожидал. Это еще сталинский послевоенный дом, как раз напротив того дома номер шесть, в котором мы с мамой сразу после войны несколько месяцев жили, когда нас выселили из квартиры в Померанцевом переулке. В шестом доме жила и Сусанна, на балконе квартиры которой я однажды оказался в одних трусах и с целым ворохом одежды в руках. Неожиданно явилась тетка. Это был конец рабочего дня, лето, в доме напротив, в каждом окне было по курящей мужской фигуре. Какое было для всех роскошное удовольствие! Тогда в этом доме тоже было что-то связанное с наукой.

Уже вестибюль поражает своим имперским величием, охраной, множеством турникетов, роскошными лифтами. На седьмом этаже в аванзале полукругом был накрыт стол с чаем и бутербродами. Порядок, вежливость, особая порода вежливых и величественных дам, регистрация прибывающих, – все почти как в Кремле. После вручения опять были бутерброды, пирожки и, как в Кремле во время вручений, в узкие бокалы с гербами наливали шампанское. Но вот одна прелестная деталь, которая правительственному Кремлю и не снилась.

В большом и высоком зале, в котором всех приглашенных, а их было человек тридцать – тридцать пять, рассадили, уже находился замечательный оркестр кадетов-музыкантов. Это все мальчишки с трубами и барабанами. Все одеты в красную с черным нарядную форму. Вот пока мы ждали – молодых людей среди награждаемых не было, а все люди степенные, как правило, далеко за 60 – этот выводок молодых музыкантов под управлением молодого какого-то, наверное, лейтенанта-дирижера услаждал присутствующих маршами и старинными, но лихими юнкерскими песнями. Все молодые музыканты, естественно, не только в форме, в фуражках, но и руки в белых перчатках, и дирижер в перчатках. Красота! Как мы, оказывается, завидуем и тоскуем по имперско-царским временам!

Вручал награды не сам министр, а его зам, молодая женщина Екатерина Андреевна Пузикова. Как потом мне сказал Ашот, главный враг нашего Института. Мне она почему-то врагом не показалась, мила, хорошо причесана, с хорошей речью. Я немножко пожалел, потому что предполагал, что вручать будет министр Ливанов, и не без значения приготовил и подписал ему две книги – «Дневник Не-ректора» и последнюю, напечатанный том «Дневник-2011». В надписи ключевыми словами были «понимание сложностей» и «Сизифов труд». Так вот, когда меня подняли, чтобы вручить грамоту в огромной коробке и значок, то я произнес маленькую речь. Я сказал, что как действующий писатель не могу обойтись без ответного подарка – новой книги, и подписал две книги министру. Тем более, что этот мой подарок будет прощальный, «по чьему-то недомыслию мы перешли в Министерство культуры, хотя в Министерстве образования нам было, хотя и хлопотно, но надежно».

Букет, принесенный из министерства, передал Светлане Викторовне.

**1 ноября, суббота.** Все-таки выманил Володю Рыжкова из его нетрезвого далека в Отрадном – приехал к одиннадцати, на нем машина, уехали дышать и приводить в порядок участок на дачу. <...> Как всегда в дороге, слушал радио, на этот раз приемник настроен был на Бизнес-ФМ. С непримиримостью «Эхо Москвы» и его крутой нелюбовью к режиму встречусь уже вечером, когда лягу спать, у меня наверху приемник. <...>

Пока ехал, по радио все время гнали лишь несколько свежих новостей. Первая – это, конечно, падение, как с горы, рубля по отношению к доллару и падение цен на нефть. По этому поводу радиостанция, которая очень любит под рубрикой «первые поздравляют первых» говорить и поздравлять от имени очень богатых людей с днями рождениями и успехами сверхбогатых, так вот, радиостанция очень сокрушается о тех несчастных, которые живут за рубежом, а доходы получают в России. Ну, мы-то знаем, как богатство можно приобрести (это почти синоним – «украсть») в России. Одновременно радио с пониманием относится к тем, где бы они ни жили, кто зарплату в России получает в долларах. Для этих наступили радостные минуты, для этих чем хуже, тем лучше.

Вторая радионовость, которой переполнены волны эфира, это арест директора нашего филиала фирмы, которая торгует в Америке обогащенным ураном. Его обвиняют, что за деликатный «откат» в что-то полтора миллиона долларов он без конкурса продал вверенный ему уран. Фамилия? Фамилия ему пусть будет новый русский. Голубчику, так удачно присосавшемуся к госсобственности, грозит до 20 лет комфортабельной американской тюрьмы. В связи с этим одно воспоминание: бывший министр атомной промышленности, тоже попавшийся в США на чем-то атомном и похожем, тоже чего-то укравший. Вспомнил и «коренную» фамилию – Адамов. Как мы его вырывали из рук безжалостной к взятке американской Фемиды! Там больше дают! И еще одно размышление: как талантливо американцы, понимая натуру человеческую в эпоху капитализма, подняли наказание за «взятку», которую я могу назвать «русской болезнью». А мы, молодые либералы и демократы, все снижаем и снижаем наказание за воровство.

Дача промерзла, воды в колодце почти нет, только на дне, мутная. В обед и вечером, когда на электричке приехал С.П., баловал себя любимой с детства краковской колбасой, – какое это счастье, слезть с диеты! ТВ, которое сегодня будет, конечно, говорить об ужасах Донбасса, не смотрели, у С.П. на его компьютере два полуфинала КВН. Получил легкое, как от шампанского, удовлетворение от молодых изобретательных людей и дозу специфических размышлений от традиционного жюри: русско-еврейской-армянской сборной и примкнувшего к ней Пельша. <...> Насколько эта «эстрада» под водительством несгибаемого в возрасте Александра Маслякова веселее коз и козлов, называемых «эстрадными звездами».

Перед сном взялся за первый том «Дневников» Твардовского, которые привез с собою. Какая горная тишина интеллектуального парения! На первой странице книги дарственная надпись: «Сергею Николаевичу Есину – летописцу к. 20 – н. 21 веков от публикаторов летописца 60 гг. 20 в. Валентины и Ольги Твардовских. – окт. 2014». Сколько нового для меня, всегда жившего все-таки не в центре литературной жизни. «Проездка в Москву для гимнической встречи (Исаковский, Грибачев,

Смирнов, Бровка), как и следовало, знать, кроме неприятного чувства, ничего не принесла» Писатели вместе пытаются создать Гимн, это 61-й год. Сколько писательской суеты вокруг. Первое открытие – невероятно точные, хоть записывай, как стандарт, хоть показывай студентам, правила или условия для текста любого гимна, какой аналитик!

## **2 ноября, воскресенье.** <...>

Утром писал Дневник, немножко читал, в основном сгребал листья из-под яблонь. Днем сели обедать, а по телевизору фильм советской поры «Приходите завтра» с Екатериной Савиной, это поломало мои намерения заняться романом. Но весь день о романе думал. Я бы старые советские фильмы по отечественному телевидению смотреть запретил: слишком уж сильна пропаганда советского образа жизни. Как жили, как относились друг к другу, как умели надеяться! С нынешними собачьими временами те, дальние, не корреспондируются. Уже вечером перекачал к себе на компьютер «Войну и мир» Сергея Прокофьева, какая прекрасная и возвышенная музыка, слушал минут сорок. В музыке есть какой-то магический русский компонент. Вечером показали выборы в Донбассе. И в советское время я таких очередей в избирательных участках не видел. Явка, наверное, будет процентов 80%. Главное – люди хотят говорить по-русски и не считаться на своей родине людьми второго сорта.

**4 ноября, вторник.** Вернулся к прежним нормам, 30 минут ходил по стадиону, поотжимался и повскидывал у шведской стенки ноги, потом пошел домой – к четверем придет с Юлей Максим, пригласил еще Владислава Пронина – первые мероприятия по поводу выхода новой книги. Основательной подготовкой занялся Гафурбек. В меню сегодня: осетинский пирог – ходил в специальный ларек, где пирог пекут, манты, плов и самодельный торт. Одновременно с пирогом купил еще кое-какие овощи и виноград.

Посидели замечательно, выпили, правда, только на всех полбутылки шампанского, но уж наговорились. Юля по работе много читает, и мне это было особенно интересно. Рассказала о книгах некоторых популярных авторов. Какая редкая пруть: здесь уже и наводнение на Амуре, куда летал Путин, и другие скорые приметы времени. Уже у кого-то в литературе есть Крым и надо ждать Украину. Думается, такая актуальность относится скорее к торговле книгами, нежели к литературе, особенно литературе слабой. Постепенно, по отельным деталям разных рассказов и по собственным наблюдениям, возникло ощущение, что самым нашим плодовитым авторам помогают их с филологическим образованием жены. Но это особенно плодотворно, когда подобная авторская или биографическая – это чаще – литература, не дотягивает до планки собственно литературы. Владислав Александрович принес свою новую монографию о Гете и его последователях, пока полистал, интересно, редкие иллюстрации, буду читать.

Во время застолья зашел разговор новой работе Максима, которую он публикует в журнале «Дети Ра» – это какие-то кусочки воспоминаний и «случаи». Я теперь, как Твардовский, уже не стесняюсь выписывать о себе – это ведь все тоже литература. Ну, может быть, ее пестрый фон. Прелесть и стилистическая острота этих маленьких высказываний заключается в том, что Максим расчетливо перемешал персонажей из авторемонтной мастерской и Литературного института – он работал и там и там. Но я выписываю только свое.

<...>

«Сергей Николаевич Есин в бытность его ректором Литинститута имел обыкновение называть того или иного преподавателя кафедры литературы XX века “душка-либерал”. На заочном отделении было как минимум две таких “душки” – Владимир Павлович Смирнов и Сергей Романович Федякин».

«Владимир Павлович Смирнов как-то сказал на лекции, что стихотворение должно быть прозрачным и глубоким. Как вода в Байкале, – из лодки можно пересчитать все камни на дне, а попробуй достать рукой хоть один – не получится, глубоко. Я это крепко запомнил».

«Сергея Николаевича Есина, как бы кто к нему ни относился, я считаю отличным писателем и вообще очень интересным человеком. Однажды я угостил его конфетой, но та выпала на пол, едва он развернул обертку. Не успел я моргнуть, как писатель нырнул под стол за конфетой. И съел ее».

«Я не любитель присутствовать на похоронах. А вот Сергей Николаевич Есин совсем даже наоборот. Стоило ему туда отправиться, как в Литинституте все могли быть уверены: вернется в отличном настроении. Однажды, приехав с похорон своей знакомой, актрисы Клары Лучко, он с сияющей улыбкой объявил, что покойная в гробу “выглядела прекрасно”».

«В последний год обучения в Литинституте несколько студентов, озабоченных своим будущим, и я в их числе, подошли к руководителю нашего семинара поэтессе Олеся Николаевой. Мы просили познакомиться нас с редакторами журналов, а если это слишком хлопотно, то дать хотя бы телефоны нужных людей. Олеся Александровна только развела руками – никаких таких телефонов у нее нет. “Но ведь ваши стихи регулярно печатаются. Как же так?” – “Ну да, просто мне звонят и спрашивают: “Олеся, нет ли у тебя каких-нибудь свежих стихов?” Ах, Олеся Александровна, птичка божия!»

«Сергей Николаевич Есин, как известно, очень любит присутствовать на похоронах. Поэтому я не удивился, когда он засобирался на похороны Аллы Александровны Андреевой, жены автора “Розы мира”. Я и сам намеревался быть там, на Новодевичьем. Узнав об этом, Сергей Николаевич предложил отправиться вместе с ним на ректорской “Волге”. И вот мы молча едем, и я высматриваю, где бы купить цветы – алую и белую розы, как еще накануне задумал. Машина останавливается на Комсомольском проспекте. Есин просит никуда не выходить и вообще не тратить деньги, которых у меня действительно в обрез, выходит сам и через минуту возвращается и протягивает мне две розы. Догадайтесь, какого цвета?»

«Однажды я обратился к Сергею Николаевичу Есину с какой-то совершенно пустяковой просьбой, но вдруг нарвался на резкий отказ. Ситуация была настолько абсурдна, что и сам Есин удивился своей реакции. “Ну, могут, в конце концов, и у меня быть злые причуды”, – примирительно подытожил он».

«Продолжим. В первый год моего студенчества на семинар Игоря Леонидовича Волгина пришел писатель Дмитрий Быков. После семинара некоторые, как и я, сошли в дворницкую выпить водки, но та быстро кончилась. Быков требовал еще, но ни у кого из нас не было денег. То есть деньги-то, может, были у всех, но никто не хотел идти и тратиться. Возникла пауза. Наконец я “вспомнил”, что у меня есть немного. Сходил и принес пару бутылок. Настроения пить, однако, у меня уже не было – это ведь были мои последние деньги. С того времени

я плохо отношусь к Быкову – не из-за его писательства, ведь я его по большому счету не читал и вряд ли прочту, и не из-за его политических убеждений, на которые мне плевать, и не потому, как некоторые уже подумали, что мне все еще жалко тех денег. А просто бывают и у меня злые причуды».

<...>

**5 ноября, среда.** <...> По средам, перед семинаром в МГИМО, я не делаю зарядку, не хожу стадиону, берегу силы. Мне все дается нелегко. Это ведь не привычная лекция, которую преподаватель читает уже в десятый, а иногда в двадцатый раз. Я стараюсь создавать свои семинары по сонатному принципу. Полтора часа подготовленного каждый раз в течении нескольких дней экспромта. Я приношу несколько цитат, но никогда не знаю, как они лягут.

Зря стонал. Семинар прошел хорошо, вначале, как обычно, немножко заикался и искал слова, потом все поплыло. Я отчетливо понимаю, что «литературного мастерства» как промежуточной дисциплины, уместяющейся в тридцать занятий, не существует. Моя задача нагрузить студента тем, что знаю я, помочь выработать свой вкус и к жизни и к фразе. Договорился, что на одно из следующих занятий приглашу Максима. Молод, красив, хорошие современные с традиционной русской основой стихи. Кроме чтения я еще задам ему несколько общих вопросов. Сегодня говорили о психологизме прозы – этому посвящена глава в моей книге. Как хорошо иметь добротную, но сделанную самим шпаргалку. К следующему занятию ребята должны сделать этюд «Литературная экскурсия».

**6 ноября, четверг.** <...> читал на этот раз удивительно ладный и энергичный номер «Литературной газеты». Все здесь информативно и, главное, вызывает размышления. Здесь сегодня бенефис у Лени Колпакова. Во-первых, прекрасная юбилейная статья о А.Н. Пахмутовой. Такую статью с налета не напишешь, здесь нужна любовь, отшлифованная многолетним знанием. В статье есть кое-что любопытное, выводящее на более глубокие размышления вообще о нашей эстраде. Перечисляя знаменитых отечественных исполнителей великолепной пахмутовской музыки, Леня вдруг останавливается: «Извините – список не весь. Не раз задумывался, почему нынешняя примадонна с младенцами никогда не пела Пахмутову? А зря, Алла Борисовна... И музыка замечательная мимо прошла, и стихи изумительные». Кто больше раздражал, «не подходил», сама Пахмутова или Добронравов? Или, поставим вопрос по-другому: это любовь к Резнику или преданность к Паулсу? Во-вторых – я все об условном бенефисе своего друга – огромное интервью с Еленой Ямпольской, главным редактором газеты «Культура». Газете 85 лет. Здесь тоже есть мой улов. Например, кое-что о Сергее Капкове, так отчаянно прославляемом по радио Доренко. Но сначала о некоем споре – я об этом уже писал – во взгляде на личность и общественную составляющую творчества А.И. Солженицына между Ю.М. Поляковым и Н.Д. Солженицыной. Нападок на Полякова было много. Вот Елена Ямпольская, еще одно суждение:

«Меня крайне огорчило, когда к спору был привлечён Евгений Миронов. Да, у актеров эмоции всегда опережают сознание, но ведь суть разговора между Поляковым и Солженицыной – не взаимная перепалка.

Юрий Михайлович сказал ровно то, что сказал. И кто захотел его услышать, услышали правильно: давайте ценить крупных отечественных

писателей, никого не забывая, не пропуская, и отмечать их юбилеи в соответствии с хронологией».

– Елена Александровна, а что за история с Шемякиным, напрямую связанная с «Культурой»? – не унимается мой друг Леня, который, как я неоднократно писал, в отличие от меня знает все или почти все. Но как элегантен ответ Е. Ямпольской, как обобщенно справедлив!

«Михаил Шемякин, еще недавно позиционировавший себя как русский патриот за рубежами Отчизны, дал очень странное интервью радио “Свобода”. Точнее, ничего особенно странного тут нет: мы видим, как на глазах перековываются “патриоты”, чья жизнь напрямую завязана с Западом. Газету нашу господин художник почему-то обозвал “черносотенной” и заявил, что Ямпольская на первой полосе якобы указывает ему, Шемякину, как себя вести по отношению к власти. Интервью называется “Попахивает фашизмом”. Но если вокруг Шемякина чем-то попахивает, может, ему надо принять душ».

Я бы здесь сказал, что редактор газеты «Культура» умыла не только одного Шемякина. Много их, ласковых телят, так умело, плодотворно и счастливо сосущих все сосцы у матушки Родины. Теперь к обещанному ранее Сергею Капкову, так удачно закрывшему театр им. Гоголя. Не хрупкая девушка эта самая Е. Ямпольская.

«Если бы в московском правительстве была должность министра паркового хозяйства, то более идеального кандидата на эту вакансию, чем Сергей Александрович Капков, не нашлось бы. Я люблю заниматься спортом, кататься на велосипеде, ходить, наматывая километры, – и не могу не заметить, в какое великолепное состояние приведены столичные парки. Правда, они все похожи друг на друга».

Решусь вмешаться в плавный ход чужой мысли, чтобы пояснить, что последняя фраза лучше всех свидетельствует и о вкусе управляющего московской культурой и о его любви к традиции, которая, как известно, возникает не от бодрого приказа по департаменту культуры. Вспоминаю здесь и некую характеристику Салтыкова-Щедрина, данную ретивым специалистам – «ясноглазый столоначальник». Но от моего скудного текста вернемся к Ямпольской.

«А вот то, что делается в Москве в области театрального искусства, считаю безобразием. Близкий по времени пример – “Борис Годунов” в подведомственном Департаменту культуры театре “Ленком”, поставленный режиссером Богомоловым. Когда я уходила в антракте с этого зрелища и со мной вместе покидало зал немалое количество зрителей, слышала краем уха возмущенные реплики: надо вводить уголовную ответственность за осквернение классики! Вот, ребята, к чему приводит псевдодемократическая политика в области культуры. Значительная часть общества говорит уже не о цензуре, не о Главлите. Она говорит о репрессиях против тех, кто позволяет себе так обращаться с национальным достоянием. Все срабатывает с точностью до наоборот: вы ладно полностью разжали, ничего не контролируете, не сдерживаете, а у народа кулаки сжимаются. Когда я вижу Пимена в образе тюремного наркомана, вырезающего летопись на спине у сокамерника, такого же обдолбанного и обкуренного, и понимаю, что на это потрачены городские деньги, деньги из наших карманов, перестаю понимать: культурой в Москве вообще кто-нибудь руководит? А если да, то это сознательное поощрение бесовщины или просто полнейшая некомпетентность».

К трем был в Институте – ученый совет. Его впервые очень удачно провел Варламов. Написав об этом, сразу надо было бы сказать, что я

только что прочел в его «солженицынском» сборнике два его случайно попавшихся под руки рассказа – повесть «Рождение», самое известное произведение Варламова, я прочел лет за десять до этого – «Еврейка» и «Вальдес», но об этом как-нибудь позже. Совет прошел, как никогда, в некоторых спорах и дискуссиях. Сначала об аспирантуре и соискателях, потом очень занятно решали вопрос с вознаграждением по «гранту» двум нашим проректорам, Ужанкову и Стояновскому. Суть этих решений, в связи с переходом в Минкульт и его установлениями, заключалась в следующем: любые деньги из институтского гранта выделяются из общей суммы. Минобр, наверное, полагал, что проректор в настоящем обычном вузе – это огромное количество дел и огромная занятость. Все же вузы искусства – вузы Минкульта – они маленькие, даже крошечные, наш вуз по количеству студентов недотягивает и до настоящего факультета в нормальном вузе. У Минобра проректоры приравнены к преподавателям и завкафедрами. Итак, если выделять из общей суммы специальные проректорские, то все преподаватели института будут от 500 до 1500 получать меньше, а зато два проректора получают по 45 тысяч, ибо их счет идет как процент от ректорских. Два этих варианта представила Людмила Михайловна. Ректор сам решить такое не смог и не стал. Наши два проректора скромно при обсуждении потупились. Ученый совет после некоторых разговоров не решился на глазах у проректоров, от которых многие члены совета зависят, проголосовать против отъема причитающегося каждому. Против отъема денег у преподавателей в пользу начальства был только я.

Вторая сложная ситуация – Казначеев. Здесь жалобы студентов, нетрезв, неинформативные лекции. Выступал председатель студкома. Далеко пойдет мальчик! Отчетливо понимаю, что положение у ректората безвыходное. Естественно, Гусева, который, наверное, понимал, о чем пойдет речь, на совете не было.

<...>

**7 ноября, пятница.** Весь день получал удовольствие и читал прозу Варламова. Начал как подхалим, закончил, пожалуй, как поклонник. Очень мы с ним похожи в одном – у обоих важной компонентой является такой актуальный в России еврейский вопрос. Разве я мало об этом писал? Прекрасные собеседники, люди, как правило, интересующиеся литературой и общественной жизнью. Меня уже довольно давно заинтересовало, почему так отчаянно несколько лет назад М.Е. Швыдкой похвалил А.Н. Варламова. Собственно, ответ нашелся – дело даже не в упоминаниях, а в акцентах. В варламовской «Еврейке» – русский-то мальчик рядом с ней оказывается говнюком, в «Вальдес», где действует девушка-полукубинка, русские мальчики, а их трое, тоже оказываются слабаками. К этим моим поверхностным соображениям можно присовокупить и содержание очень большой документальной повести «Ойоха». Это о семимесячном, кажется, пребывании Алексея в Америке, в некоем интернациональном доме творчества. Америка страна богатая, ухоженная, ее службы финансируют многое. Много там и наших соотечественников, многие, естественно, с еврейскими корнями. Ну, а здесь уже прет наша минувшая действительность с ее лагерями, сроками, войной, но и с чудесной еврейской сплоткой. Здесь Варламов, как Горький. Наверное, объективно, я ведь тоже очень многим обязан и Борису Иоффе, и Семену Беркину, который брал меня на радио, и я их как моих спутников люблю и высоко чту, и память о них храню. Продолжать не стану, буду читать дальше, и получать удовольствие –

проза умная, добрая, расчетливая, интеллектуальная, и по письму традиционно-русская.

<...>

**8 ноября, суббота.** Утром по радио во время чтения газет с интересом выслушал мнение доцента – со слуха, могут быть неточности – МГИМО Андрея Миронова о сегодняшнем падении рубля и о завышенных, в принципе, в России зарплатах. Россия экспортирует природные ресурсы и импортирует товары легкой промышленности и еду. Теперь зарплаты и цены в магазинах корректирует падение цен на нефть и доллар. У нашего «офисного планктона» – это опять со слуха и не мои наблюдения – зарплаты были самыми крупными в мире, и даже больше чем в Америке, хотя известно, что наши работники бизнеса и его контор по квалификации ниже. Ну, это мне понятно по Институту, когда рядовому бухгалтеру, подсчитывающему зарплаты «мастеров», многие из которых являются и звездами отечественной и европейской культуры, чтобы у бухгалтера не текли слюнки и не возникало дамское бурчание, зарплату подняли до уровня и даже выше этих небесных тел. Русская демократия в действии.

Воспользовавшись любимым словом родных средств массовых информационных «скандал», должен сказать, идет скандал с увольнением очень известного журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева. История, конечно, не очень красивая. Связана с она с внезапной смертью в Индии, в море, сына руководителя администрации президента Сергея Иванова, Александра. Погиб Александр, конечно, благородно, спасая собственного ребенка. Но, повозившись со своей памятью, я вспомнил и о том, что, конечно, как и многие высокопоставленные дети, получил он некоторую фору в карьере, вспомнил я – пролистав мои дневники, можно найти и это, – что уже достаточно много лет назад сын Иванова в дорожной аварии – сбил пешехода. Почему помню эти эпизоды? А потому, что помню... Теперь о Плющеве, который – это цитата – «был уволен за “нарушение журналистом всех допустимых морально-этических норм”, сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на пресс-службу “Газпром-медиа”». В Интернете я нашел все же то, что написал, видимо, много помнящий, как и положено журналисту, Плющев. Текст записан мною со слуха: «Считаете ли вы гибель сына Иванова, некогда сбившего старушку и засудившего ее зятя, доказательством существования Бога или высшей справедливости?» Я бы этого никогда не написал, но так подумать мог.

Утром сидел с Дневником, читал, а дальше так: к трем часам поехал в Институт – там Мариэтта Омаровна Чудакова читала публичную лекцию о Булгакове в годы Первой мировой войны. Как обычно, уровень был очень высокий, М.О. владеет невероятным количеством культурологического материала, который обволакивает слушателя. Некоторые положения лекции я, конечно, записал. У нас это время было мало исследовано – Ленин сказал, что война империалистическая, так чего ее изучать. Никто не ожидал, что такое может быть возможным – драка Франции, Англии и Германии. Все предыдущие войны, по сути, были локальными, местными, с перерывами. Огромная литература написана поколением, прошедшим войну. Аксиома, которую М.О. предлагает всем запомнить: «Революция увела Россию с исторического пути». Аргумент: Россия в то время (1913) на 5-м месте в мире по развитию. Раненый Франц-Фердинанд раненой жене: «Ради Бога не умирай, ради наших детей». Надо ли было нам выступать на стороне Антанты? Боль-

шая цитата из Шульгина о некоем «патриотическом угаре», на фоне которого спокойно прошел даже сухой закон. За 2-3 года все поменялось.

Огромное впечатление произвело на меня «Торжественное обещание», которое молодые врачи подписывали, заканчивая университет. Боюсь, что это целая программа, моральные аспекты которой недоступны нашей современной медицине. Из некоторых деталей: в какое-то время войны возникло решение заменить молодых, призванных в армию врачей, на земских, более опытных. До реформы 1861 года никаких врачей в сельской местности не было. И последнее: самиздат придумал Николай Гладков, печатавший небольшие книжечки своих стихов («сам себя издат»).

До лекции разговаривал с М.О., мы, как всегда, сходимся по большинству вопросов. Разошлись только по Крыму. Ее мнение: получив Крым, мы отдали всю Украину. Зачем нам лишнее пространство?

После лекции М.О. затеяла со старшеклассниками викторину, принесла целую сумку книг, которые только что, видимо, купила в книжном магазине. Как я завидую студентам, которые у нее учились! Потом поймут.

<...>

**9 ноября, воскресенье.** Еще несколько дней назад вдруг после новостной программы сразу объявили, что покажут новый фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар». Фильм меня, конечно, интересовал, но я знал, что рассказ Бунина о внезапной любви и его же очерки «Окаянные дни» совместить невозможно. А может быть, у крупного мастера получилось? Но когда по ящику возникло это объявление, я сразу понял, что фильм в прокате провалился, теперь оправдываем полученные деньги на телевидении. Я, конечно, забыл об этом случае, но буквально через день или два о фильме заговорили с Евгением Сидоровым. У него отношение двойственное, но послал своих семинаристов смотреть и потом писать рецензию. Это все предварительные сведения перед двумя услышанными мнениями по радио. Сначала невероятный разгром, не без сатирических издевок, учинил в своем утреннем часе Леонид Володарский. Прошелся и по белым офицерским кителям, и по белым, скользящим по водной глади, пароходам, символизирующим ход России. Много здесь было сказано, так что я пойду проверять в кинотеатр. Потом довольно деликатно Юрий Арабов, которому как кинематографисту совершенно ни к чему ссориться с мэтром Михалковым, на «Эхо Москвы» начал делить фильм Михалкова на две части. Подтексты оставил слушателям. Вот я эти подтексты и слушал, пока ходил по стадиону и делал утреннюю зарядку.

Весь день просидел дома между английским, Дневником и чтением прекрасной книги о Канте. Еще раз поскулил, что плохо в университете учился, ловко сдавать экзамены – это не значит знать. Лакуны в знаниях огромные, а все это такое мое, такое интересное, над чем я, оказывается, в силу своих скудных возможностей размышляю всю жизнь. Нашел массу интересных подробностей, не только связанных с философией. Автор – Александр Круглов – удивительно светлая голова и, в принципе, относительно молод – 40 с небольшим. Читаю, конечно, вразброс, но опять преследующие меня парные случаи. В книге целая глава, связанная с «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова. Не знаю уж, к чему отнести совпадения: к экскурсии со студентами МГИМО или к лекции М.О.

– «Бал у сатаны» в литературе уже был у Сенкевича.

– Рассуждение о «старике Эммануиле» и пяти доказательствах это всего-навсего из статьи «Бог» в энциклопедии Брокгауза. Урок и мне и моим студентам: далеко можно и не ходить, но необходимо только обрабатывать и думать.

– Напечатав «Критику чистого разума», издатель думал, что разорится, долго и медленно покупали. И мы еще жалуемся на тиражи и что нас не читают. Если хорошо – рано или поздно прочтут!

– Пассажи о революции и верховенстве права.

– Об уважении к любой вере и даже секте.

И, наконец, пока последнее, но опять о Булгакове. Здесь ошибка Воланда, когда он говорил, что завтракал как-то с Кантом. Этого быть не могло, несмотря на все чародейство: Кант вставал в пять утра, выкуривал трубку и пил две чашки жидкого чая.

<...>

**10 ноября, понедельник.** <...>

Весь день читал сначала Олю Орленкову, которую завтра будем обсуждать, потом работы девочек из МГИМО; читал еще утром книгу о Канте, отвечал на письма. В Интернете вдруг нашелся большой материал, написанный одним из спутников по автобусу, когда в позапрошлом году ездил в Испанию и Португалию. Видимо, это человек, который пробует писать, словесные картинки, выложенные им в сеть, довольно интересно и правильно написаны. Вечером почти случайно вперились в передачу Малахова «Пусть говорят». Передача о том, как иногда женщин уродуют пластические хирурги. Меня буквально потрясло, с какой готовностью женщины – телеведущие, журналистки, артистки – демонстрируют свои даже «удачные» операции. Совершенно бесстыдно, никого не стесняясь, говорят об имплантах в грудях, на скулах, в носу. Была даже сваха из передачи «Давай поженимся», тоже говорила о подтяжках и других элементах скальпельной косметики. Это удивительный манок телевидения – «я снова на экране».

Днем, разбирая книжную полку, взял в руки «Петербургский лексикон» Юрия Пирютко, почитал минут двадцать и решил позвонить в Гатчину. Парные случаи оборачиваются иногда и трагической стороной – сегодня 40 дней, как Юрий Пирютко умер. Это потеря историка и замечательного писателя.

Завтра тяжелый день: кафедра, семинар, презентация моей книги и, кажется, придется еще идти на презентацию книги Юры Полякова. Он вчера мне звонил, поговорил о нашей литературной конъюнктуре, о друзьях и недругах.

**11 ноября, вторник.** Начал день с посещения кабинета ректора. Спокойно, за чашкой чая, поговорили. Пригласил ректора на заседание кафедры и еще раз высказал свою точку зрения на решение ученого совета по поводу деления общего гранта выделением определенной суммы для наших проректоров. Добавлю: не уверен, что законно распространять принцип проректорских зарплат (здесь 80 или 90 процентов от очень немалой зарплаты ректора) на президентский грант. И дело здесь для меня, конечно, не в деньгах.

Посещение ректором заседания кафедры оказалось очень кстати. Я вынес вопрос о так называемом индивидуальном плане, вернее тех графах, которые совершенно справедливы для всех кафедр, кроме кафедры творчества. О какой специальной научной работе можно говорить применительно к писателю? Творчество крупного писателя – это всегда объект для научных работ. Сколько же всего было написано в

науке, скажем, о Рейне, о Рекемчуке, да и обо мне. Так почему же мы стыдливо в графу «научная работа» вставляем свои дневники, мемуары, лишь косвенно являющиеся художественной литературой, но не говорим о главном – о наших романах, пьесах, поэмах, критических статьях? А уж теперь, когда мы, видимо, с немалыми потерями финансов, перебрались в Минкульт, надо поставить вопрос об изменении формы отчетности.

Как обещал публично, еще на ученом совете, наш проректор А.Н. Ужанков на кафедру, чтобы объяснить всем, как зарегистрироваться в системе РИНЦ, не пришел. Сегодня собрался Православный собор и, видимо, А.Н. на нем. Пишу об этом не без гнева, потому что себе такой вольности позволить бы не смог.

<...>

Замечательно прошла моя презентация. Почти все приглашенные собрались, Альберт не жмотничал, да это ему и не свойственно, хорошо всех накормил, напоил, стол был богатый, а взял, кажется, по себестоимости. Нигде в другом месте лучше подобное мероприятие мне бы не провести. Очень меня порадовала компания из «Независимой газеты» – Женя Лесин с Алисой. Пришел Леша Тиматков, которого я люблю, как никого, человек просто замечательный. Леша признался, что скорее всего уедет жить за границу, здесь ему тяжело. В его искренности не сомневаюсь. Ну, конечно, были, пришли, не подвели Леня Колпаков и С.П., который раздавал книги, а потом нес мне до машины сумку с пирожками и прочими остатками. Героями дня, конечно, были Юля Качалкина и Максим Лаврентьев. Именно Юля, оказывается, написала такую прекрасную, очень заинтересовавшую меня большую аннотацию или даже предисловие к последней книге Максима. Особенно мне понравилось сравнение поэзии Максима, как бы отражающейся в зеркале. У зеркала старинная рама. Максим традиционалист. Максиму и Юле я обязан и этой книгой.

**12 ноября, среда.** Вчера окончательно договорился с Максимом, что он придет ко мне на лекцию в МГИМО, но уже вчера вечером я засомневался – а как будет себя чувствовать, а придет ли; засел за книжки, стал лихорадочно читать тексты, подбирать цитаты, в общем, к утру подготовил лекцию. Но, естественно, Максим утром позвонил, что едет, точно в обусловленный срок встретились с ним, поехали, медленно шли от метро, разговаривали. В этих, казалось бы, ни о чем литературных разговорах Максим вдруг стал оттаивать, расслабляться и очень скоро превратился в прежнего мягкого в слове Максима. Когда после лекции пришли ко мне домой и обедали, то какая-то вчерашняя болезненность Максима окончательно сгинула. Этому талантливому человеку просто не хватает внимания, общения, восхищения им, а он этого стоит, не хватает чувства занятости и ответственности, которые дает работа и преподавание. Если бы ему найти подходящую и интересную работу!

Я начал лекцию в своей обычной манере, сопрягая все, что меня волнует в литературе или беспокоит. Потом рассказал о Максиме и его поступлении в институт, о том, как я два раза его не узнавал. Потом Максим читал две или три «маленькие поэмы». Я, естественно, волновался: поэмы отчасти не без прежнего советского времени духа и слишком по-русски просты для юной, привыкшей к невнятной интернетовской поэзии, аудитории. Потом мы уже разговаривали все вместе, Максим говорил о состоянии современной поэзии, о Хлебникове, о рифме, о верлибре. В заключение сначала Максим получил свою порцию

аплодисментов, а потом и я свою, но уже поскромнее. Занятно, что постепенно моя аудитория становится все полнее и полнее, сначала шесть человек, потом восемь, а сегодня уже было двенадцать. Девочки как чувствовали, что я приведу очень красивого парня.

Зазвал Максима обедать, хорошо поговорили, ели грибной суп. Ничего не читал, в этом смысле день пропал.

### **13 ноября, четверг. <...>**

К двум часам поехал в Институт языкознания, сегодня здесь уже понастоящему защищается Марцис Гасунс, мой ученик. Марцис поступил ко мне лет пятнадцать назад, время было смутное, поступил как иностранец из Прибалтики, платный, говорил по-русски плохо. Оплачивал его обучение какой-то родственник. Я сразу понял, что с плохо говорящим иностранцем никто возиться не станет, а может быть, никто из наших и не справится, и взял его к себе в семинар. Уже на третьем курсе парень занялся санскритом, да и вообще смотрел куда-то в сторону более формализованную, нежели русская словесность. Поковырялись мы с его дипломом, сдал. Уехал, наверное, за какой-то дамой в Сибирь, несколько раз мне писал.

Защита проходила и требовательно, и как-то по-молодому весело. Сложная и, как у меня на защите, огромная, чуть ли не в 500 страниц диссертация. Художественный компонент в натуре давал о себе знать. Оппоненты отметили, что есть сбои и в стиле, и в манере изложения («эти рукописи кроме библиотечных мышей никто не видел»), слишком художественно. Мы с моим студентом оказались похожи и в другом: у меня, когда я защищал университетский диплом, были разные емкие приложения, и моя кандидатская, ставшая докторской, диссертация была чуть ли не в 500 страниц. Я так же, как и мой бывший студент, не люблю выводов, когда все сказано.

В конце «свободной дискуссии», что редко бывает на ученых советах, я коротко выступил и получил аплодисменты. Я сказал, что стиль и «художественность» – это моя вина, что я говорил ребятам, что если роман начинает надоедать, то следует его заканчивать, что в художественной литературе выводы не приняты, а достаточно ткани произведения. А потом я вспомнил, как мальчик, плохо говоривший по-русски, поступал в институт, и вслух поразмышлял, каков же потенциал русской культуры и нашей системы образования, что мы за небольшое количество лет смогли превратить несмышленища в блестящего молодого ученого.

Марцису подарил я оба тома «Власти слова» – в память об этой защите, а Валерию Демьянкову – несколько томов Дневника и последнюю книгу, в которой есть фрагмент о нашем с ним путешествии в Прибалтику.

К семи я уже пришел на Пречистенку. Сегодня в музее Пушкина празднуют юбилей Полякова. Пожалуй, это, если не считать юбилея Е. Сидорова, самый роскошный юбилей. Никакого фуршета, сначала в аванзале всем дали по бокалу шампанского, а уж потом, за столами в огромном атриуме (видимо, Наташа, жена Юры, все взяла под свой контроль) кормили не только сытно, без экономии, но, пожалуй, даже и роскошно. Народа или 200 или 150 человек, не меньше. Официанты в белых перчатках, и все стройны и хороши, как пушкинские молодцы. Публика была, в общем, своя, постаревшие писатели с очень неплохими именами. Были, конечно, и официальные, кроме нужных, фигуры. Приветственное письмо прислал Путин, а вслед за ним кто-то из адми-

нистрации президента. Были заместитель министра культуры Архаров, Новиков, владелец всего нашего книжного издательского мира, из телевизионщиков – Алексей Пушкин, я, кстати, сидел с ним за одним столом. Выступали соратники – Лариса Васильева и Олег Попцов, даже Сережа Шаргунов. Вел все это сам Поляков, очень неплохо, артистично, иногда сам читал свои стихи, в другой раз читал стихи Валентин Клементьев. Кого-то из ораторов Поляков вызывал из зала, кто-то выходил сам. Честно говоря, Юра, посадив меня очень близко к сцене, рассчитывал на меня, как на резерв главного командования. Но резерв не понадобился, а сам я не вызвался. Моя внутренне подготовленная речь пропала. Я бы, конечно, начал с качества еды, потом прошелся бы по «Полету валькирий» Вагнера – под эту музыку герой дня появился на сцене, но главная моя мысль – о его стойкости по отношению к минувшему времени, никого не предал, не переметнулся, всегда был тверд. Мысль эта осталась невостребованной. Основной мотив всем высказываниям задал Говорухин, живой классик и любимец публики.

Дома, когда около десяти пришел, в свежем номере «Литературки» прочел почти полосный материал о новом фильме Н. Михалкова. Даже два материала. Большая статья Тимура Зульф리카рова – он в восторге, но у него есть замечания, даже не статья, а небрежное эссе якобы гения, и фундаментальная Александра Кондрашова. У этого нет смысла подластиваться к Михалкову и раздражаться, как Зульфикаров, от собственных неудач в кинематографии. Увидев фамилию Кондрашова, я сразу понял – этот слабины не даст. Теперь кроме мнения Доренко у меня есть еще и существенные замечания Кондрашова. Он, кстати, начинает статью с того, что въехавшие в Одессу на трамвае красные сразу подстрелили случайно оказавшегося на их пути павлина. И даже здесь есть картинка. Бедный павлин! Я вспомнил знаменитый кадр Феллини из «Амаркорда» – павлин под снегом.

<...>

**15 ноября, суббота.** Утром ездил в банк, снимал со счета деньги – 35 тысяч Альберту за вечеринку по поводу выхода «Описи» и, как обычно, 160 тысяч за новую книгу «Дневников», которую Леша Козлов все еще не отправил в типографию. <...> Ездил в банк на трамвае, а вернувшись, завел машину и поехал с Гафурбеком – парень у меня занимается хозяйством, ходит в магазин и кое-что мне перепечатывает на компьютере – в «Ашан». Какую же тьму продуктов мы все, включая тонюсеньких, сидящих на постоянной диете девушек, поглощаем! За целую тележку продуктов заплатил 3,5 тысячи. С Гафурбеком мне, ненавидящему покупки, очень удобно. Он все знает, цены, расположение полок и чего мне необходимо купить, потом он все погрузит в машину, выгрузит, отнесет к лифту, поднимет полдюжины тяжелейших сумок на пятый этаж и все разложит по холодильникам. Как эксперт он говорит, что у него нет ощущения, что сильно все подорожало, включая рыбу.

Вечером уже на метро ездил на «Маяковскую» в Камерный зал, этот зал в одном здании с Большим залом, – на тематический концерт из цикла «История любви». Здесь письма сухие, почти формальные Чайковского и несколько экзальтированные фон Мекк и, конечно, музыка, пели романсы и даже почти целую сцену из «Евгения Онегина». Все хорошо известно: никогда не встречались, женщина была околдована действительно гениальной музыкой Петра Ильича, но если бы не она, то и гениальной музыки, возможно бы, не было. Если бы не Николай Первый, который Гоголю платил большую пенсию, то могли бы

и не состояться «Мертвые души», в этом же плане можно вспомнить и Тургенева, и Тютчева – все они были при власти и подпитывались властью. Параллелей с текущей действительностью не провожу. Власть талантливо подпитывает не лучшие силы. Но это попутно, вернусь к концерту. Позвал на концерт мой бывший ученик Паша Быков, и писатель, и вот теперь оперный певец. Вместе с ним пела и читала Наталья Павлова, хорошее сопрано и дочь поэта Веры Павловой. Наталья была хороша и в открытом платье в первом отделении? и в закрытом во втором. Удивительно, что оба держали образ, не выпадали, артисты! Я, конечно, плавая в музыке Чайковского, думал о себе, но и держал в памяти условность и отчасти сценическую надуманность всей ситуации. Паша читал письмо своего героя о строгом распорядке его жизни в Париже, а я держал в уме его письмо брату Модесту.

Вернулся довольно рано и долго пытался заснуть.

**16 ноября, воскресенье.** Сначала вчерашнее, но это, видимо, продолжение прежнего. Об Александре Плющеве, уволенном ли, не уволенном из редакции «Эхо Москвы», я уже писал, и с этим увольнением, если оно состоялось, не согласен. Хоть выпорите, но хлеба и работы не лишайте. Продолжение темы – это заочное голосование совета директоров по поводу возможной отставки Венедиктова. Голосование назначено на 21 ноября, а 6 ноября Венедиктов может уйти. Инициировал это на правах главы холдинга «Газпром-медиа» бывший министр печати Михаил Лесин. Ему как начальнику принадлежал первый щелчок фишками домино. Потом все покатило и закончилось сегодняшним состоянием литературы. Как мне кажется, свой капитал составил на телерекламе.

Уход Венедиктова – это другая радиостанция. Почти всегда несогласный с позицией станции, я категорически протестую против смещения Венедиктова и реформирования станции. Наша воровская элита хоть кого-то побаивалась. <...>

Сегодняшнее утро началось с передачи Леонида Володарского. Я уже несколько месяцев его слушаю по субботам и воскресеньям. Сегодня он говорил об интеллигенции, о ложности в нашей стране этого самоназвания. Хорошо к едким комментариям самого Володарского добавляли радиослушатели. Например, о том, как интеллигенция, еще недавно писавшая в анкетах, что она из рабочей или крестьянской среды, теперь уже стала из среды купеческой и дворянской. Знаменитый Никита Сергеевич Михалков вообще о своем происхождении говорит так – аристократия. В связи с этим мне придется признаться, что я о себе написал в последней книге, после того, как внимательно рассмотрел метрики своего покойного отца.

«Иногда лучше оставаться в неведении. Мифы учат, что лучше не связывать узлов и не отмыкать шкатулок. Не успел я открыть картонную с завязками и проклеенной матерчатой боковиной бумажную папку, как был лишен первой своей иллюзии. В семье всегда ходят мифы о своих более удачливых, знаменитых или даже великих предках. Будь то Соловей-разбойник или Ухарь-купец. Рухнула легенда о моем другом прадеде, будто бы владевшем хлебным заводом на Северном Кавказе. Растворилась и привлекательная легенда, будто бы моя прабабушка, в бархатном платье во время масленичного разговения серебряным половником выудила из серебряного же жбана со сметаной свою комнатную туфельку. Будто бы крутой мой прадед этой же просметаненной туфлей прабабку перед опешившими гостями так хрястнул по морде,

так хрястнул... Сцена очень выразительная для кинематографа, а возможно, уже побывавшая где-нибудь в литературе. Домашние мифы обычно не ходят особенно далеко. Первая же бумага, извлеченная из папки, сообщала, что отцом моего отца, родившегося 1 мая 1916-го и крещенного 3 мая, был Чембарского уезда, села Кондоль крестьянин Михаил Антоновъ Есинъ. С прабабкой вышел казус – ее имя оказалось на сгибе бумаги и полностью исчезло, правда, чуть ниже значилось: оба православного вероисповедания. Здесь же, в свидетельстве № 858, выданном из Пензенской духовной Консистерии Михаилу Есину, значились и “восприемники” после крещения его сына – это саранский мещанин Иван Алексеевич Корнилов и жена крестьянина села Головщина Марфа Павловна Котикова.

От мифа моего собственного “благородного рождения” не осталось и дыма. Я много раз задумывался, как в советское время молодой человек, даже без высшего образования, мог сделать карьеру? И здесь – какое счастье, что сохранились эти корочки и обрывки бумаги, по которым кое-что можно было проследить. Папка, которой хватило бы на добрую книжку из знаменитой молодогвардейской серии ЖЗЛ, – жизни замечательных людей. Практически любая жизнь не только неповторима, но и замечательна».

Ну да ладно, поехали дальше.

Весь день лежал на диване, дочитывал сначала монографию Пронина, а потом смотрел телевизор. Особенность украинского политического мышления – какая-то мелкость и хитрожопость, все стремятся обмануть, разжалобить и соврать. Порошенко приказал не перечислять в Новороссию пенсии, вывести суды, органы прокуратуры, перевести в «метрополию» заключенных... Путин сразу сказал, что украинский президент отрезает две области от страны.

**17 ноября, понедельник.** Похоже, что заболел, началось все с горла, пью «Стрепсилс» и сижу дома, варю суп из кабачков и моркови, пью чай. Между делом написал несколько фраз в новый роман. «Не пишется...» и замер. Что дальше, есть только предошущение. Вечером позвонил Анатолию Королеву. Вспоминая фрагменты «Валентины», Анатолий вдруг сказал: «Я тебе давно говорил, напиши о своей собаке». Тут я понял, что роман напишу.

Днем взялся наконец-то за киноповесть Татьяны Вилькиной, которую она мне подкинула «для оценки». Это дочь Саши Вилькина, я с ним дружу многие годы, отказать не могу, хотя обычно отказываю. Чтения много, оно, как правило, рабочее, топчется на место то, что хочется быстро прочесть. Например, вгрызться в дневники Твардовского или в новую книгу Третьякова. Чинит ли без оплаты, а только из одного удовольствия постучать молотком, ботинки сапожник?

Читается повесть легко, непритязательный стиль с небольшим лексиконом, упрощенный, «как в жизни» синтаксис, много простенького диалога. Жизнь кинорежиссера, работа, большая мать, взрослая дочь, преданная жена. Во всем отблески уже прочитанного, близко по тематике к Трифонову. В принципе, много лучше, чем у тысяч печатающихся писательниц. После чтения позвонил Татьяне и сказал, что эту киноповесть никто снимать не станет. Таня сразу призналась: показывала уже троим, никто не берет. Я сказал, что ни один журнал тоже не возьмет, надо искать издательство. Девочка молодец, удар держит!

Вечером еще до ТВ прочел в «Литературной России» большую интересную статью Виталия Амутных. Он довольно ловко соединил свои

размышления о поэзии Игоря Северянина и сообщения новостного украинского телевидения. Основное – приобрел стиль, мне кажется, отчасти здесь моя манера как бы накрывать отдельные проблемы неким ковром соображений и фактов – из всего этого и возникает мысль. Вот и еще один мой ученичок, который пишет, что окончил Литературный институт. У кого они все учились, мои ребятки деликатно всегда умалчивают. Недюжинный талант возник сам по себе и сам по себе развился.

**18 ноября, вторник.** Из носа течет, спал, ощущая, что дышу открытым ртом, губы ссыхались. На работу все равно пойду, семинар пропустить нельзя, скоро должны нахлынуть дипломники. Утром второй раз прочел текст Саши Желаниной. Хотя название очень заковыристое – «Трансцендентальная апперцепция», но текст сильный. Это провинциальный, весь погрязший в нищете город, мафия, семья, история девочки, все-таки выбившейся в люди. По своему невежеству начал звонить Оле Зайцевой, нашему философу, что же, спросить, это такое? А потом нашел в словарях: «Апперцепция (от лат. ad – “к” и perceptio – “восприятие”) – понятие философии психологии нового времени, ясное и осознанное восприятие какого-либо впечатления, ощущения и т. п.; введено Г. Лейбницем в отличие от бессознательной перцепции. И. Кант наряду с этой эмпирической апперцепцией вводит понятие “трансцендентальной” апперцепции – изначального неизменного “единства сознания” как условия всякого опыта и познания, позволяющего синтезировать многообразные восприятия. В основанной В. Вундтом психологии апперцепции – восприятие, требующее напряжения воли. В современной психологии синоним восприятия». Интересно, расшифруют ли это название мои ленивые ребяташки.

Утром же взял с полки «нечитанного», она у меня у носа, последнюю книжку А. Туркова «На последних верстах», читал часа два, оторваться трудно, для меня все это знакомые имена. Книга статей о писателях-современниках, а большинство их, если не все, люди или воевавшие, или военного поколения. Как записка всей книги знаменитое стихотворение Наровчатова «Не будет ничего тошнее...». В статьях ни одного пустого, мимолетного слова, плотность поля невероятная, но практически о всех знаменитых книгах и авторах нашего времени. Полностью прочел статью об Асе Берзер, знаменитом редакторе «Нового мира», я с ней был мимолетно знаком, она читала вслед за К. Чуковским мою первую повесть и просила для «НМ» кое-что переделать, я этого не сделал и напечатал повесть без правки в журнале «Волга». Читал также о В. Быкове, о В. Гроссмане. От всей книги я в полном восторге, не вытерпел и позвонил А.М. Он в больнице, бодрый, насмешливый.

**19 ноября, среда.** Простуда, начавшаяся с горла, как обычно, спустилась вниз, начался полноценный бронхит. Не вполне здоровый, все-таки пошел в МГИМО. Сил хватило только на час, что-то весьма общее говорил о рассказе. Единственное утешение, что ребята все-таки что-то пишут и выкристаллизовалась группа явно талантливых людей.

Днем читал «Литературку» с открытым письмом к министру юстиции, я его подписал скорее из дружбы с Поляковым, хотя общий тон письма совершенно справедлив: когда-то огромной собственностью писателей завладело несколько человек. В списке подписавших Г. Битов, В. Личутин, Ф. Искандер, Юра Козлов, В. Еременко, В. Поголяев. Мне как-то, правда, по подходу ближе какое-то письмо, которое я видел в «Литературной России». Здесь опять сводятся сложные счета

и отношения. Упоминаются имена Владимира Толстого, нашего Алексея Варламова, обычно не участвующего по тихости характера в литературных разборках, Светланы Василенко. О всей ситуации сказано: «Страсти вокруг Международного сообщества писательских союзов, Международного литфонда и литфонда России, в котором проблемным фигурантом является Иван Переверзин, никак не могут утихнуть. Конечно, у этих структур есть свои сторонники и оппоненты. Однако у многих складывается впечатление, что, прикрываясь заботами о всех писателях, в реальности все эти три структуры действуют в интересах 10–15 человек. По сути, все эти организации выступают кормушкой для узкого круга избранных людей, которым предоставляют всё: и дачи в Переделкино, и сумасшедшие деньги в виде материальной помощи, и карт-бланш на бесплатные издания толстенных книг и т. д.»

Через силу вечером поехал в театр им. Пушкина. В постановке Евгения Писарева давали «Женитьбу Фигаро», весело, полный текст, с невероятным изяществом. Я смотрел и спектакль Плучека – не хуже, видел и «Комеди Франсез» – плоско и скучно. Еще недавно с трудом заполнявшийся зал был полон. Сюзанну играет Александра Урсуляк с хорошо найденной интонацией, самого Фигаро – ловко и даже грациозно Сергей Лазарев, певец, который оказался прекрасным актером, больше всего мне в крошечной роли понравилась Флажетта – молоденькая актриса, но фамилии ее на сайте не нашел.

В машине заклинило переднюю, водительскую дверь, залезаю и вылезаю со стороны пассажира. Надо бы купить новую, но боюсь наступившей старости и отечественной медицины.

**20 ноября, четверг.** Несколько дней назад я передал институтскому агенту по снабжению Николаю мою новую книгу, чтобы он переслал ее Марку Авербуху в Америку. Видимо, Николай пошел за деньгами к главбуху и удивительно ленивый наш главбух Ирина Николаевна сказал – Ашот с удовлетворением мне это передал: «У Института нет денег, чтобы пересылать книги Есина в Америку». Если бы это была простая пересылка. Но это пересылка одной книги человеку, который уж один раз точно, а может быть, и несколько присылал по 1000 долларов для премирования наших выпускников. В свое время он дал какую-то значительную сумму, как литературные премии, нескольким членам нашего писательского сообщества и в том числе одному нашему институтскому преподавателю – естественно, не мне. Что касается восклицания главбуха, что у Института нет денег, то если ректор сделает некоторые финансовые документы гласными, то я не только эти деньги найду, но и найду незаконное их распределение. Найду и одних и тех же поставщиков и предпринимателей, которые с неизменным постоянством выигрывают все наши конкурсы на ремонты, строительство и услуги. Это, конечно, при том, что обычный, не главный у нас бухгалтер, делающий постоянные ошибки в зарплате преподавателей, получает значительно больше заведующего кафедрой. Наверное, я выступлю на ближайшем ученом совете.

Утром слушал ликующую реляцию Венедиктова после встречи с Михаилом Лесиным. Ему, кажется, удалось отстоять Александра Плющева. Я этому очень рад, Плющев очень талантливый человек. Следующий ход за властью.

Весь день лежу и читаю замечательные комментарии Веры Мильчиной к книге Кюстина. Вот декабристы: «Император становится казначеем и кредитором всех русских дворян. Дворянский заемный банк,

дававший ссуды под залог, был учрежден сначала Елизаветой Петровной, потом переутвержден Павлом. III отделение всерьез полагало, что толчком, побудившим декабристов на террор против царской фамилии, было желание освободиться от своего кредитора. «Самые тщательные наблюдения за всеми либералами, – читаем мы в официальном докладе шефа жандармов, – за тем, что они говорят и пишут, привели надзор к убеждению, что одной из главных побудительных причин, породивших людей “14-го”, были ложные утверждения, что занимавшее деньги дворянство является должником не государства, а царствующей фамилии”. Дьявольское рассуждение, что отделившись от кредиторов, отделяются и от долгов, заполняло главных заговорщиков, и мысль эта их пережила...»

Потом и читать уже не смог, принялся переключать каналы на телевизоре. Набрел на фигуру совершенно забытую – Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного Совета СССР. Еще лет десять назад он сказал: «Ничего не читаю, кроме Дневников Есина». Тогда мои Дневники печатались в «Нашем современнике». Оторваться от передачи уже не мог. Лукьянов рассказывал всю эпопею развала Советского Союза и участия в этом процессе Горбачева. Последний генсек недавно опять прошелестел по нашим каналам. Теперь, кажется, хочет презентовать свою новую книгу. Ну так к Лукьянову. Тот, с прекрасной памятью государственного деятеля и юриста, рассказал, что еще в марте – Советский Союз окончательно был демонтирован в сентябре – под предводительством Горбачева, когда все ощущали сложность ситуации, был организован комитет по введению, если станет необходимым, чрезвычайного положения в отдельных районах страны. В члены этого комитета вошли, кроме, кажется, Стародубцева и еще кого-то, все те же лица, что и были в так называемом ГКЧП, и Янаев, и все остальные. А когда все затрещало, вот этот совсем не самозванный коллектив и летал в Форос, звать своего предводителя обратно в Москву с берегов Крыма. А человек, который этот комитет созвал, сказал своим товарищам: я, дескать, в отпуске. Летите, дорогие товарищи, обратно и выкручивайтесь.

**21 ноября, пятница.** Возможно, после лекарств мне стало чуть лучше, но до выздоровления далеко: в груди хрипит орган. Хорошо, что утром позвонил Мих. Мих. и поставил мое лечение на научную основу, добавил мне еще и антибиотики. Весь день с утра читаю, вернее перечитываю роман Ксени Букши. Завтра надо в ЦДЛ и при полном зале об это романе говорить, читаю и делаю пометки. Уже к обеду стал просматривать, чтобы выбросить ненужные, газеты, которые подкопились. Но еще до этого получил небольшое послание от Сережи Арутюнова – он прочел новую мою книжку.

«...у меня скоплено шесть-семь мыслей о вашей теперешней форме.

Внутренняя интенция вашего искусства крайне важна для меня теперь, это стирание грани между бытием и небытием. Вы давно пытаетесь смотреть с той стороны зеркала, и это куда больше модернизма, хотя вы модернист (в смысле современник) прежде всего.

Слава богу, я дорос до понимания тонкостей, понимаю намёки. Сразу смог выделит эпитафю, некоторые логические построения. Андерсен со сказкой “Старый дом” вырастает к середине, а меж тем, это один из обертонів книги: старый джентльмен показывает некоему мальчику квартиру, при этом он же экскурсовод по квартире после себя именно за счет интонации отстранения от самого себя, это речь языком некого другого, и только порой она возвращается к собственной.

Захватывающий приём, что и говорить.

Надо писать об этом, прочту и перечту с карандашом недели через две».

Теперь вразброд газетные новости. Основная для меня, что в БДТ в Ленинграде главреж поставил «Что делать?» – гениальный роман Чернышевского. Любимая моя Алена Карась раздраженно пишет: «Возможно, именно как старую, пропахшую нафталином шубу и вытащил новый худрук БДТ роман Чернышевского – мол, присмотритесь, как смотрите вы в ней сегодня». Спектакль Алене Карась, естественно, не нравится, она не понимает величия этого произведения, актуального для нашей страны всегда. Известно и что делать, и кто виноват. Я думаю, что театр, всегда тонко улавливающий желания публики, пытается разобраться в исконных русских вопросах.

В газете же, но помеченной неделей раньше, прочел об одном из финалистов Большой книги. Здесь витийствует Кларисса Пульсон. «Поэт, переводчик, эссеист Алексей Макушинский работает на кафедре славистики города Майнц (Германия). Его предыдущая книга “Город в долине” получила премию “Глобус” журнала “Знамя” и библиотеки иностранной литературы им. Рудомино». Характеристика для меня почти исчерпывающая. На этот раз роман «Пароход в Аргентину». Автора, например, интересует, чтобы его выдуманный герой «оказался на Люббекском мосту через Двину в день освобождения Риги от большевиков 22 мая 1919-го...» Но я иду дальше по интервью:

«– В двух ваших последних романах действие происходит во время Гражданской войны. Это же не случайно?»

– Все-таки основное событие, или основная катастрофа XX века для России – это революция и Гражданская война. В юности я, наверное, немного идеализировал Белое движение. Этого делать не следует. Вообще не следует идеализировать что бы то ни было. В “Городе в долине” война на юге России, там нет буквальной исторической точности, там скорее некое “видение”. А в “Пароходе...” – особенная гражданская война, в Прибалтике в ней участвовали и русские, и латыши, и немцы, как балтийские, так и “имперские немцы”... Надеюсь еще когда-нибудь написать об этом. Я же половину своей юности провел в Латвии, собственно – в Курляндии».

Какие уж тут комментарии! Но я почему-то, отвлекшись на книжного финалиста, не закончил свои разговоры с Аленой Карась. Защищаю честь русской литературы!

Спектакль маститому обозревателю не понравился, чуть ли не каждый день, посещая театры, автору статьи уже кажется, что и ему пора ставить, режиссура и литературоведение дело нехитрое, и зря русская публика зачитывалась романом Чернышевского.

Я уже неоднократно читал, что жизнь постоянно рифмуется одни и те же события или имена. Газету надо уметь листать, а я вычерпываю из нее еще и для меня интересное или существенное. Вот уж никогда не думал, что буквально через несколько минут опять встречу с Чернышевским.

Но сначала о возобновлении школьных сочинений, о чем мы совсем недавно говорили в театре с Натальей Дмитриевной Солженицыной. Газета пишет о действительном возвращении. Школьники в последнем классе теперь будут писать некое зачетное сочинение-допуск к ЕГЭ. Наталья Дмитриевна резонно говорит, что сочинение должно быть основано на явлениях русской литературы. Министерство предложило

очень неплохой куст направлений на этот год. Как летописец фиксирую: «Недаром помнит вся Россия...» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова), «Вопросы, заданные человечеству войной», «Человек и природа в отечественной и мировой литературе», «Спор поколений: вместе и врозь», «Чем люди живы?»».

А вот теперь о рифме. Ну кто бы мог подумать, что придется снова встречаться с Чернышевским!

«На днях Ассоциация учителей литературы и русского языка представила в Общественной палате проект Концепции школьного филологического образования. В ней нет “русской словесности”, как записано в стандартах для старшей школы, которые вступят в силу с 1 сентября 2015 года, и есть список литературы, которую предлагается изучать с 5 по 11 класс. К примеру, авторы предлагают изучать в школе роман Чернышевского “Что делать?”, Радищева “Путешествие из Петербурга в Москву”. Но в проекте нет, к примеру, Набокова и “Архипелаг ГУЛАГ” Солженицына».

**22 ноября, суббота.** Всю пятницу и первую половину дня сегодняшнего перечитывал роман Ксении Букши. Сегодня процедура представления трех лауреатов публике в Доме литераторов и, собственно, последнее, решающее голосование. Собравшиеся читатели, которым раздадут листочки-бюллетени, они и станут решать, кто из представленной жюри троицы победитель. Кроме Ксении Букши, о которой мне предстоит что-то сказать, это еще Сережа Шаргунов и Андрей Битов.

<...>

Описывать всю процедуру церемонии не буду, она уже в моих дневниках прежде несколько раз промерцала. За кулисами встретился со всеми жрецами сегодняшнего действия. Женя Сидоров, он сегодня вместо покойного Бэлзы будет вести церемонию, Миша Семерняков, он ответственный секретарь премии, А.М. Туркова выписали из больницы, он, человек долга и «надо», без него все происходящее немислимо. И.Н. Барметова вызвалась говорить о Битове.

На сцене Ксения Букша расположилась на гостевой лавке, держа на коленях недавно родившуюся дочку. Девочка чудная, ручки и ножки, как перетянутые резинкой. Видимо, не с кем оставить, так и приехала из Петербурга. Это, конечно, мило три часа на глазах у зала тетешкать прелестного младенца. С одной стороны, это некий «ход», но с другой стороны, публика тоже не дура и понимает, что к чему. Не умилишь ли нас решила молодая писательница?

Женя Сидоров ведет церемонию не совсем так, как это делал покойный Бэлза, он литературовед, критик и все читал. Представляя очередного лауреата, по крайней мере, Букшу, – она была первой – несколько многовато говорит о самом романе, выбивая у меня из-под ног почву. Потом небольшое сообщение предстоит сделать мне. Я выхожу, говорю о времени, о новаторских принципах сочинения, за моей спиной, ревниво следя за моей речью, Букша неудачно вставляет реплику. Я говорю о своей любви к людям труда той поры и к простому укладу жизни. Ксения Сергеевна за моей спиной говорит, что моей любви к прошлому времени не разделяет. Я думаю, что эта реплика ей дорого обошлась. Зал в основном не молодой.

Ирина Барметова говорит о романе Битова, его проблематика собравшейся публике – молодежи мало, больше людей пожилых, для которых утренник в ЦДЛ очередное развлечение, – не очень привычна. Как я понял по некоторым репликам из зала, почти никто ни Букшу, ни Бито-

ва не читал; бесстрашного Шаргунова видели по телевизору. Потом говорит Битов, в его монологе одно истинно: писатель, не чувствующий собственной вечной в душе свободы, – не писатель. Потом замечательно говорит о Шаргунове Андрей Михайлович. Видимо, статья о романе Сережи «1993» у него готова. Здесь не только описание времени, но и нравственный выбор, почти выветрившийся из отечественной литературы. Надо не забывать, что это роман с «положительным» героем, что в современной литературе почти невероятно. Потом умело с публикой говорит сам красавец Сережа. С огромным, чуть ли не вдвое перевесом перед Битовым и Букшей, он выигрывает. Всем троим вручают по 50 тысяч рублей, раньше давали в рублях по тысячи долларов, но рубль подешевел. Победитель получит еще один конверт. Все ликуют, цветы, играет квартет. С музыкой после ухода бедного Бэлзы стало похуже. Традиционно хорошо с итальянцами, которые неизменно ватагой каждый год прибывают в Москву, на церемонию награждения. У них, видимо, с финансированием культуры много лучше, чем в России. Неузнанный мною знаменитый актер по бумажке читает стихи знаменитых итальянских поэтов, по бумажке же Женя Солонович читает свои замечательные переводы. Одно из стихотворений переводил Заболоцкий, но подстрочник для него делал в те давние времена тоже Солонович. Я как крохобор собираю все, что связано с литературой.

Внизу, в ресторане, для избранной публики, лауреатов, жюри и местных энтузиастов развернулся небольшой банкет. Не скажу, что всего очень много, но достаточно, вкусно, достается мне кроме закуски и фруктов даже замечательная «пожарская» котлета. Со мною за столом сидят Вера и Женя Сидоровы, Евгений Солонович, за соседним столиком Майя Пешкова, мой «индекс» на породе присутствующих.

Еще до банкета, понимая, что в этом году опять не заплатят гонорар за работу, которая у меня заняла половину лета, я не по-джентльменски спрашиваю об этом у Миши Семернякова. Заплатят или не заплатят? Миша деликатно, зная, конечно, все, отсылает меня к Галине Ильиничне, директору ЦДЛ. Мы с Андреем Михайловичем об этом «неинтеллигентном» моменте уже потолковали раньше. Он тоже на эти деньги рассчитывает. Писатель живет с гонорара, в искусстве – что отломают от жизни. Галина Ильинична говорит, что деньги теперь Министерство культуры пересылает через Литературный музей, которым заведует Дмитрий Бак. В общем, денег нет, не пришли. Я вспоминаю, что Женя только что со сцены этого Диму Бака хвалил. Бак действительно парень очень обаятельный, знающий.

Дома смотрю один из последних туров замечательного проекта канала «Культура» «Большая опера» – конкурс молодых оперных певцов. И певицы, и певцы, и жюри – все бесподобно.

**23 ноября, воскресенье.** Живу по принципу «надо». Вчера надо было ехать на премию «Пенне», сегодня утром надо готовиться и читать публичную лекцию о Доме Герцена, об Институте и о том, что за зверь писатель. Это московский грант Института, что-то около миллиона рублей, где основным действующим лицам достанутся лишь крохи. Столько лет, по многу часов витийствуя в аудитории, написав книгу о собственных подходах преподаванию, я с определенной неуверенностью подхожу к своему искусству чтения лекций. Не устный я человек, не умею рассказывать то, что хорошо известно, плести придаточные предложения и повторять, что все хорошо знают. Мне всегда нужна мысль и, по возможности, своя, собственная, а не раскавыченная цитата. Мне было бы неловко

за малозначительный и пустой треп. Каждый раз я создаю план, готовлю цитаты, думаю об общей интонации. Но я, правда, еще ни разу не повторился, еще ни разу не читал, не отрывая глаз от конспекта, свою лекцию. Каждый раз это все-таки была импровизация, и я не всегда представлял, куда меня занесет. В этом плане публичные лекции, которые я стал читать, мне дали определенный опыт. Сегодня я вдруг счастливо решил, что коли мне надо рассказывать еще и о Доме Герцена, то почему бы не воспользоваться и собственным романом «Твербуль», в котором наш высокоталантливый птичник неплохо описан? Подобрал цитаты. О том, что студентка, героиня романа, еще и проститутка, тактично умолчу.

Поехал к четырем часам. Сегодня у нас последний день серии подобных лекций. Утром блестяще, говорят, прочла лекцию наша умница и красавица Завгородняя, днем передо мной читает о Блоке В.П. Смирнов – ну уж здесь, конечно, все будет на высшем уровне. Мне читать в 23-й аудитории.

<...>

Теперь о самой лекции. Здесь главное уверенность. Держал перед собой только оглавление своей книги о литературном мастерстве. Без, казалось бы, особой натуги, получая удовольствие, все и прочел. Довольный собой, поехал домой, но ведь день-то пропал. Впрочем, снял с компьютера три рассказа Данилы Трофимова. Почему так – кто писать могут, те пишут и ходят без пропуска на семинары, а кому бы каждый раз писать этюды, выполнять задания, те стараются ничего не делать? Сколько, интересно, птичек моего семинара дочерируют до диплома?

<...>

**24 ноября, понедельник.** Сижу дома, потихонечку листаю учебник английского для начинающих, колдую, как завтра проведу семинар. Прочел рассказы Трофимова, мне сначала показалось, что Данила стал работать под Тяжева, но потом увидел, что интонация у него своя. Но все – не в угоду ли слабонервному читателю? – упростилось. В своей основе рассказы чистые и даже возвышенные. Везде мальчик и девочка, везде уже взрослая жизнь, но все как-то шелковым боком.

<...>

**25 ноября, вторник.** <...> проснулся в десятом часу. Лег, стараясь накопить к семинару силы, рано, часов в десять вечера, взял с полки давно мною читаемую «Герменевтику субъекта» Мишеля Фуко и уже совсем собрался было выключить телевизор, как объявили сериал о юности Екатерины Великой. Смотрел, восхищаясь бытом русских императриц в зарубежных замках, а в мучительных и пошлых рекламных паузах, в которых разворачивалась жизнь нашего современника, читал главу о старости. Надо чаще читать философию, она успокаивает.

«Не отягощенный физическими влечениями, свободный от разного рода политических притязаний, от которых он отказался, обогащенный всевозможным опытом, старик предстает человеком, полностью собой владеющим, тем, кто может быть полностью удовлетворен собой». Как все это верно и точно. Согласимся и с Фуко, и древними философами, которых он раскавычивает. «Эта история и эта форма практики себя так старика и определяют: старик – это тот, кто наконец может найти удовольствие в себе, удовлетвориться собой, вместить в себя все радости и удовольствия, не ища никаких удовольствий, не ожидая никаких радостей ни от кого другого – ни физических, которые уже не по нему, ни тех, что связаны с амбициозными планами, которых у него нет». Но так, между тем, хочется выступить на ученом совете и кое-что вслух

сказать! «Итак, старик – это тот, кто довольствуется собой, и точка, которой достигает старость, если она была подготовлена долгой практикой себя, – это та точка, где, по слову Сенеки, мне наконец удалось догнать самого себя, воссоединиться с собой и где мое завершенное и совершенное отношение к себе становится вместе отношением господства и удовлетворенности».

Где-то в конце серии о немецкой принцессе, ставшей русской императрицей, сон меня сморил, проснулся только в начале третьего. И черт меня попутал поменять духоподъемное чтение французского философа на стремительную, как лыжный след, литературоведческую беллетристику Вячеслава Огрызко! Десятка три книг, еще не прочитанных или уже прочитанных, стоят у меня рядом на полке. Скорее собственная рука потянулась за толстым томом «Против течения» Огрызко, нежели приказал взыскующий ум. Оторвался же я от этих текстов в шестом часу. Поел бесполезной в моей старости «еврейской колбаски» (без свиного жира и только говядина), попил чаю с медом и принял снотворное. Читал даже не тексты, а 120-страничный словник с комментариями. Здесь, наверное, тысячи две в основном писательских имен, многих я знал или еще знаю. Картина отечественной литературы в лицах встала передо мной. Но и отдельные фрагменты были невероятно интересны. Я всегда думал о таком поразительном и быстром взлете писательской карьеры Эдика Хруцкого. Расторопный Слава говорит: «Объясняю». И объясняет: «Зять бывшего председателя КГБ Серова, написал кучу детективов, но славу Конан Дойля так и не приобрел». Теперь о себе любимом и моих славных товарищах.

**«Есин Сергей Николаевич** (1936), имитатор русской литературы, ставший в 1992 году на тринадцать лет с подачи бывшего помощника М.С. Горбачева – В.К. Егорова ректором Литературного института.

**Рекемчук Александр Евсеевич** (1927), эволюция этого писателя очень странна: он начинал как романтик (в своих первых романах писатель воспевал покорителей Ухты), потом долго прославлял пламенных революционеров, разжегших в Европе мировой пожар (не потому ли власти после изгнания Твардовского из “Нового мира” ввели писателя в редколлегию престижного журнала?), а затем последовал разворот на все 180 градусов (в перестройку Рекемчук примкнул к яростным либералам, вступил в сомнительную писательскую группировку “Апрель”, публично обозвал фашистом своего же ученика, посмеявшегося выступить против перевертышей, и с радостью издал лживую исповедь Ельцина).

**Варламов Алексей Николаевич** (1963), мне до сих пор не понятен выбор Солженицына, удостоившего писателя в 2006 году премией своего имени (“за тонкое исследование в художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, ее судьбы в современном мире; за осмысление путей русской литературы XX века в жанре писательских биографий”), ведь он пишет очень скучно.

**Василевский Андрей Витальевич** (1955), начинал как скромный поэт, внимавший каждому слову Евгения Винокурова, в 1977 году пришел курьером в журнал “Новый мир”, через 21 год став там главным редактором (мне лично из всех нововведений Василевского в “НМ” особенно нравится придуманный им раздел библиографических листков)».

<...>

Семинар прошел достаточно полно: каким образом я веду занятия по три часа, откуда нахожу слова и мысли, я и сам не знаю. В качестве примеров подробно рассказал ребятам о структуре всех трех

отмеченных конкурсом «Пенне» романов – это первый час. Дальше три рассказа Данилы. Он умудрился написать рассказы практически без литературных приемов, якобы это течение самой жизни. Вначале мне показалось, что, оставив свою вязкую и густую манеру, Данила отчасти начал подражать фрагментам действительности, как Миша, но нет – в этом смысле Данила похож на меня – он опять замутил что-то совершенно по взгляду и смыслу новое.

Вечером ел торт по случаю дня рождения Гафурбека и смотрел продолжение сериала о Екатерине. Здесь Екатерину играет роскошная молодая актриса. Но сколько копания вокруг царского секса молодых Петра и Екатерины! Похоже, всю историю с фимозом и «неисполнением обязанностей» сценаристы взяли из истории другой венценосной семьи – Людовик XVI и Мария-Антуанетта. По крайней мере, всей русской аудитории доказали, что Павел Первый сын не Петра III, а Сергея Салтыкова. Но отчего же на портретах Павел так похож на Петра, а не на красавчика Салтыкова?

**26 ноября, среда.** Вечером водил своих студентов из МГИМО во МХАТ им. Горького на «Мастера и Маргариту». Выбор случаен, так стекло, что спектакль был именно в среду, в день занятий. Сам я видел спектакль давно и поразился и отсутствием собственной памяти, потому что ничего кроме листов жести в самом начале – гениальная сценическая придумка В. Беляковича – не помню. Спектакль огромный, четыре часа, зал полный молодежью. Играли все те же знакомые мне актеры – В. Клементьев, М. Кабанов, И. Фаина, А. Титоренко. Но как их игра изошрена, высокоподъемна. По сути, это все огромный радиомонтаж, но почему зрители, не переводя дыхания, смотрят? Полет над жизнью. Почему я, знающий роман почти наизусть, не могу оторваться? Это общие проблемы каждого человека? Это наш общий грех? Это счастье освобождения от собственных проказ и проделок? Я невольно могу сравнить этот спектакль Беляковича с театральным высказыванием покойного Юрия Любимова. У Любимова было только театральное высказывание, только Маргарита, с обнаженной спиной раскачивающаяся на часовом маятнике. Правда, сатанинский бал у Беляковича не без влияния «Золотого века» Юрия Любимова.

Днем читал свою последнюю книгу, она умна, тонка, но вряд ли будет иметь успех, на который втайне я рассчитывал: исчез мой читатель; тупо читаю учебник английского языка. Талант иссох? Ничего не пишу.

**27 ноября, четверг.** Ругаю себя, что в Дневник, сочинение вполне интимное, все время вставляю что-то общественное, касающееся государства, современной жизни и даже воровства. Мне-то зачем эта Гекуба? Думаю, что в этом есть какой-то мой детский протест против порядка, против власти, против общего несправедливого устройства. Это еще связано с тем, что в восьмидесятых я видел, куда все идет, что на несовершенное и не всегда справедливое надвигается еще худшее, даже отвратительное, алчное. Не квартирный вопрос, как по Булгакову, испортил человека, а эта самая алчность. Но разве несчастными дефинициями говорит литература? Она говорит с народом конкретикой или, как говаривали в школе, образами. Итак...

Через Интерпол – это сегодняшняя новость – разыскивается «православный банкир» и бывший сенатор Сергей Пугачев. Сенаторы вообще по статистике разыскиваются чаще, чем простые труженики! Немыслимо много, чуть ли не миллиарды, оказались в «несознанке». В наше время русское слово «воровство» не любят, пишут «хищение»,

«присвоение» – в нашем времени царствует эвфемизм. Православный банкир, кажется, живет в Лондоне. С лозунгом «присвоение» ловят и другого героя наших дней, директора, похоже, искусственно обанкротившейся, турфирмы «Нева» – здесь тоже деньги немалые. А о владивостокском деятеле, укравшем на строительстве моста через залив Золотой рог чуть ли не два миллиарда рублей, я, кажется, уже писал.

Днем, до того, как надо было ехать на ученый совет, посмотрел газеты. «Литературка» в связи с юбилеем Полякова, похоже, исчерпала весь свой пафос и показалась мне скучной. В «Российской газете», пролистав «общественные полосы», которые почти синхронизированы по своему характеру с оперативным телевидением, я все-таки нашел добычу: это несколько высказываний Андрея Кончаловского с мастер-класса во ВГИКе. Это может пригодиться и моей ребятне. Я выпишу лишь два фрагмента, но ребятам прочту всю статью.

**О талантах и заимствованиях.** «Талант не только в том, чтобы было красиво. И тут возникает краеугольный вопрос – зачем все это нужно? Я по молодости думал: умею снимать кино, только мне почему-то все время тройки ставят. Актерскому мастерству научить можно, а режиссерскому нельзя. Постигать режиссуру можно только через заимствования. Как сказал композитор Стравинский: “Талантливые люди заимствуют, а гении – воруют”. Сначала мы с Андреем Тарковским имитировали Альбера Ламориса (французский режиссер и сценарист, известный своими детскими короткометражными фильмами. – *Ред.*), потом возникли Куросава и Бергман. Да, заимствовали, переворачивали идеи знаменитых режиссеров по-своему. Только так можно нащупать путь в профессии».

**Про «селфи».** «Я вам не очень завидую. В годы моего студенчества информации было мало. Мы смотрели взрослое кино. То поколение еще читало. А сегодня Голливуд делает кино для подростков. У нас были стойкие идеалы, даже если они менялись – сегодня Матисс, завтра Бэкон, – они были великими, заслужившими свое величие.

Сегодня же ориентиры меняются с бешеной скоростью: успешно одно, а завтра совершенно другое. На вас наваливаются помои образов, картинок. Все всё снимают. И потом – “селфи”. Полный отпад. Оно как часть нашего с вами атавизма. Вот как первобытный охотник, не поймавший быка, рисовал его на стене. Это и есть наше “селфи”. Но картинка на стене хоть на века осталась. А про “селфи” никто не вспомнит и через полгода».

На ученом совете обсуждались вопросы с нашей библиотекой. Проблемы не изменились: теснота, пожарная безопасность, отсутствие денег, значит, и сокращенная подписка, и скудность в приобретении книг. Ах, этот постоянный крик нашего главного бухгалтера: «Нет денег!» Я врзался в наш благостно текущий ученый совет уже во время разговоров о книгах, библиографии и регистрации Института в индексе РИНЦ. На вопрос А.Н. Ужанкова, кто в этом виноват, пришлось по-солдатски ответить: «Вы!» Говорил – об этом, собственно уже писал – о деньгах на почтовые отправления, о грубости главбуха, о грязи в Институте, о том, что до сих пор администрация не может сделать наш журнал соответствующим требованиям ВАКа.

Машину после совета оставил в Институте и поехал в библиотеку Достоевского, где сегодня Н.В. Моторошилова читала лекцию о «черных тетрадах» Хайдеггера. Библиотеку нашел довольно быстро и просто ахнул, когда увидел один зал, с установленными в нем

компьютерами, полностью забытый молодежью, это студенты, готовились к экзаменам, а другой зал полный любителями – и молодежь, и люди старшего поколения – философии. Прекрасное состояние библиотеки, много книг, невероятно количество новинок.

Лекция Нелли Васильевны прошла, конечно, очень успешно. Весь сыр-бор с Мартином Хайдеггером возник, конечно, из-за нескольких высказываний о евреях. Но говорил он в своих тетрадах и о русских, американцах и англичанах. Естественно, цитировать еврейские пассажи Н.В. не решилась, а рассуждения о русских и американцах были. Я обязательно позже эти цитаты у Н.В. возьму.

Братя не пришлось, нашлись в ее статье в специальном журнале.

«Евреи, – пишет Хайдеггер, – издавна живут, обладая подчеркнуто расчетливой (или расчетной. – *Н.М.*) одаренностью (bei rechnerischen Begabung), и уже соответственно расовому принципу, почему они также резким образом обороняются от неограниченного использования этой способности. Устройство (Einrichtung) расистского взращивания возникает не из самой жизни, а из того, что жизнь подчинена власти *Machenschaft*».

Из этой же статьи Н.В. фрагмент интервью, которое взял влиятельный немецкий журнал у знаменитого исследователя и философа.

«*Die Zeit*: Господин Федье, Хайдеггер – антисемит? Вы всегда горячо оспаривали это, но теперь вам доступны отрывки из “Черных тетрад” немецкого философа; и даже для немецкого издателя Петера Травны, как представляется, исчезли сомнения в антисемитских исходных позициях Хайдеггера.

*Федье*: Конечно, ставшие теперь известными высказывания Хайдеггера о еврействе (*das Judentum*) и “евреях” предстают как шокирующие (уже это – ценное признание. – *Н.М.*). Но он сам в его время не мог воспринимать их как чудовищные (курсив мой. – *Н.М.*). И если я сегодня что-то скажу о “евреях”, например, об их юморе или их духовности – не столкнусь ли я тотчас и гротескным образом с той опасностью, что меня будут считать антисемитом?»

Господи, да обязательно будут! Вот только попадите в лапы какой-нибудь Ксении Лариной или Майи Пешковой, которая так разборчива в литературе.

Еще одна цитата из Хайдеггера. «Присвоить себе “культуру” как средство власти и тем самым утвердить себя, ложным образом обеспечив [свое] превосходство – это, в основе своей, и есть еврейский образ действий (*Gebaren*). Что из этого вытекает для культурной политики?»

Какие «действия» для «культурной политики» нацизма «вытекали» из сходных, с позволения сказать, мнений и убеждений, мы уже хорошо знаем: «вытекал» геноцид еврейской нации. Вряд ли сам Хайдеггер нацеливал свою нацию именно на это. Но объективно, в реальной истории все ведь произошло по нацистскому сценарию.

Теперь – англичане и тут же кое-что об американцах. «Англичане уже три столетия назад простились со всяким существенным началом. И тем, чем они больше не располагают, немцы не будут располагать еще и в следующие столетия. (Видите, достается и немцам! – *Н.М.*) Из этой промежуточной пустоты возникает война, которая не есть существенная борьба, потому что она ведется из-за Ничто, [соразмерного] Ничтожному. Эта война проистекает из забвения бытия со стороны пришедшего к своему концу нововременного человека. Всякая цель, которая ему дана, не достигает самого существенного. А американцы берут состояние ничтожности

(Nichtigkeit) как обещание для своего будущего, т. к. они все приводят к ничто (zernichten) в видимости “счастья” Всех. В американизме нигилизм достигает своего апогея». Несколькими строчками ниже Хайдеггер изрекает такое «пророчество»: «Самое раннее около 2300 года может снова возвратиться История. Тогда американизм исчерпает себя в силу избытка своей пустоты. Но до того человек будет делать свои еще непредвиденные шаги-вперед (Fort-schritte) в ничто, не будучи в состоянии признать, и стало быть, преодолеть это пространство своего быстрого продвижения. Воспоминания о прошлом (Gewesene) и скрытом существовании (Wesende) будут все более смутными и запутанными... Некоторое кажущееся богатство войдет в историю затяжного окончания Нового времени из-за того, что в этом конечном состоянии цивилизованного варварства (!) одни будут бороться за цивилизацию, другие – за варварство, но [обе стороны] будут делать это с той же манией расчетливости. Так возникнет соразмерная пустоте пустыня, которая полностью распространит вокруг себя видимость никогда не существовавшей полноты».

Лучше всего, мне кажется, философ относился к русским. «Необозримая простота русского начала (des Russehtums) включает в себя нечто непретенциозное и необузданное – и обе черты в их взаимоотноженности. Большевик, полностью нерусский, есть одна из опасных форм, способствующих вырождению сущности русского [начала] и потому развязыванию исторического процесса негативного движения; как таковая форма он приуготовляет возможность деспотии des Riesigen, но содержит и другую возможность – что это das Riesige выродится в безосновность своей собственной пустоты и лишит фундамента существование народа».

**28 ноября, пятница.** Уже когда вчера уезжал из Института, Л.М. сказала мне, что, наверное, завтра комиссия, которая нас проверяет, пойдет по кафедрам. <...> Приехал вовремя, запасшись собственным компьютером. Думал, что посижу, поработаю, но весь день провел в разговорах. Сначала в деканате Светлана Киселева рассказала мне о тех удивительных действиях, которые некий Х предпринимал, чтобы остаться на своем посту. Здесь я впервые подумал, не стоит ли вернуться мне к прежнему творческому мотиву: сатирическому показу жизни. И смешно и страшно. К концу дня из разных слухов выяснилось, что у комиссии есть значительные недовольства нашей деятельностью. Похоже, это касается финансов. Я это всегда предполагал и недаром совсем недавно на ученом совете единственный проголосовал против очень значительной и отчасти за счет других членов коллектива прибавки к президентскому гранту для наших проректоров. Сегодня эта тенденция вылилась в приказ, который, видимо, под давлением комиссии, вынужден был подписать А. Варламов, наш мысленный волк. Этот приказ за номером 514 от 27 ноября устанавливает с 7-го октября, т. е. задним числом новые оклады. Всем поровну – по 81 тысяче рублей. Но еще недавно наш главбух получала 180 тысяч.

**29 ноября, суббота.** <...>

Вечером смотрел и слушал трансляцию завершения проекта «Большая опера» из Большого зала консерватории. Замечательно. И – как прекрасно владеть искусством, где не надо истязать свои мозги! Читал Фуко, начал «Дурочку» Василенко – прекрасный образец, когда талантливый человек пишет высокоталантливую конъюнктуру. Такому можно позавидовать – так бестрепетно я не умею. Читал английский, слонялся по дому.

**30 ноября, воскресенье.** Болезнь или усталость, но вял, интеллектуально пассивен, ничего не пишу. <...> Разбирал на столе и откопал дар Валентины и Ольги Твардовских – книгу новомирских писем их отца. Поразились мощи, убежденности и прямоте великого поэта. Литература встает здесь в соответствующих ракурсах. Такое себе мог позволить далеко не каждый писатель, даже накрывшись одеялом. Сделал несколько выписок. Особенно хорошо письмо кумиру интеллигенции Паустовскому. Но выписывал все, что может пригодиться на семинарах.

Вот – К. Ваншенкину, с прекрасной раскавыченной цитатой из все предвидевшего Пушкина.

«Вы теряете не то что темп, а строй, серьезный лад, мельчите, равновато прибегаете к воспоминаниям об уходящей юности, на которых, как еще Пушкин говорил, далеко не уедешь».

В письме неизвестному мне И. Вернику поразительное соображение о том, что вообще является основой творчества. Возможно, кому-то в нашем времени это покажется привычным, но ведь освящено и Пушкиным, и Твардовским.

«Одно стихотворение оставлю в запасе “Нового мира”, – возможно, оно будет напечатано. Не спешите писать, спешите читать и думать. Желаю всего доброго. А. Твардовский».

Теперь письмо К.Г. Паустовскому, в котором так много всего, что я не решаюсь и комментировать. Крестьянин, помнящий и первородство, и путь, пишет капризному барину. Не могу здесь не вспомнить, что Марлен Дитрих, когда приезжала в Москву, будто бы вставала перед Паустовским на колени. Но как постарела его прекрасная проза! Я из большого письма выбрал отрывок. Твардовский прочел рукопись, а теперь вторично ее читает, но уже с оговоренными с автором поправками, которых кокетливо не оказалось.

«И нам, право, жаль, что, покамест – так уж оно получилось – результаты “перепашки” оказались, мягко выражаясь, малопродуктивными. Да, Вы внесли некоторое изменения в текст повести, кое-что опустили, кое-что даже вписали, например, странички, призванные разъяснить особое положение Одессы в 20–24 гг. Так Вы, объясняя “тишину” и, так сказать, свое право пользоваться благами этой “тишины”, сообщаете, что наступила она вследствие ухода рабочей части населения города – на северные фронты и в деревню от голода. Словом, ушли, нету их, нет необходимости их описывать. Согласитесь, что этот прием сходен с тем, что применяют авторы некоторых пьес, удаляя со сцены детей (к бабушке, к тетушке, в деревню и т. п.), мешающих взрослым резвиться на просторах любовной и иной проблематики.

Но дело, конечно, не в этом, а в том, что внесенные Вами исправления нимало не меняют общего духа, настроения и смысла вещи. По-прежнему в ней нет мотивов труда, борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море и всяческие красоты природы, самоценность искусства, понимаемого очень, на наш взгляд, ограниченно, последние могики старой и разные шелкоперы новой прессы, Одесса, взятая с анекдотически-экзотической стороны.

Не может не вызвать, по-прежнему, возражений угол зрения на представителей “литературных кругов”: Бабель, апологетически рас пространенный на добрую четверть повести; юродствующий графоман Шенгели в пробковом шлеме, которого Вы стремитесь представить как некоего рыцаря поэзии; Багрицкий – трогательно-придурковатый, – Вы не заметили, как это получилось, – придурковатый стихолоб и т. п.

И, главное, во всем – так сказать, пафос безответственного, в сущности, глубоко эгоистического “существовательства”, обывательской, простите, гордыни, коей плевать на “мировую историю” с высоты своего созерцательского, “надзвездного” единения с вечностью. Сами того, может быть, не желая, Вы стремитесь литературно закрепить столь бедную биографию, биографию, на которой нет отпечатка большого времени, больших народных судеб, словом, всего того, что имеет непреходящую ценность...»

### **1 декабря, понедельник.** <...>

Все потихонечку дорожает, приводятся в прессе примеры жуткого поведения наших предпринимателей и торговцев: если вы пользуетесь моей говядиной, то я хочу, чтобы вы платили за нее, как за новозеландскую! Наш предприниматель, о котором так печется наше правительство, опаснее, чем лихорадка Эбола, он в конце концов сожрет наше государство.

В связи с падением доллара сходил вчера в аптеку и купил два флакона «Симбикорта» – лекарства, которое закупается в Швеции, мне это лекарство жизненно необходимо. Заплатил около пяти тысяч, но на всю жизнь, которая, наверное, не длинная, не запасешься.

Утром к десяти поехал в Лит. Сегодня продолжается проверка, но вот сижу, жду, уже давно минул полдень, а проверяющей все нет и нет. По отзывам коллег, вся проверка, в соответствии со временем, идет по бумажному пути – все должно соответствовать стандарту, боюсь, что суть никому не интересна, а главное, никто не интересуется каким образом знаменитый вуз, еще девять лет назад гремевший по стране, превратился в заболоченное пространство. К трем стало известно, что нашей грозной проверяющей сегодня не будет.

Дома ждала счастливая неожиданность, пришло письмо от Валентины Александровны. Это особенность интернетовского общения. Еще вчера я послал записочку о книге писем Твардовского, которая меня не только умилила, но и привела в восторг. Наше хромое общество никогда не простит великому Твардовскому искренность его убеждений и народность. Особенность нашей интеллигенции: она хочет, чтобы ее считали дворянством. Итак, письмо дочери. Я бы не стал его сюда вписывать, если бы не пассаж о Дневнике.

«Спасибо, дорогой Сергей Николаевич, за Ваш отклик. Мы так и думали, что письма А.Т. будут Вам интересны. Рады, что книга пригостилась. Ваш последний подарок еще не освоен до конца. Но уже сейчас можно сказать, что Вы снова и снова находите необычные темы для разговора о явлениях столь же обыденных, сколь и неповторимых. “Опись имущества...” по-своему подтверждает, что Сергей Есин – писатель значительный и интересный. И все же, не удержусь напомнить, что Главная Ваша книга – Дневники. С уважением и признательностью В. Твардовская. Самый теплый поклон Вам от Ольги».

<...>

**2 декабря, вторник.** Из-за комиссии, которая, не уставая, роет, пришлось ехать на работу к десяти. Четыре часа болтался в разговорах, устал, а потом обсуждали первый готовый диплом – это был опять Тяжев. В известной мере это лишняя нагрузка, но обсуждать было нечего. Витийствовали Степа Кузнецов и Женя Былина. Это будет порода новых ученых, для которых литература лишь некая волнующая игра. Оба так и не смогли писать прозу и оба ушли в критику. <...>

Отчетливо понимаю, что до моих студентов придет в лучшем случае пять процентов того, что я хотел бы до них донести.

<...> интересным был разговор между одной нашей Литературной Дамой и нашим Литературным Деятелем, разговор проходил в общей комнате, и я невольно в него вмешался. Речь шла о собрании московского ПЕН-центра, которое должно будет состояться 16 декабря в ЦДЛ. Говоря о тех изменениях, которые в центре произошли – а здесь и влияние Улицкой, и большое количество вновь принятых новых членов вроде Льва Пономарева, были употреблены слово «бунт» и слово «ужас». Знающие люди поймут, что имелось в виду. Потом Дама стала говорить, что последнее время у нее выходит книжка за книжкой, а нет никакого отклика. Литературный Деятель, которого я всегда держал за аналитика, сказал, что в Москве, видимо, готовится свой майдан, и ПЕН-центру определена роль одного из идеологических очагов. Тут я злорадно и вмешался, напомнив Даме мою старую реплику, когда она выступила по телевидению в дни победы Путина на выборах, когда так много интеллигенции старалось перекричать друг друга. Я тогда ей сказал, что больше ей либеральной поддержки, к которой она привыкла, разъезжая по странам и ярмаркам, никогда не видать. На двух стульях сидеть невозможно. Но тут же я Литературную Даму успокоил. Дескать, я не самый плохой в России писатель, а в таком положении живу уже двадцать с лишним лет. И, как видите, жив. Привыкайте, голубушка!

Комиссия, кажется, находит большие финансовые злоупотребления у прежнего руководства. Теперь вопрос, замажут ли все это или сделают гласным. Мария Иванова рассказывала сегодня мне о той войне, которая ведется у нее на кафедре.

### **3 декабря, среда. <...>**

Приехал из МГИМО не только усталый, но и голодный. Встретил во дворе А. Варламова и увел его обедать. Алик и студентов, и свою клиентуру в маленьком зале – кажется, к нему ходят обедать из каких-то близлежащих контор – стал кормить много лучше. На этот раз был замечательный грибной суп-пюре и куриная печенка с гречкой. Во время обеда немножко поговорили, я сказал, что был против перехода в Минкульт, и объяснил почему. Рассказал также и о мотивах, естественно, как я их интерпретирую, которыми Б. Тарасов руководствовался, когда добивался этого перехода. У меня сложилось впечатление, что у Варламова относительно этих мотивов другое представление. Но, дескать, ведь именно Минобр объявил вуз неэффективным! На эту реплику ответил уже своей: нужен был особый талант, чтобы вполне благополучный вуз довести до такого состояния.

Сегодня же поругался с А.Н. Ужанковым. Желая блистать своей деятельностью, он прислал нам традиционную Минобразовскую форму для отчета по научной и научно-методической работе. Ну, с горем пополам я впишу что-то во все графы, еще впишет С.П., у которого этого много, но что будет вписывать Михайлов и Агаев? Спор был обострен тем, что на прошлом заседании кафедры в присутствии ректора мы в целом договорились о другой, как и положено в Минкульте для творческого вуза, форме отчетности. Но тогда Ужанков на кафедре не пришел и этого не слышал.

Ругань произошла в коридоре, встретились на противоположных курсах. Ужанков: вы должны отчитываться и подтверждать свои докторские звания. Я: мы преподаем в этом Институте не потому что мы доктора, а потому что мы выдающиеся для страны писатели. После ругани я позвонил в Щепкинское училище: а как отчитываются их профессора, народные артисты? Они отчитываются своими ролями в

театрах и кино. Кстати – и это немаловажно – никаких проректоров по науке в училище нет.

Дома застал большое письмо от Анатолия Ливри и статью Рене Герра, которая или уже напечатана, или будет напечатана. Все читаю, клановая склока, за которой и тонкости идеологии. В письме Анатолий в том числе пишет: «Жаль, что ты отмалчиваешься по этому поводу в СМИ. Все эти бурундуки (прости, Толя, фамилии я все-таки убираю. – С. Н.) ненавидят меня так же, как и тебя. Меня больше, так как жизнь ластится ко мне, она стирает этих “первых секретарей горисполкома и комсorghов постсоветской эпохи”. Раз вступив в контакт со мной, они выпотрошились самопроизвольно».

Вот и мой короткий ответ: «Дорогой Анатолий, рад твоему, как всегда, письму. Естественно, радуюсь и той поддержке, которую тебе в твоей нелегкой борьбе оказывает господин Герра. Он молодец и человек бесстрашный. Но у него каждый раз есть информационный повод, и он в теме этой борьбы. Я, честно говоря, по своей необразованности, вне этой темы. Я понимаю и люблю твою литературу, всегда готов поддержать все, что ты как художник делаешь, я понимаю и ту волну раздражений, которую ты поднял своим фактом литературного существования. Все видят в тебе очень сильного конкурента. Я ведь практически встречаюсь с тем же самым отношением к себе. Меня замалчивают, не любят, я раздражаю. Я не люблю ваших славистов, переехавших часто из московских кухонь. Они по-прежнему делят литературу на свою, аэропортовскую, и остальную, им всегда чужую, она поднимают на щит и переводят опять-таки своих, возможно они им ближе. Как правило, авторов без языка и с упрощенным синтаксисом и лексикой. Но как я могу вступить в твою борьбу без собственного знания, без чтения на языке, только с твоих подсказок? Я делаю то, что я могу. Кое-что из того, что до меня доходит, я фиксирую в своем Дневнике – а это документ, по которому, возможно, будут судить всех нас. (Это не мое мнение, это мнение много раз уже публично высказанное.) Имена, подобные тем, которые ты называешь, водятся и у нас. Возможно, наши помельче, пожиже, но они такие же. Я почти безошибочно могу проверять национальность приглашенных литераторов по двум дамам, которые ведут с ними интервью на одной из популярнейших радиостанций. Рано или поздно сгинут они все в пылу собственной борьбы, а мы, я надеюсь, выплывем. С.Н.»

Расцвел цветок на кустике орхидеи, который мне лет пять назад подарила моя ученица. Теперь, правда, таких кустиков в прозрачных пластмассовых или стеклянных горшках у меня на подоконнике шесть или семь. Обычно орхидея расцветает на мой день рождения. Дай бог, этот цветок тоже продержится.

**4 декабря, четверг.** <...> Комиссия, которую мы все на кафедре уже неделю ожидаем, опять не пришла. Завтра у нее последний день работы, может быть, минует. Дамы, которые работают, по слухам, копают довольно энергично, но, как и положено, хамоваты. Сидите и ждите.

День прошел продуктивно, потому что сидел над книжкой об этюдах. Вычитывал тексты, давал подзаголовки и названия. Пазл начинает складываться. Еще раз обратил внимание, какой талантливый народ работает у нас на кафедре! Большинство статей, которые входят в сборник, написаны ярко и убедительно. Сразу, правда, стало заметно, лучше пишут наши «практики», нежели «теоретики». Здесь и уровень наблюдений и стиль. <...>

Из Института шел пешком по Большой Никитской, мимо Консерватории. Улица уже совсем не та, что была во времена моей юности, и народ совсем не тот. Все ярко горит рождественским дорогим и буржуазным блеском. Люди с московских окраин здесь не появляются, я прохожу, боясь своим возрастом и видом что-то нарушить в этой чинной благодати. Главный недостаток – это старость, молодость всегда богата и вписывается в любое время. По пути в Кремль увидел в Александровском саду и новый, недавно открытый памятник патриарху Гермогену. Он стоит рядом с толстозадymi лошадьми Церетели, не украсившими окрестности. Памятник, кажется, неплох. Но любители сувениров уже отломали первую, сделанную из металла букву имени на постаменте. Кремль, вернее, вход в него тоже изменился. По бокам Кутафьей башни возник некий в стекле и в никеле пропускной пункт: все как в аэропорту – и рамка, и машина, просвечивающая портфели и дамские сумочки.

<...>

**5 декабря, пятница.** Вчера в своей речи Путин пообещал, что власти займутся спекулянтами на валютном рынке – сегодня рубль по сравнению с долларом укрепился на два рубля. Надолго ли?

Еще несколько дней назад Инна Андреевна Гвоздева договорилась, что мои дневники берут в библиотеку на исторический факультет МГУ. Это текущий фонд кафедры современной истории. Отвез с десятков томов, приклеив к каждому экслибрис. Одновременно была договоренность, что со мною встретится декан исторического факультета Сергей Павлович Карпов. Его книгу о венецианских мореходах я читал, и она просто взорвала мое сознание. Это о венецианской знати и о средневековом государстве, где отчетность и ответственность стояли несравнимо выше, чем в наше время.

Прежде я С.П. Карпова видел, теперь, у него в кабинете, рассмотрел. Академик элегантен, в сером костюме, который оттеняет удивительные прозрачно-голубые глаза. Я понимал, что с визитом затягивать нельзя, разговор сразу пошел. Начали с Академии наук, которую преступно реформировали. Я вспомнил о других, не принесших успеха реформах. Собственно, с Академии, которую основал Петр I, положив на нее вдвое больше, чем тороватый Людовик XIV, многое в России и началось. Видимо, в университете не все ладно вокруг очень немолодого ректора Садовниченко. Видимо, предлог – возраст, но и место кому-нибудь нужно. Сразу перешли на дурацкое правило западных университетов провозжать на пенсию профессию после шестидесяти пяти лет. Правда, там другие пенсии, но работа, это еще, как говорят медики, залог долголетия. Кажется, Карпову столько же. Я вспомнил совершенно с моей точки зрения нелепую отставку знаменитого слависта Вольфганга Казака, автора Словаря, с должности заведующего кафедрой славистики в Кельне. Ставка нашего псевдинамичного времени на молодежь не всегда оправдана. С.П. Карпов привел пример: нельзя было и мечтать стать дожем в Венеции моложе шестидесяти лет. С уходом Садовниченко «на заслуженный отдых» в университете, как я понял, многое может измениться. Ах, эти молодые доктора наук, которых я наслушался на наших защитах!

В разговоре мне пришлось вспомнить свои «исторические» романы – по меньшей мере, их у меня два – Ленин, нагло написанный от первого лица, и мой Кюстин. К моему удивлению, Сергей Павлович – записываю так подробно, потому что это один из немногих по-настоящему самого высокого полета людей, с которыми мне привелось встретиться, –

заинтересовался моей интерпретацией записок Кюстина. Обязательно отошло ему «Маркиза».

Пока ждал внизу, в вестибюле Ирину Андреевну, то разглядывал все объявления и – ведь живу в зоне парных случаев – наткнулся на недавно случившуюся презентацию книги все того же С.П. Карпова «Наградные системы мира». Пострадал, что, наверное, большая и роскошная книга, что мог бы попасть на эту презентацию. Но оказалось, что книга для меня припасена, – состоялся обмен: я отдал свои изданные дневники за двадцать с лишним лет, а мне досталась книга Карпова. Дома, когда я в нее заглянул, она оказалась роскошнее и увлекательнее, чем я даже предполагал. Ну, где бы я еще увидел, например, орден Бани или орден Подвязки, венки римлян-победителей!

Недаром мой друг юности Юра Апенченко говорил, просматривая мой Дневник: я бы умер, если бы за день делал столько, сколько Сергей. Любопытство меня ведет или долг мемуариста, захватить в свои сети побольше? К шести часам уже был на Смоленской площади, в гостинице «Золотое кольцо». Здесь 23-й Букеровский обед и Букеровская церемония. Когда сел за свой 15-й стол и всем налили по рюмке, то позволил себе произнести сепаратный, только для этого стола тост: «Что бы мы каждый по отдельности не думали об этой премии и очередном жюри, я хотел бы вспомнить о тех людях, которые нас здесь раз в год собирают. Часто это единственная возможность увидеть друг друга. Так выпьем же за здоровье этих энтузиастов».

Еще только войдя в гостиницу, внизу я встретил Александра Рукавишникова, нашего знаменитого скульптора, с которым мы встречались в комиссии по премиям Москвы. И скульптор хорош – я всегда удивлялся, каким образом он сумел пробиться, – и человек, выбравший своим знаменем справедливость и прямоту. Но еще раньше, самым первым, буквально на входе, был Захар Прилепин. Ритуально, не только от собственных чувств, но и на публику – да пусть глядят на русских и неизменно правых! – обнялись. Захар тут же, как бы при свидетелях, толпящихся вокруг, мне говорит: Сергей Николаевич, мне книжку, которую вы прислали, жена не отдала, прочла сама и сказала: «Есин – гений». Последовавшие детали не привожу. Это о моей новой книге «Опись имущества одинокого человека». Тут же, чтобы не тянуть: Захар первой премии не получил, только награда за короткий список. Дали Шарову за роман «Бегство в Египет». Слышал такое мнение, нельзя, чтобы все попадало одному. Это о Захаре Прилепине, только что получившем крупную премию за свой роман «Обитель». Да собственно при председателе жюри Арьеве, при членах жюри Денисе Драгунском и Анатолии Курчаткине – оба так существенно о себе думают – Захар премию получить и не мог. Кто был? Да, собственно, почти все, трогателен был Юзефович, вспомнивший нашу с ним встречу на совещании писателей в Оренбурге; я тогда был руководителем в его группе. А совещанием командовал Сергей Павлович Залыгин. Теперь о нем никто и не вспоминает! Видел Наташу Иванову и Сергея Чуприна, с непримиримым лицом прошел Роман Сенчин, Руслан Киреев, когда чуть выпил, вспомнил мне мою фразу. «Я тут же уйду, если в Институте будет задержка зарплаты».

Что еще совершенно необходимо зафиксировать – меню. Кормили, как всегда, прекрасно. Буду помнить от одного Букера до другого. Закуска: салат, похожий на оливье, зелень, две больших жареных креветки. Смена блюд, и еще одна закуска: два тонких, почти кружевных кусочка ростбифа на пушистом поле из рукколы. Потом пришла очередь

горячей закуски – роскошный рыбный рулет, похожий на пирожное. И конечно – горячее. Здесь всем был предоставлен выбор: медальон из телятины или рыба с сое из овощей. Я выбрал рыбу, она была прекрасно приготовлена, а в овощах числились болгарский перец, спаржа и – никакой картошки.

<...>

**7 декабря, воскресенье – 8 декабря, понедельник.** Два дня ничего не писал, даже Дневника, никуда не ходил, посвятил время чтению. Началось все случайно, утром лень вставать, почти на ошупь достал с полки рядом с постелью тонкую книжечку коричневатого цвета. Оказалось – старая книга Михаила Петровича Лобанова. «Страницы памятного». Почти антиквариат – 1988 год. На отдельных страницах есть даже мои пометки. Значит, когда-то прочитал. В моем возрасте всегда возникает вопрос: как прочитал. Открыл тоже произвольно и понял, что это мое чтение. Статья о творчестве Виктора Астафьева «Боль творчества и словесное самодовольство». О первичном и вторичном, давно хоженном в литературе. «Не слабеет напор индустриально-письменной продукции ничего общего не имеющей с художественной литературой. Это всажено в торжество того “творчества”, о котором еще простак Санчо Панса восклицал с искренним удивлением (хотя и произносил “пресонаяж” вместо “персонаж”): “Так стало быть автор жаден до денег, до прибыли? Ну, тогда это просто чудо будет, коли он напишет удачно: ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно портняжке перед самой Пасхой, – произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства”». А мы все говорим, что литература уходит, а критика несовершенна. Стареет не критика, а критики. Я еще, наверное, долго буду вспоминать Михаила Петровича, в этом году ушедшего из Института. Может быть, зря я его отпустил?

Цитата из Достоевского, «Сон смешного человека». «Мне вдруг представилась одно странное сближение, что если бы я жил прежде на луне или Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый срамной и бесчеловечный поступок, какой только можно себе представить, и был бы там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить разве лишь иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на Земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с Земли на луну, было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет?»

Конечно, мне вряд ли теперь удастся дочитать книгу Лобанова, живу слишком светливой жизнью. И кто теперь книги критиков дочитывает? Бедный Михаил Петрович! Ну, наверно, помнить тебя будут твои ученики.

С самого утра сердце болело за работы семинара во вторник. Как там окажется Ярослав Васильев, который, как заочник, ходит на семинар редко, и пишет – помню его первые опыты – очень манерно. В прошлый вторник он принес мне новую работу, и долго канючил, дескать, заканчивать ли ему Институт, поставлю ли я ему зачет, или нужно уходить. Я честно думал, что эта работа не станет лучше. Васильев, молодой парень из Ленинграда, ну, прицепился к Москве, здесь работает и даже, кажется, много получает как бухгалтер. На этот раз, вспомнив мои советы, он написал о том, что знает лучше всего, о бухгалтерии, о старых и молодых тетках. Большой отрывок называется «За шкафом», убежище от начальства и жизни. Крепко, без выкрутасов, ново.

Следующий мой студент для разбора на вторник это Степан Кузнецов. Ну, это мастер заковыристого письма, формалист, западник. Четыре его рассказы читаются с напряжением, скорее это даже не рассказы, а некоторые философские эссе с постмодернистской игрой. Есть и выпендрож, уже давно прошедший в литературе, некоторые геометрические фигуры, созданный из букв. Но я, похоже, уже знаю, как его представлять экзаменационной комиссии.

Собственно, в чтении и прошел день. <...>

Утром принялся читать повесть Олеси Николаевой «Литературный негр». Оказалось, много лучше, чем я предполагал. Это сатирическая вещь о большом отрезке времени, начиная с воцарения президента Ельцина. Остро, лихо написано, с расчетом не на элитарную литературу, а на сегодняшнюю публику. Образы двух главных героинь, при некоторой психологической статичности, безусловно, удались. Много церкви, эту тему Олеся Александровна хорошо знает, занятно, что здесь иногда у матушки Олеси Александровны звучат и сатирические мотивы. Писатель всегда остается писателем и ради своих писательских целей готов на все.

Перепечатаваю цитату о реставрации Кремлевского дворца. Она познавательно точна, почти так же я все воспринял, когда попал в эти отреставрированные под вкус первого президента России покои. Где-то об этом у меня написано в Дневнике. Как давно пора бы сделать общий ко всем томам словник и хороший указатель!

«Поначалу – первые месяц-другой – жизнь с Геннадием Аверьяновичем, пока он не начал своими методами ее воспитывать, внедряя реформу телесного организма покруче, чем Гайдар применял на теле России свою шоковую терапию, казалось Ольге прекрасный. Особенно она играла красками после всей суеты реставрационных работ на объекте “Корпус № 1”, где гнали уже откровенную халтуру. Лепили, лепили, лепили сплошняком медальоны, капители с разлапистыми и безвкуными акантовым листьями, фризы с иконками. Залепили доморощенным барокко все потолки, все стены. Следом шли позолотчики и, с щедростью восточных падишахов и восточных шейхов, покрывали все золотом, чтобы смотрелось – богато! За ними скользили суровые мужчины в серых пиджаках и галстуках и присматривали. Все как-то клубилось, стлकывалось, переругивалось, материлось. Все недоумевали: зачем Ельцину молельня? Недоумевающим давали понять, что если они не заткнутся... Все это выглядело безвкусно, бутафорски броско, и в воздухе носилось какое-то дурное предчувствие, что все кончится плохо».

<...>

**10 декабря, вторник.** Не успел приехать в Институт, как сразу узнал, что в следующий вторник четверо моих преподавателей могут оказаться на общем собрании ПЕН-клуба. Я уже знал, что там может произойти рубка между сторонниками Улицкой и людьми Битова. Сам я не в ПЕН-клубе только потому, что не могу считать всех писателей еврейской национальности одинаково гениальными и имею наглость о тех, кто плохо пишет, говорить, что они плохо пишут, не делая скидку на их особый статус. Писатели пишущие хорошо вообще не имеют национальности. Но главное, как я понял, в следующий вторник три или четыре семинара могут не состояться. Мог ли я это, как заведующий кафедрой, допустить? Нет, ребята, я, конечно, не против, чтобы вы шли на это собрание, но сначала давайте не в час дня, как обычно, а в 10 утра, проведем – это будет исключение – семинар, а уж потом идите

по своим правозащитным делам! Внешне никто неудовольствия не выказал. Меня это даже удивило!

Зарплаты нет уже два месяца, какая-то нестыковка между министерствами произошла. Вот тебе, бабушка, и Бори Тарасова день! Кстати, уже ходят слухи о каких-то запредельных суммах, которые бродят в отчетах проверяющей наш Институт комиссии. Боюсь, что кое-что нашему героическому начальству придется вернуть в кассу Института. Надеюсь, что акт и этой комиссии, как и комиссии предыдущей, я добуду.

Семинар прошел дельно, почти всех опросил, все признавали, что рассказы Степы по языку интересны, но все скорее умничали, делали вид, будто все, что написал Степа, им не понравилось. Мне это тоже не очень нравится, но я признаю, что в качестве эксперимента это по меньшей мере интересно. Много цитат из зарубежных философов и теоретиков – это и восхищает, потому что есть кругозор, но и раздражает – не свои. Здесь начитанность явно перевешивает способности. Цитаты из текста иногда бьют и по самому автору.

Ожидал плохую реакцию на материал Ярослава, но у ребят чутье, этот удивительно простенький материалчик – признали. А как я-то уж рад! Вроде Ярослав будет продолжать свою тему бухгалтерии. Кажется, это актуально и для нас в Институте.

<...>

**11 декабря, четверг.** Пришлось вставать утром – сегодня в Институте научная конференция «Шекспир и мировая литература», классику исполняется 450 лет со дня его рождения. Приехал к 10-ти, но зал был еще полупустой, сидели редкие студенты, которые, как и я, пришли согласно расписанию Института – оказывается, все начнется только в 11. Пошел пить чай к Светлане Викторовне в деканат. У нее, голубушки, как и у многих в Институте, свои жалобы на жизнь. Вот, дескать, закончилась проверка, а акт проверки, наверное, как и прошлый раз, опять от коллектива спрячут. Вспомнила, как после проверки Минобра Л.М. показала абзац, касающийся деканата, закрыв листочками бумаги все, что на странице было написано над этим абзацем и под ним. Не дай бог увидеть секреты, о которых ректор старательно умалчивал! Я, кое-что слышавший о результатах сегодняшней ревизии, сдерживал себя и по-малкивал. Хорошо, конечно, иметь в знакомых не только работников в министерстве, но и хороших, умеющих открыть все замки, компьютерщиков. Если результаты станут известны «народу», то вспыхнет бунт. Я их отчасти уже знаю, по крайней мере могу обнародовать мнение пожилых дам, проверявших бухгалтерию, кадры и финансы. Они считают, что наше командное ядро практически на себя тратило все деньги, которые Институт зарабатывает платным обучением, арендой и т. п. В акте, кажется, есть еще пункт о незаконных выплатах. Я подумал, что если дело дойдет до суда, то кое-кому может пригодиться пометка в его воинском билете, служба всегда дает снисхождение.

Зарплату за ноябрь еще не дают, уже два месяца не дают и грант, который, как известно, финансируется сразу за целый год. Здесь задержали студентам стипендию, и вдруг сразу в Институте нашлось два миллиона. В отличие от других времен, когда стипендия выдавалась через банковскую карту, на этот раз выдали живыми рублями через кассу.

Вдруг я подумал, что надо написать повесть, что Валя жива и наша жизнь продолжается в нашей квартире.

Открывал конференцию Б. Тарасов. Дальше я цитирую только то, что мне было интересно. Говорил о Шекспире как о знатоке тайн души

человеческой. Ну, это и мне близко, и близко Б. Тарасову, он-то уж по тайнам специалист! Мне почему-то последнее время стало его жалко, я представляю, сколько ему еще предстоит пережить. Я-то уже знаю цифры, которые или появятся в акте, или не появятся, но в реальности они существуют. Мне кажется, что опять возник тот, прежний, хотя и таинственный, но милый человек. Потом интересно говорил, как бы открывая конференцию, А.Н. Варламов. Для разгона было сказано несколько слов об упоминании Шекспира у Платонова и у некоторых других современных писателей. Но основное – это Шукшин и влияние на него Шекспира. Варламов как раз только что закончил публикацию в «Новом мире» своей очередной книги о Шукшине. Отец, враг народа, расстрелян. Гамлетовский комплекс вел Шукшина. Служил на флоте, в это время учил монолог Гамлета. Тут я вспомнил о своем романе про Веню, ведь тоже весь был построен на гамлетовской ассоциации, вспомнил о том, как в армии я тоже учил монолог Гамлета. У меня была книга перевода Лозинского с русским и английским текстом. Потом, когда я работал в «Кругозоре» и делал материал о Смоктуновском, тот как раз играл у Козинцева Гамлета, эту книгу с печатью нашей части 6852 подарил герою фильма. Как интересно все складывается в жизни! И чего, спрашивается, мне не предложили на конференции что-то сказать?

Еще до того, как началась конференция, приехал Валерий Луков, брат покойного Владимира Андреевича Лукова. Приобнялись дружески. Собственно, в списке выступающих мне были особенно интересны Валерий Луков, Олег Шайтанов и наш Джимбинов. Валерий выступал на конференции первым. «Шекспиросфера и культурные константы». Здесь был применен, разрабатывавшийся и покойным братом, тезаурусный подход как особый способ организации знаний. От своего к чужому. Процитировал академика Степанова: концепты становятся константами. Мы на них ориентируемся. Концепты существуют долгое время и захватывают большее количество людей. В качестве примера: «Ромео и Джульетта» – некоторое представление имеют об этом все, все знают, а вот о Муссолини уже многие не имеют представления. Широта и многомерность Шекспира позволяют играть в разные времена и в разных исторических костюмах. Культ Шекспира оберегает культурную константу. Луков перечислил сегменты, аспекты этой константы: рождение, биография; материальные свидетельства: например, существование театра «Глобус». Одним из сегментов может стать и функционирование в научном тезаурусе. Надо бы список этих сегментов посмотреть в книге Луковых, кажется, книга у меня есть. Заканчивал Валерий резонным соображением, что существует не только английский и русский Шекспир, но есть еще и китайский и индийский.

**Виталий Поплавский.** Начал с риторики: зачем переводить то, что уже переведено. Привел пример перевода «Гамлета» Пастернаком. Тот сначала сделал дословный перевод, а потом через некоторое время сравнил его с переводом Лозинского. Одиннадцать дословных совпадений на 1000 единиц. В XX веке другой, нежели в XIX веке принцип: уход от дословности. У Пастернака в письмах есть фрагменты о переводах Радлова, Чуковского, Маршака, Лозинского. Поплавский коснулся слабых сторон подлинника, и у классиков они есть. Как переводить слабые места? Пастернак не любил «Отелло». Не улучшает, как Маршак, текст, а упрощает, высвечивает содержательную суть текста.

**Игорь Шайтанов.** «Шекспировские сонеты: как переводить жанр?» Шекспир у англичан совершенно иной, нежели у нас, зато у нас каждое

поколение читает нового Шекспира. Далее фраза, которая меня буквально обожгла своей истинностью. В XVI веке адекватного языка в России для перевода Шекспира просто не было. Шекспир наш современник или мы современники Шекспира?

«Сонеты» в переводе Маршака. «Блистательно» – эпитет автора доклада. Но адекватно ли? Приводит пример, когда практически «похоть» под пером Маршака превращается в «сладострастие». Маршак сместил жанр: ренессансный сонет превратил в жестокий романс. Маршак один из лучших русских афористов – это как слагаемое успеха.

**Елена Черноземова.** О полноте восприятия или целостности. Заповедь апостола Иоанна: не назови своего ближнего безумным. Разное безумие. Гамлет, король Лир, Офелия, Отелло... Но иной контекст: во времена Шекспира напротив Тауэра больница для душевнобольных. В ряде пьес поднимается тема сумасшествия. В этом контексте все смотрится другим.

**Наталья Шлемова.** Много терминов, отсылок к философии, к великим именам древности, много слова «метафизика». Из шести сидящих в моем ряду, которых я могу видеть, повернув голову, двое спят. Правда, в конце выступления вспоминает Смоктуновского. И опять я подумал, что мог бы кое-что сказать. Онтологический крах. Если бы мне кто-либо перевел, что сказала эта умная женщина в студенческой аудитории.

**Александр Баранов.** «Заметки о Гамлете». Четыре эпизода. Один, об убийстве Полония, мне показался интересным: путаницы в речи королевы.

**Станислав Джимбинов.** «Место Гамлета в творчестве Шекспира». Элиот: Гамлет – это Мона Лиза литературы. Рассказал об истории создания портрета. Улыбка – примирение с миром. Хотя изменились критерии красоты. Писал четыре года и остановился. Гамлет – в середине жизненного пути. По языку не самое яркое сочинение, «Лир» совершеннее. Гамлет первый в мировой литературе интеллигент. При этом: самое длинное произведение. Здесь определенное и яркое представление о загробной жизни. Неколебимая вера в бессмертие. Поводом к рефлексии и безумию замужество матери. Невероятная жесткость. Садистская сцена истязания матери. Фауст тоже начинается с разочарования. Всего написал 37 пьес, только одной в современной Шекспиру литературе не нашли прототипа. Элиот о большом количестве именно художественности в пьесе, где зритель буквально к финалу должен был пройти по трупам.

После Джимбинова ушел, по программе дальше говорят в основном начальники, возможно, и интересные, но по моим понятиям «нужные люди». На кафедре несколько человек рассуждают о комиссии. Комиссия собрала свои бумажки и документы и на институтской машине съехала в министерство. Наш шустрый народ внимательно следил за всеми разговорами дам. После того как они полчаса исповедовались ректору по поводу недостатков, которые выявила «комплексная проверка», у них сложилось впечатление: «Кабинетный писатель. Ничем кроме своей зарплаты и своих книг не интересуется». Когда дошло до 90 тысяч его бюджетной зарплаты, то ректор вроде бы сказал: «Я предполагал, что больше». Но дамы его сначала уязвили, сообщив, что его второй юрист получает 60 тысяч, а потом успокоили, что раз в квартал ему будет полагаться премия в размере трех окладов. Нина в деканате, ведающая всем учетом, получает 12,5 тысячи.

В «Литературной газете» прекрасное, профессиональное интервью Лени Колпакова с Павлом Гусевым и статья Вячеслава Огрызко об отношении власти и Леонова. Самое удивительное в статье – это реакция Сталина на письма писателя. Читал, анализировал, разрешал уже запрещенные пьесы, давал советы, но и сам кое-что запрещал. Все факты, оказывается, безо всяких секретов лежали на виду, секретные документы давно рассекречены, но литературоведов и писателей двигать не заставишь, значительно веселее перебирать уже собранное зерно. Интересно, воспользовался ли этими документами Захар Прилепин?

**12 декабря, пятница.** Неделя невероятно напряжена. Сегодня приезжает Аня из Гатчины, наверное, встретимся сегодня или завтра втроем, еще будет Катя Варкан. Утром с Катей перезвонились. Будучи близким к Битову лицом, она сказала, что основные закоперщики смены власти и направления в ПЕН-центре, и Улицкая, и Рубинштейн, и некоторые другие, сейчас за границей, что вроде бы все разрядилось и Битов будет баллотироваться один. Я напомнил Кате, что отбирать писателей для Гатчины надо придиричиво – мы транслируем в народ нашу точку зрения на литературу. Одновременно вспомнили и нашего министра. Цитирую Интернет: «Член комитета Госдумы по культуре Марина Максакова в прямом эфире радиостанции “Говорит Москва” выступила с критикой высказывания министра культуры Владимира Мединского о финансировании отечественного кино, в котором он допустил фразу “Рашка-говняшка”. Она отметила, что подобный лексикон – “неподобающий для министра культуры”. “У меня есть некое личное разочарование, я это не скрываю. Как сказал Кобзон на прошлом совещании, процитировав великих прошлых лет: “Нам не страшен министр культуры – нам страшна культура министра”, – пояснила Максакова».

**13 декабря, суббота.** <...>

Решил сегодня устроить день чтения, уже читал английский, впереди монография о Канте, студенты и двенадцатый номер «Нового мира». Но сначала о вчерашнем разговоре с Максимом. Он внимательно следит за отзывами на мою новую книгу, их пока нет. Только Женя Лесин написал Максиму письмишко: не напишет ли Максим какой-нибудь обзор последней литературы, куда вмонтирует и отзыв на «Опись». Отдельную рецензию он, Женя, дать не решается – у них есть правило не рецензировать книг «Эксмо». Я все-таки связываю это с некоторым противопоставлением редакции Шубиной, которая печатает книги скорее либерального лагеря, с редакцией Юли Качалкиной, у которой больше и социальной и национальной терпимости.

Ну наконец-то прочел знаменитую «Венеру в мехах» Леопольда Захера-Мазоха. Это, конечно, великая книга, потому что автор не только утвердил свою фамилию во всемирно распространенном термине, но, главное, отыскал и сформулировал нечто ранее незафиксированное в человеческой породе. Книжка вышла в 1993 году, и вряд ли кто-нибудь кроме меня брал ее в нашей институтской библиотеке. С художественной точки зрения, а особенно из нашего времени, все это достаточно убого. Наиболее часто употребляемый эпитет – дивный – «дивные формы». Это о женщине. Первая половина книги это все-таки некое исследование, это интересно, вторая – эпизоды и «случаи», уже не вызывающие эротической дрожи. Но в самом конце книги некие теоретические соображения самого автора о создании образа. Здесь точно, полно и исчерпывающе.

«...Княгиня или крестьянка, в горностае или в овчине – всегда эта женщина в мехах и с хлыстом, поработщающая мужчину, есть одновременно

мое творение и истинная сарматская женщина. Я думаю, что всякое художественное творение развивается таким образом, как эта сарматская женщина оформилась в моем воображении. С самого начала в духе каждого из нас присутствует врожденное предрасположение улавливать некий предмет, ускользающий от большинства других художников; затем к этому предрасположению присоединятся жизненные впечатления, представляющие автору живую фигуру, прототип которой уже существует в его воображении. Фигура эта его захватывает, соблазняет, пленяет, потому что она опережает его предрасположение, а также потому, что она соответствует природе художника, который затем преобразует ее и дарит ей тело и душу. Наконец, в этой реальности, переплощенной им в творение искусства, он находит проблему, которая является источником всех проистекающих отсюда впоследствии видений. Обратный путь, от проблемы к фигуре – это не путь художника».

**14 декабря, воскресенье.** <...> из Ирландии приезжают Сара и Стенфорд и пришлось все отменять и организовывать им встречу. Все остальные дни у них уже расписаны, при том, что и сегодня вечером они встречаются со своим посланцем. Была все-таки надежда, что к пяти все закончится, оно и закончилось, но я выпил немножко шампанского и винишка и переел. Прости, Паша, дорогой мой ученичок! За столом – прибежал для представительства еще и С.П. – возник интересный разговор. Говорили в основном по-английски, что я не понимал или о чем не догадывался, то мне переводили С.П. и Сара. Насколько быстрее понимание приходит в живом разговоре. Сара обеспокоена тем формальным и холодным отношением, которое проявляют в Институте к ирландским студентам. Это касается их бытовой жизни и, кажется, учебы. Среди жалоб требование одного из ее студентов, «голубого» по ее словам, чтобы она вписала в какой-то внутренний документ, предваряющий студенческую поездку, абзац, в котором бы говорилось о плохом отношении в России к «голубым». Чтобы все знали куда едут. Умозрительные ли это соображения, возникшие из академических наблюдений, или бедному парнишке досталось от наших «натуралов»? Опять состоялся разговор, в котором много было прекрасных интеллектуальных полетов. Стенфорд говорил, что в юности пять или шесть раз прочел «Улисса». Да, конечно, это было другое чтение, но сейчас у всех у нас нет того времени и того ощущения расстилающейся перед тобой свободы и простора, которые жили в нас раньше. По словам Сары, русское отделение у них в университете сжимается. Из наблюдений – очень много в Дублине прибалтов, – может быть, половина их переехало в Дублин? – много украинцев, но эти в основном, как у нас таджики и киргизы, на черновой строительной работе. Зашел разговор о коррупции – это интернациональная примета времени, и у нас и у них, и о падении рубля. На этот раз Сара и Стенфорд остановились у «Метрополе», фантастически дорогой гостинице. Позволить себе такие цены они смогли только потому, что рубль так подешевел.

Уже поздно, когда Стенфорд и Сара ушли, забыв фотоаппарат, убирал посуду, смотрел «Вести» на ТВ, читал книгу Карпова о Канте. Дошел до Достоевского и Толстого, их понимание и отношение стало много интереснее. Сумею ли я прочесть «Критику чистого разума», ведь времени для получения этого гранд-удовольствия остается все меньше, но сейчас тоже получаю удовольствие, и, хотя все-таки читаю с трудом, и все равно хорошо. Мозги как бы проветриваются, дышать и жить становится легче. Помню могилу Канта – большой цельный камень возле

разрушенного собора, давно было, и площадь, на которой стоял королевский замок, еще не была приведена в порядок, безобразной гостиницы, которую увидел во второй или в третий раз, еще не было, сейчас собор в центре города отреставрировали.

**15 декабря, понедельник.** Утро началось со звонка Станислава Куняева. Начали мирно, книги, о покойном Кузнецове, а потом о подписанном мною вместе с Фазилем Искандером и другими известными писателями письме. Дескать, того я не знаю, в это не вник. Я бы, конечно, это письмо не подписывал, но тоже были дружеские, как и в сбитой группе Переверзина–Куняева, отношения, своих надо защищать. Положение, отвечал я Куняеву, хотя и на личном уровне, я все-таки знаю достаточно хорошо. Я помню большую статью в «Литературной России» и внимательно читал все, что писала пресса. Помню историю с дачей Жукова и многое другое. Помню даже, как Переверзин учился на ВЛК. Наконец, есть и моя собственная история: когда болела Валя, я в обмен на дачу в Обнинске просил дачу в Переделкино. Дали? И меня не волнует, что тогда был Огнев, а нынче Переверзин. Все расхотелось по своим. Когда Станислав Юрьевич начал говорить, что вот, дескать, они дают и как бы и другим, например, Игорю Волгину и Андрею Дементьеву, и почему ты, дескать, у меня не попросил, я вспылил: Андрею Дементьеву, у которого уже был участок в Красной Пахре и который десять лет прожил в Израиле? Мне гордость не позволяла становиться в ряд с такими просителями. Здесь я сказал, что разговор окончен и повесил трубку.

<...>

**16 декабря, вторник.** К семинару у меня была припасена большая цитата о создании образа из книги Леопольда Мазоха. Два материала, которые я прочел еще вчера, Влада Миронова и заочницы-пятикурсницы Юли Конроусовой, сразу же показались мне довольно удачными. У Влада некоторая чуть расхристанная современная молодежная история с убийствами, изнасилованиями и молодым победителем всего и вся. Занятая, чуть приклатненная, но и органичная и условная лексика. У Юли наоборот прекрасно выписанные сцены далекой и не нашей жизни – японские старики. Мне удалось вытащить там главную тему – тихая и покойная жизнь без любви, а в условиях традиции и долга. Спорили об этих двух материалах довольно долго и ожесточенно. Отстаивая свою идею – подобная литература не нужна, Володя Артамонов все-таки внес много полемического дыхания. Как критик сильно выросла Полина и, как всегда, готов, с конспектом и разумен был Саша Драган. После семинара Юра Суманеев, который в этом году закончил Институт и получил диплом с отличием у Толкачева, но ходит до сих пор ко мне и к С.П. на семинары, и Денис Дроздов, мой прошлогодний выпускничок, заговорщически заманили меня на кафедру и – помнят, паршивцы, – подарили флакон какого-то дорогого одеколона.

Событием дня, конечно, стало невероятное обрушение рубля. Собственно, и день начался с того, что в некоторых обменных пунктах за один доллар стали просить 100 рублей. Сегодня же Центральный банк ответил на это катастрофическое падение поднятием ключевой ставки до 17 процентов. Вечером, да и с утра, все каналы говорили только об этом. Был проведен и некоторый анализ. Не только падение цены на нефть, которая достигла 60 долларов за баррель – такой цены не было уже лет восемь, но и огромные спекуляции в первую очередь отечественных коммерческих банков. Этим банкам выгодно под небольшие

проценты брать в Центробанке кредиты, скупать валюту, продав которую по более высокой коммерческой цене, можно класть маржу в свои карманы. Очевидно одно: за двадцать с лишним лет отечественного капитализма режим воспитал не племя банкиров, а генерацию спекулянтов. Очевидно также, что такой большой стране, как Россия, надеяться всегда необходимо только на себя. Видимо, США и Китай могли бы обходиться без России, так почему мы так зависим от Америки? О правоте и прозорливости Сталина не говорю.

Из институтских дел только небольшой разговор с А.Н. Варламовым. Я ему сказал, что акт министерской проверки в Институте уже известен и его будущий авторитет, да и его будущее в Литинституте будут зависеть от того, насколько полно и беспощадно он этот акт на собрании представит. Акт я уже видел сегодня в руках у Игоря, о моих источниках не говорю. В наше время надо не рыться по корзинам с использованной бумагой, а уметь пользоваться Интернетом и иметь добрых друзей в противоположном стане. Варламов сказал, что перечитывает, уже под другим углом зрения, мои дневники.

<...>

**18 декабря, четверг.** Первым еще в восьмом часу прислал эсмэску с поздравлением Игорь. Грузчики нынче, видимо, встают первыми. Самому мне цифра исполнившихся лет кажется заоблачной. Правда, уже вечером, после семичасового непрерывного празднования позвонил Александр Иванович Горшков, человек еще в относительной силе и бодрости, по крайней мере еще пишет свои монографии, ему девяносто. Вспоминал, что в восемьдесят был еще совсем бодр. Поговорили о том, как легко и весело, несмотря на трудную жизнь девяностых, работали. Теперь – это ощущение многих в Институте: все переменялось, многое и обветшало.

Прежде чем переходить к подробному рассказу о том, как проходил день рождения – все в соответствии с традицией, даю накануне деньги, а Надежда Васильевна на кафедре всех кормит и поит, и все остаются довольными – я расскажу об одной недавней находке. Я решил посмотреть сайт Захара Прилепина и, к моему удивлению, обнаружил на нем некий материал, обращенный ко мне – опять день рождения! Но только четыре года назад. Проворонил!

#### СЕРГЕЮ ЕСИНУ 75 ЛЕТ

Помню, это было в середине 1990-х. Я тогда очень переживал по поводу противостояния меж писателями-либералами и писателями-патриотами. Я-то, конечно, был за красно-коричневую сволочь всей душой.

Но меня тогда несколько печалило, что среди “наших” нету писателей, скажем так, европейских. Один Лимонов. Мне казалось странным, что либеральные реформы в русской литературе не приняли в основном только те писатели, что пишут в своих сочинениях “неторопко”, “понеже”, “поди” и “помоляся”.

Я сам вырос в деревне и могу на таком языке разговаривать. А мне хотелось, условно выражаясь, чтоб красно-коричневая сволочь могла предъявить в ответ на, скажем, Битова соразмерную фигуру.

И тут, наконец, я ознакомился с сочинениями Есина. Есин только во-вторых, как я уже выразился, “наш” – то есть гражданин, ни разу не отрекшийся от “левых” идеалов, хоть сам из семьи репрессированного, – писатель, который позволял себе публиковаться в “Нашем современнике”, когда этот журнал воспринимался как приют черносотенцев и негодяев, – и человек,

прямо заявлявший уже в начале 1990-х о том, что происходящее в России – отвратительно.

Это сейчас, повторяю, такое может всякий себе позволить – а тогда для этого мужество было нужно: отрицающий пресвятую демократию человек автоматически становился изгоем в “приличном обществе”.

Вот Есин повел себя мужественно, факт.

Ну а, во-первых, Есин – это отличная литература. Более всего, помимо классического уже “Имитатора”, я люблю романы “Сам себе хозяин” и “Затмение Марса”.

Вообще я всё или почти всё читал у Есина – он разнообразный, неровный, но это все равно мастер, каких у нас поискать. Писатель с интеллектом в России (интеллект Есина виден уже на уровне языка, оптики, писательской походки) – редкость, что ни говори.

Ну и дневники Есина – просто упоительное чтение. Безусловная вершина жанра. Они издаются часто, и если кто не читал – рекомендую.

Сергей Николаевич! Поклон Вам!

Подарок себе – ох, запоздалое спасибо тебе, Захар! – сделан, можно приступать и к самому дню. Народ двигался, отчетливо помня привычную дату, с самого утра. К сожалению, чтобы не растерять силы, я не пил. Но уже вечером дома, когда вместе с С. П. привезли ко мне домой груды подарков, выпили бутылку шампанского и закусили замечательным украинским зельцем, вкус которого я помню еще с прошлого года. Это, конечно, Инна Андреевна и Таня Гвоздевы, в прошлом году я тоже получил еще и «мясной» подарок. <...>.

<...> пришел Саша Великодный (прекрасная авторучка), Зоя Михайловна (с традиционными носками), Елена Алимовна (она всегда знала, что я люблю сладкое), которая перехватила инициативу прекрасных речей, Людмила Михайловна (традиционная бутылка хорошего вина), потом Маша Зоркая, как всегда с полезными дарами. Приехал и недолго посидел Юра Апенченко, ему только недавно поставили в глаза новые хрусталики – теперь это почти рутинная операция. Юра одна из последних ниточек, соединяющих меня с прошлым.

Невероятно внимательны были мои студенты. Для пятикурсников я уже, конечно, отсохшее дерево. Правда, позвонил Миша, бутылка с портвейном «777», которую он, пробежав в поисках чуть ли не целый день, подарил мне на семидесятипятилетие, еще стоит у меня нераспечатанной. Первой пришла Алиса Тарсеева. Ребята уже знают, что я не принимаю помпезных даров, я всегда помню об их стипендиях. Так вот, Тарсеева принесла мой трогательный, уже в рамке со стеклом портрет, сделанный углем. Всем показалось, что слишком много морщин, но мне портрет нравится – схватила! А потом пришла целая толпа во главе с Алексеем Слета и Володей Артамоновым – подарок у них был чудный – принесли фарфоровую фигурку Остапа Бендера. Знают, что я люблю и собираю. Лена Путилова подарила мне еще магнитик на холодильник из Бреста.

Самый, конечно, трогательный был Максим. Я знаю, что буквально сидит без денег, но принес роскошный букет и прекрасный дорогой фирменный торт. Аристократ всегда аристократ! Как прав был Булгаков относительно породы! Речь его была без яда, но это была речь поэта. Я не был здесь два года, и такие перемены: новое здание, отреставрированный институт... На определенную обиду Максим имел право.

Приехал еще мой старый выпускник Антон Соловьев – его очередную великолепную фотографию я повешу дома. <...> Антон чудно

смотрелся рядом с Алисой Ганиевой, также забежавшей на кафедру. Люблю красивых людей.

К концу праздника был Тарасов, и опять – это другой человек, милый, воспитанный, очень русский. К этому времени все уже разошлись, но пришел Ленья. Его эрудиция и знание людей бесконечно. Тут же прочёл четверостишие Евтушенко практически о книге Тарасова, БН об этих стихах и не ведал.

Ночь. Метро. Ощущение землячества  
 Чью-то книжку плечом я задел.  
 И в руках у студентки покачивается  
 Чаадаев из ЖЗЛ.

<...>

Поразговаривали уже втроем: Ленья, С.П. и я – это опять тот удивительный полет интеллекта, который я так люблю. Но до этого забежала с букетом чудных сиреневых роз Соня Ланчу. Я всегда в подобных случаях думаю: ведь, может быть, из последних купила! Но не брать было нельзя, придется отдариваться. И как ей теперь, если придется, поставишь неуд!

Одновременно с моим днем рождения в Институте шли и другие, достаточно грозные события. А.Н. Варламова и главного бухгалтера вызвали по поводу недавно закончившейся проверки в Счетную палату. Они, правда, акт не подписали. В любом акте есть какие-то неточности, и слава богу, если что-то они отобьют. Сам акт ужасный, и главное в нем, это тот просвещенный цинизм, с которым «правлящая верхушка» отжимала в свою пользу большинство средств, зарабатываемых Институтом. Есть ряд пунктов, где написано о незаконных и неоправданных выплатах. Кто виноват? С молодых лет я всегда полагал, что в любых недочетах подразделения виноват начальник. Вечером, уже погрузив все подарки и в том числе трогательный веник для бани, который традиционно дарит мне Светлана Викторовна, я встретился с Алексеем Николаевичем. Но ведь главный бухгалтер был тот же! А я, будучи ректором, подписывал сам все до одного финансовые документы. В этом отношении у нас БНТ был как Сердюков. Я также говорил о чувстве справедливости и внутренней глубинной обоснованности в собственном сознании любого документа, который ты подписываешь. Посоветовал съездить в общежитие и пройти по Институту, познакомиться, например, с библиотекой.

<...>

**19 декабря, пятница.** Сегодня днем прилетает из Парижа Татьяна, сестра, надо ехать встречать ее в «Шереметьево». <...> Выехал из дома что-то в час, а уже в шесть привез путешественницу. <...>

С Таней всласть поговорили и о России, и о Франции. Она живет рядом с Сен-Назером и видела много интересного, связанного с «Мистральями». Демонстрации местного населения сменяют одна другую: то идут русские со своими флагами и плакатами, то украинцы кричат «Путин – убийца». Татьяна очень смешно рассказывала, как во время одной из таких демонстраций в ответ на украинские камлания выкрикнула: «Путин – лучший президент!» «Тебя сейчас разорвут», – сказала ее русская подруга. «Не пугайся, полиция за нас!» Как ни странно, устав от тирании «свободы и демократии», большая часть молодежи стоит за Марин Ле Пен. Таня преподает русский язык в Нанте и рассказывает

много интересного по поводу эмигрантов. Второе поколение чеченцев теперь исключительно за Россию и тоскует по стране, которую никогда не видело. Поговорили о падении рубля и буме покупок – им сейчас охвачена Россия. Иногда мне кажется, что вся эта катавасия с рублем, его взлетами и падениями, устроена исключительно для того, чтобы в магазинах смели застаревший товар. Рубль фантастически обесценился чуть ли не до семидесяти с лишним за доллар, евро подходил к сотне. Занятную фотографию мне прислал по интернетовской почте Семен Резник. Фотография, на которой священник в полном облачении машет кропилом возле открытых панелей огромного переплетения проводов и мелких деталей. Здесь же текст: «МОСКВА, ул. Неглинная, 2 декабря 2014 г. Священник изгоняет бесов из серверов Центробанка, отвечающих за поддержание курса рубля. По словам отца Виктора, исход потусторонних сил из ЦБ РФ может повлечь за собой укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам».

Было ли это в действительности или нет, а лишь интернетовская подначка – не знаю. Мой комментарий: «Не просите Бога о мелочах, думайте о главном».

**20 декабря, суббота.** Таня поехала на Ваганьковское кладбище, платить за место, я все-таки остался дома. Было решил купить машину, но ответственность все же у меня не перед рублями, а перед литературой, не поехал. Потом, амбиции у меня все же чисто крестьянские – мне нужна та же российская «Нива-Шевроле», к которой я привык и на которой я езжу уже девять лет. За завтраком Таня интересно рассказывала, как она, со своим русским менталитетом, поддразнивает молодых французов. На свой день рождения в «Русском магазине», что держит армянская семья, она купила крымское шампанское и все французские и русские гости выучили в этот вечер короткую, естественно на русском языке, максиму: «Крым – наш!» Она же рассказывала, как жадно смотрела по телевидению всю крымскую эпопею. По ее мнению, возвращение Крыма прошло виртуозно.

Днем перезванивался с Сережей Шаргуновым – возможно, день в день под рубрикой «В прошлом году» у них на сайте «Свободная пресса» пойдет мой прошлогодний Дневник. Поговорили о восприятии людей: у него и у меня общая путаница с именами и фамилиями, плохо запоминаем лица. Вероятно, это особенность писательского восприятия – своих героев-то помним, все остальное как менее существенное купировано! Я добавил в крошечный список этих недостатков еще одного персонажа и яркого носителя подобных свойств – Владимира Набокова. Он тоже – повторяюсь! – на первом занятии говорил своим студентам: места в аудитории пронумерованы, в течение года их не меняйте. Не помнил лиц.

День маялся, писал от руки пропущенные вставки в Дневник-2013, вечером смотрел ТВ. Татьяна изучала памятные места в Москве, Красную площадь, ГУМ. Нашла, что Москва, по крайней мере центр, необыкновенно ухожена и отмыта. <...>

**21 декабря, воскресенье.** <...>

На улице опять дождит, давление резко упало, никаких нет сил и, значит, никакой утренней зарядки. Так всю жизнь себя вела покойная Татьяна Алексеевна, мать Татьяны. Но ведь дожила до 90 лет, правда при французской медицине, у которой есть специальные клиники для старых людей.

Снова лег в постель и принялся читать прекрасную книгу, подаренную мне А.Н. Ужанковым, «Слово о Законе и Благодати и другие творения

митрополита Иллариона Киевского». Смутно помню текст по университетским годам, в отрывках из хрестоматии. Здесь другое дело, не своды или куски фундамента, здесь над Землей появляется Величественное Здание. Здесь – стиль, не наигранный пафос, первозданность и искренность веры. Очень здорово, понятно, откуда взялся русский язык и как язык в нынешнее время радиальных волхвователей отошел. Прекрасный перевод «Слова» тоже, кажется, А. Н. Ужанкова.

Снес же Моисей с Синайской горы Закон,  
А не Благодать,  
Тень, а не истину.

Или:

Иудеи при свече Закона  
делали свое утверждение,  
христиане же при солнце Благодати  
свое спасение созидают.  
Так иудейство тенью и Законом утверждалось,  
а не спасалось,  
христиане же истиною и Благодатью  
не утверждают, а спасаются.

Кажется, я все о том же. Являются ли для меня олигархи, даже те, кого суд освободил, применив закон, праведниками, а не ворами, отторгнувшими кусок хлеба у нищего.

На последней странице обложки этой книги, напечатанной у нас же, у Лешы Козлова, в издательстве «Академика», перечисление многих и многомудрых занятий Александра Николаевича: «Проректор по научной работе Литературного института им. А. М. Горького, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ), Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Университета истории культур (УНИК), Сретенской духовной семинарии (СДС), Высших богословских курсов при МДА». Не слишком ли много, чтобы выполнять свою работу и везде – с честью? Но все это в духе времени, в том числе и в духе нашего чиновничества. Не хочу, конечно, зла Александру Николаевичу, а только ищу справедливости. Но вот кусок из акта нашей последней проверки.

«Согласно приказу от 28.02.2013 № 64 в рамках исполнения НИР «Русский Север в отечественной прозе XX века, проблематика и поэзия» были установлены годовые оклады не за конкретно выполненную работу по указанной теме, а в целом на год. Так, по указанной теме исполнителем значится 1 человек – Дьячкова Е. В., однако годовые оклады установлены и директору научно-исследовательского сектора Ужанкову А. Н. и главному бухгалтеру Института Зиновьевой И. Н. В 2013 году за счет целевых средств им выплачено с начислениями соответственно – 32,8 тыс. руб. и 13,6 тыс. рублей».

Это мне напоминает знаменитую карикатуру «Один – с сошкой, семеро – с ложкой».

Но книжка Ужанкова, выпущенная у нас в Институте Лешей Козловым, вызвала у меня и другие чувства. Здесь, конечно, вполне правомочно вложены институтские деньги, но издана книга еще и «при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям». Сколько раз мы говорили с Лешей о том, что он под-  
аст от имени издательства документы в Агентство и на мои «Дневни-  
ки», но он слишком закопался в своих не самых простых делах. Не до  
меня! Ах, Леша, Леша!

Потихонечку пишу, читаю, разбираю подарки. <...>

Между всеми домашними делами прочел еще небольшой материал  
к послезавтрашнему обсуждению своей студентки и еще три больших  
материала на студенческий конкурс. Это семинары О. Николаевой –  
Катерина Ненашева, экстатическая проза «Фантомная боль», семинар  
Р. Киреева – Антон Милорадов, «Сгореть», высокого качества испове-  
дально-маргинальная проза, и семинар Малягина – очень занятная, со  
своим миром и видением пьеса Полины Бабушкиной «Как мы убивали  
дядю Ваню». Всё запомнилось, всё крепко; колеблюсь между пьесой и  
прозой Милорадова. Проза ярче, эффектнее, беспощаднее, но знаю, как  
трудно в пьесе организовать округлый замкнутый мир. Что касается ху-  
дожественной прозы Е. Ненашевой, то слишком большой напор на ме-  
тафору, на отчаянную, всё покрывающую художественность, и почти  
нет новой мысли, без которой проза мертва. Проза Ненашевой привер-  
стана к июньскому номеру журнала «Литературная учеба». Номер по-  
священ Шукшину. Там статья О. Николаевой «Шукшинской тропой» –  
о четырех ее студентах, написавших очередной литературный мани-  
фест. Я эту Шукшинскую тропу не почувствовал – Василий Макарыч  
писал удивительно просто. Сам номер мне тоже не очень показался.  
Зачем Алексею Варламову надо было что-то печатать о Шукшине, ког-  
да через несколько месяцев «Новый мир» начал печатать его новую  
о Шукшине книгу. Да и вообще, здесь, в журнале, скорее проводится  
принцип нужных людей, чем подлинные опыты литературной учебы.  
Впрочем, не без удовольствия прочел статью о Шукшине легендарной  
Аси Берзер, узнал, что Шукшин дружил с Инной Соловьевой, и по тек-  
сту наблюдал, как один автор в своих воспоминаниях противоречит  
другому.

<...>

**23 декабря, вторник.** <...>

Кроме моих второкурсников на этот раз на семинар заглянули Глеб  
Гладков, Миша Тяжев, Маша Поливанова с новым окрасом и новыми  
на руках бранзулетками; были Женя Былина и Степа Кузнецов, которо-  
го я беспощадно в предыдущих Дневниках называл Семеном. Прости,  
Степа! Степа и Женя, подразумевая мой недавно мелькнувший день  
рождения и мою приверженность к традиционному умному письму, не  
без значения подарили мне, кроме прекрасного шарфа, еще и две книги:  
Аркадий Драгомощенко «Устранение неизвестного» и огромный том  
«Русская проза». Имена на обложке совершенно неизвестные. Значит,  
как я полагаю, по мнению ребят, проза экстрасовременная, передовая,  
модерновая. Наверное, что-то похожее собираются сдать мне хлопцы в  
качестве дипломных работ. Учитесь, дескать, Сергей Николаевич! Как  
читателя меня обнадеживает лишь «+18» на обложке. Но выпуск этого  
тома русской прозы посвящен прозе дневниковой. Обмен опытом?

Но был и еще подарок – Володя Шахиджян. Он единственный,  
кто платит мне за электронную версию Дневников. Платит в высшей  
степени хорошо. Не ищи «нужных людей» – дружи с юности.

Олеся Александровна подарила мне крошечного стеклянного ангела  
и книжку своих стихов. Я поздравил ее с премией, хотя по опыту знаю,  
премии не прибавляют читателя и его любви.

Клуб Рыжкова состоялся на роскошной площадке Геологического музея. Это самый старый после Кунсткамеры музей в России. Народа было не слишком много, но гвардия была на месте. Это, конечно, Геннадий Воронин, адмирал Касатонов, академик Месяц, Олег Толкачев, последний министр сельского хозяйства СССР Черноиванов и другие бывшие министры – на этот раз последний министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных и знаменитый летчик-испытатель Анатолий Квочур. Разговор шел за накрытым столом – как я понимаю, и роскошное мясо, и соленые грибы, и сало, и ассорти напитков: «Медовуха», «Хреновуха», разносолы, пироги, пышки – это все, видимо, из Переславля-Залеского, с фермы еще одного нашего члена клуба.

Когда я вошел, Н.И. Рыжков уже вел собрание. Сидел я от него довольно далеко, слышно было плоховато, но по обыкновению записывал. Всю политику, Украину, падение рубля пропускаю. О нашем бюджете: 62% доходы от нефти, 38% – всё остальное, промышленность, сельское хозяйство и т. д. Но в Арабских Эмиратах доходы от нефти составляют лишь 18%. Это буквально меня потрясло. Говорили о сельском хозяйстве. Вспомнили – вопросы продовольственного замещения – знаменитое высказывание Д. Медведева: «Мы можем накормить страну и половину мира». Гипотетически можем, если бы страной руководили арабские шейхи. <...>

Адмирал Касатонов рассказал, как двадцать лет назад нам удалось отстоять от захвата флот, находящийся в Севастополе, от притязаний Киева. Крым был взят нашей армией, именно она не позволила подняться антирусским силам. Войска были стянуты к Сочи, чтобы прикрывать Олимпиаду, это рядом – 22 тысячи человек. Потом эти сочинцы оказались в Крыму.

Невероятно интересно говорил академик Месяц. Это об Академии, специально кое-что пропускаю. В общемировом научном бизнесе наша наука имеет 0,8%. 1,7 миллиарда (наверное, долларов; это бюджет нашей Академии) имеет захудалый американский университет. Сейчас, как стало известно, наука будет секвестрирована еще на 10%. Институт, которым Месяц руководит, получит в следующем году на 40 миллионов рублей меньше. О некомпетентном чиновнике, который пришел руководить наукой.

Когда Месяц закончил свою речь, я спросил у него, почему так свернули Академию, кто виноват, чья была инициатива. Ответ получил.

<...>

**24 декабря, среда.** <...>

В Москве подморозило, резко опустилось, как и вчера, давление, довольно в плохом самочувствии пошел в МГИМО. С вечера проверял присланные мне работы, думал, что всё, но утром новая порция. Но, может, оно и к лучшему, начну с разбора домашнего задания. Так и сделал. <...> Это последнее занятие, пожелал ребятам хорошего Нового года и успехов во время сессии, и вдруг они, будто не стовариваясь, захопали в ладоши. Я знаю, как закончить семинар на высокой торжественной ноте, после которой хочешь не хочешь захопаешь, а тут я всё сказал тихо, без пафоса, без особой печали, даже буднично, и вдруг – аплодисменты. В МГИМО ребята очень сдержанны уже в силу названия института – международные отношения! Очень тронут, очень!

Но продолжу, так сказать, международную тему.

Председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинецвич предложил пересмотреть постановление Съезда народных

депутатов СССР, назвавшего Афганскую войну ущербной в моральном и политическом отношении. Давайте все-таки признаем, что советские солдаты десять лет сдерживали «расползание по миру чумы экстремизма». Сегодня, по мнению Клинецевича, который сам участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершенно очевидно, что постановление Съезда народных депутатов СССР было принято по конъюнктурным соображениям, не имеющим никакого отношения к исторической правде.

Вечером, когда вернулся, по телевидению показали замечательную картинку: некий гражданин в роскошном бараньем тулупе, скроенном, видимо, по парижским лекалам, взасос обнимается на киевском майдане с каким-то высоким государственным чином, только что прибывшим из Америки. Тут же сообщили, что роскошный хлопец в тулупе – это управляющий директор Московской биржи! Не расслышав имени высокопоставленного бизнесмена и списка его гражданств, утром я залез в Интернет. Хорошо, что залез, мне показалось, что фамилия тулупчанина Суржик, а он оказывается Сульжик!

«Газета “Известия” в среду сообщила, что депутат-единоросс Евгений Федоров направил обращение руководителю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой “провести проверку по поводу возможных нарушений российского законодательства управляющим директором Московской биржи по срочным рынкам гражданином США и Украины Романом Сульжиком”. Депутат счел необходимым напомнить СКР, что топ-менеджер биржи “поддерживал сторонников вооруженного переворота на Украине”, а также предположил, что в дни паники на валютном рынке 16–17 декабря Сульжик сознательно подрывал стабильность рубля и вредил российской экономике».

В четыре часа вместе с Евгением Широковым были у Галины Михайловны Шерговой. Мне после МГИМО было несколько тяжеловато, хотелось бы попозже, но Галина Михайловна торопилась отпустить помогающую ей в быту женщину, а порядок наших встреч уже давно определен: мы – цветы и торт, а нас, как всегда, кормят обедом. Выпили даже по рюмке водки. А ведь я в нашей компании самый молодой – всего 79 лет. Время, а ушли уже в десятом часу, пролетело незаметно. <...> Г. М. очень интересно рассказывала о Литинституте и своём учителе Сельвинском. Какой огромный пласт литературы оказался вымытым при нынешнем режиме! Советский режим более расчетливо относился к литературе. И суп был хорош, и мясо с овощами, и водка, когда ты её настаиваешь на лимоне. Но надо еще обязательно добавлять столовую ложку сахара. Вспомнили о знаменитом цикле передач «Голоса нашей биографии», у истоков которого стояли Широков и Шергова. Я абсолютно уверен, что рано или поздно его снова покажут по телевидению. Разве биографию, как и жизнь, можно изменить?

**25 декабря, четверг.** <...> Сегодня в Институте ученый совет. <...> На повестке дня главный вопрос – проверка Минкультуры. Ректор сразу же сказал, что написал о комплексной проверке как бы под давлением самого министерства. Полагаю, что узнал многое. Как он теперь с этим грузом знания и с людьми, о которых он кое-что занятное узнал, будет работать, не очень представляю. Но всё и стерпится, надеюсь, и слюбится.

Сценарий заседания, видимо, разрабатывался и, надо сказать, был даже изыскан. Начали двое упитанных и свежих молодых людей. Они организуют некий фонд, 10% прибыли от которого пойдет Институту.

Нужны, как я понял, адрес и имя института для названия фонда. Сытые и хорошо тренированные мальчики представляют управляющую компанию. Потом выяснилось, что это всё инициатива Владимира Григорьева. Со слов нового ректора. Все мои попытки выяснить, кто же будет жертвователем, меценатом, донатором, окончились неудачно. Управляющие мальчики один за другим говорили о банках, организациях, людях, которые готовы жертвовать, но ни одной фамилии, ни одного конкретно названного банка. Все, конечно, проголосовали за, демонстративно воздержался – Есин. Наверное, не доживу ни до разборки с этим будущим фондом, ни до какого-нибудь громкого судебного дела.

<...>

Что касается проверки, здесь умный ректор умыл, как говорится, руки, и говорили наши проректора. В задачу каждого входило сказать, что проверку проводили люди некомпетентные, всё напутали, всех оболгали, живем мы правдиво и честно. Ни слова о финансовых нарушениях, о зарплатах наших проректоров и главбуха. Ректор, правда, с раздражением отметил, что, дескать, акт комиссии гуляет по Институту. Но так как акт ни народу, ни ученому совету не предъявили, то я беру на себя смелость привести из него хотя бы одну цитату. Это черновик акта, если в беловом варианте будут поправки, я обязательно это отмечу.

«В нарушение указанного трудового договора ректору Института Тарасову Б. Н. неправомерно установлена стимулирующая надбавка в размере 40,0 тыс. руб. за счет собственных средств. Таким образом, ему неправомерно выплачено с начислениями 781,2 тыс. руб., в том числе в 2013 году 625,0 тыс. руб., в 2014 году – 156,2 тыс. рублей».

Бедный, как Йорик, Тарасов!

«Кроме того, в нарушение статьи 166 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях направления работников в командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749, ректор Института Тарасов Б. Н. без распоряжения работодателя – Министерства образования и науки Российской Федерации или уполномоченного им лица по собственному приказу выезжал в 2013 году в командировки в Болгарию г. Варну (с 03.06.2013 по 07.06.2013) и г. Камчия (с 22.08.2013 по 29.08.2013), в Италию г. Верона (с 27.06.2014 по 29.06.2014) за счёт принимающей стороны. При этом за время нахождения в командировке ректору Института Тарасову Б. Н. неправомерно начислена и выплачена за счет средств субсидий заработная плата в сумме 17,4 тыс. руб. с начислениями».

Я всегда восторгался, когда бедный Тарасов уезжал куда-нибудь во время приемных экзаменов. Какой, думал, смельчак.

«Кроме того, ректор Института Тарасов Б. Н. по собственным приказам без согласования с Министерством образования и науки отбывал в отпуск. Так, на основании приказов от 25.06.2013 № 326 и от 05.09.2013 № 398 Тарасов Б. Н. отбывал в отпуск без согласования Министерства образования и науки Российской Федерации».

Но пора отпустить этого персонажа на покой, замаливать свои грехи. Впрочем, у кого их нет, и себя я тоже ругаю за гордыню, за правдоискательство, за беспокойство, которое доставляю другим. Займемся другими дорогами фигурами этого канцелярского балета.

«Должность главного бухгалтера в Институте занимала Зиновьева И. Н., должностной оклад которой установлен в 2013 году – 128,3 тыс. руб., в 2014 году в сумме 180 тыс. руб., с 07.10.2014 – 80,1 тыс. рублей. Главный бухгалтер Зиновьева И. Н. по совместительству на 0,5 ставки

занимала должность начальника планового отдела. В 2013 году выплаты Зиновьевой И. Н. составили 2180,7 тыс. руб., в том числе 1339,1 тыс. руб. за счет собственных средств. За 9 месяцев 2014 года выплаты составили 1535,3 тыс. руб., в том числе за счёт собственных средств 890,1 тыс. рублей».

Сумма 128,3 тыс. рублей в месяц это, как мы видим, основная зарплата комсостава, которую читатель, интересующийся высшим образованием в небольшом вузе, должен запомнить. Именно во столько оценивался при прежнем режиме труд не только главного бухгалтера, но и всех проректоров. Чего они все испугались, вдруг, как только перешли в Минкульту, снизив себе зарплату до 81 тысячи, я не знаю. И, в конце концов, бюджетные деньги. Уж если министерство хочет столько платить своим высокоинтеллектуальным работникам, это его дело. Но ведь своя рука владыка, поэтому начальники за счет денег, которые добывает весь Институт, подняли себе свое содержание. У всех дети, машины, часто внуки. Я, мелочный и завистливый человек, вслед за немолодыми и ушлыми женщинами из министерской комиссии, так сказать, по их следам и по их наметкам подсчитал, что было отломано от бюджетного пирога, а что получено от институтского приварка. На официальном языке это называется «за счет собственных средств». За 2013-й год и три месяца 2014-го. Держись, геолог! За счёт собственных средств: Тарасов – 756,4 тыс. рублей; Стояновский – 1450,4 тыс. рублей; Ужанков – 1341,1 тыс. рублей; Курышев – 1073,8 тыс. рублей; Царева – 2946 тыс. рублей; Зиновьева – 2229,2 тыс. рублей.

<...>

Поехал в банк и там свой миллион рублей, который я собрал за жизнь, переложил на другой депозит. Ну, если быть правдивым, другой миллион на старом депозите лежит у меня и в другом банке. Но не столько же, конечно, как у некоего главного бухгалтера!

Все это происходит на фоне невыплаченной за два месяца зарплаты и куда-то подевавшегося президентского гранта. Руководство, конечно, ссылается на чужие бюрократические ошибки, но я полагаю, что при наличии своры высокооплачиваемых проректоров и архиввысокооплачиваемого бухгалтера приподняться со своего высокого кресла было вполне возможно. Наш генералитет, конечно, проживет, но каково лаборантам, младшему персоналу, чуть ли не написал «бухгалтерам».

По каналу «Культура» уже почти в полночь второй день идет чудная передача Ренаты Литвиновой о нижнем женском белье. Чудо как интересно, и чудо как здорово несет себя сама Рената.

<...>

**26 декабря, пятница.** Утром Сергей Доренко в своей басовитой манере по радио рассказывал, чем отличается внутренняя установка нашего общества от советского. Там установка во всех классах общества была на интеллигентность, на внутренний мир. Все хотя бы хотели казаться интеллигентами. Модно было не только читать, но и говорить о литературе и искусстве. Девочка на радио, ему, Доренко, аккомпанирующая, запищала что-то о великом Илье Кабакове, который, дескать, вынужден был уехать из страны. Ну, Кабаков не великий художник, хотя его творчество имеет право на свою страницу в истории. Очень доходчиво ей Доренко разъяснил на примере: Ахматова, изданная тогда 40-тысячным тиражом, была бы в то время распродана за 20 минут. В наше время 40-тысячный тираж – это событие в издательском бизнесе.

<...>

Вечером же начал читать и дневники Эриха Голлербаха. <...> Это впечатления от жизни интеллекта, человека, посвятившего свою жизнь чтению и работе в искусстве. Понимая, что не утерплю, чтобы что-то из этой сокровищницы не выписать, лезу в конец книги за сведениями об авторе. Искусствовед, литературовед, критик, прозаик. Родился в 1895-м в Царском Селе, умер в 1942-м в Вологде, во время эвакуации из Ленинграда. В 1933-м арестован, но вскоре освобождён. Читаю в состоянии интеллектуального полёта.

### **28 декабря, воскресенье.** <...>

Днем с упоением лежал и читал дневники Эриха Голлербаха, поражаясь интеллектуальной высоте и полетам духовной жизни автора. Здесь кроме по-настоящему самостоятельных размышлений о современной ему жизни много, как и у меня в Дневниках, цитат и ссылок. Карандашом их отмечаю, но улучшать свои тексты за счет цитат, найденных другим, не очень хочется. Выписываю только то, из принадлежащего Голлербаху, что буквально поражает меня своей точностью и похожестью на то, о чем думал и я сам. Я взял пока три цитаты; ощущение, что это мои взгляды.

### **Писатели люди своеобразные**

«Наблюдая среду, окружающую меня в Курорте, и сравнивая ее с Коктебелем, убеждаюсь, что рабочие (особенно старшее поколение, здесь преобладающее) воспитаннее и приличнее, чем писатели. Здесь в столовой не бывает такого оглушительного гама, какой стоял в Коктебеле за каждой трапезой; тут никто не ревет во все горло стихи Маяковского и Прокофьева; тут не сплетничают, не кобелируют, по вечерам не орут под окнами хоровых песен; даже за столом сидят и едят приличнее».

### **О любви и близости**

«Подлинно интересная близость может быть только с женщиной, которую хорошо знаешь, с которой глубоко связан. Только прочная и давняя привязанность дает живую радость полного (пусть иллюзорного, как всякая связь, поневоле заменяющая нам невысказанное здесь слияние) общения. Вспоминаю часы, попусту растроченные в теплопрохладной болтовне с разными знакомыми обоого пола: сколько безрассудной, ненужной щедрости, какое неуважение к своему времени и покою».

### **О подлинном в творчестве писателя**

«Есть писатели с “побочным” творчеством, которое гораздо интереснее и важнее их “основного” творчества. На широкую литературную дорогу их вынесло именно “основное” – в свое время, очевидно, актуальное и даже ударившее по сердцам “с неведомою силой”. Но злоба дня всегда преходяща, а успех – вовсе не мерило качества. Проходят десятки лет, иногда даже века, и выплывает “побочное” – иногда малооцененное или даже вовсе не замеченное современниками, – и оно оказывается прекрасным и нужным. Иначе говоря, с опозданием узнается настоящее лицо писателя, обычно мало похожее на тот образ, которым он знаменит. Взамен условной схемы, мертвого трафарета, исторической маски выступают живые, конкретные черты. Маска – для “улицы”, для толпы, для энциклопедий и учебников. Лицо – для посвященных, для поклонников, избранников, знатоков».

Мне, горестному, кажется, что это написано о моих Дневниках.

**29 декабря, понедельник.** <...> В Институте новость – вроде бы деньги пришли, и завтра они могут оказаться на карточках наших со-

трудников. Вчера, несмотря на выходной день, ректорат работал и – по слухам, что-то делили. Я думаю, разбрасывали те 20% от президентского гранта, который распределяют в самом конце года. Это всегда очень занятно, как начальство бьется между пристрастиями и объективным вкладом каждого. На всякий случай я попросил взять для меня в бухгалтерии у СЛС (счастливой любительницы сладкого) распечатку.

На кафедре Марина, которая ведет работу по добыванию биографий и библиографии у наших мастеров для книги. Она мне напомнила о недавнем дне рождения А.Е. Рекемчука. Позвонил, поздравил, а Александр Евсеевич, который постоянно держит руку на пульсе жизни, сказал мне, что в «Литературной России» опять некоторая инвектива на Литинститут. Я пообещал ему: приеду домой и найду всё в Интернете. Приехал, нашел, это Слава Огрызко, наверное, справедливо возмущается, что во время заседания в Доме Пашкова Оргкомитета по проведению Года литературы в России закрыли читальный зал отдела редких книг и рукописей. Проводил всё Нарышкин, а он – лицо «охраняемое». Это обстоятельство дало возможность Славе, как всегда, побуянить и высказать свой взгляд на литературный процесс. В конце абзаца, который я собираюсь процитировать, есть ссылка на ректоров последнего времени, значит, возможно, и на меня. Объективность призывает, но прежде о приятном.

Пачки с тиражом Леша Козлов сложил в пустующем помещении бывшей Книжной лавки. Поэтому, чтобы книги вызволить, позвал книгопродавца – Василия Николаевича Гыдова. Вася снял помещение где-то рядом, но к нам по старой памяти залетает. Вася и помогал мне книги грузить в мою старенькую «Ниву». Так вот, Вася сказал мне, что два последних тома моих Дневников под одним номером вошли в список из лучших пятидесяти книг этого года по версии книжного приложения «Ex-libris» «Независимой газеты». Еще раньше я где-то прочел, что Андрей Аствацатуров назвал Дневник одной из десяти, по его мнению, лучших книг года. Вася, которому я оставил сто экземпляров Дневника-2012, на мой вопрос о постоянных покупателях, ответил, что они есть, постоянно меня покупают иностранные библиотеки.

Ну, вот теперь дошли и до «абзаца». Вот он, голубчик, заодно уж для будущих читателей скажу о наших писательских праздниках:

«Год литературы начинается весьма печально. Отчасти в этом виноват не кто иной, как председатель оргкомитета по проведению Года литературы, он же председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Видимо, решив быть поближе к писателям и читателям, он на очередное заседание оргкомитета позвал народ не в парламент, а в Пашков дом. И всё бы хорошо, если б не одно “но”. Ради него 18 декабря вход в отдел рукописей, изоотдел, в другие, располагающиеся в Пашковом доме читальные залы главной библиотеки страны – я имею в виду Российскую государственную библиотеку, бывшую Ленинку, – доступ читателям был закрыт. Объяснение смехотворное: мол, Нарышкин – охраняемое лицо. Позвольте, Путин тоже охраняемое лицо. Но он сделал выводы после своего давнего и, надо сказать, неудачного посещения Пашкова дома и, когда собрался в ноябре прошлого года на Российское литературное собрание в Университет дружбы народов, то занятия для студентов отменять не стал. Люди проходили в университетские аудитории по студенческим билетам и профессорским удостоверениям.

По идее, Нарышкину абсурдность изоляции читальных залов Пашкова дома должны были объяснить руководители Ленинки. Но они,

видимо, с советских лет страшно бояться поправлять высокое начальство. Как объяснил мне новый советник руководства Ленинки Николай Сахаров, до этого почти два десятилетия просидевший в аппарате Госдумы в качестве советника сначала Геннадия Селезнева, а потом Бориса Грызлова, закрыли читальные залы для того, чтобы государственным мужам удобнее было бы вырабатывать государственную политику в области литературы. Вот такая забота, но не о читателях, а о чинушах.

А что писатели, принявшие участие в заседании оргкомитета: Татьяна Устинова, Захар Прилепин, Алексей Варламов?.. А ничего. Устинова, похоже, и не знала, что в Пашковом доме не только заседают сановные люди, но еще и работают исследователи. Но с ней всё ясно. Что взять с бывшей пиарщицы, которая тоннами клепает примитивные детективчики? Удивил Варламов. Он ведь не только кучу унылых романов насочинял. Он доктор наук, в свое время защитился по Пришвину, много работал в архивах и должен понимать, что значит для исследователя быть отлученным от редких книг и рукописей классиков. Но этот писатель, видимо, вызывает к справедливости только тогда, когда под ударом критики оказывается важный кремлевский чиновник, поспособствовавший его новому назначению в Литинститут. В других случаях бороться за справедливость и за права читателей ему, вероятно, боязно. Ведь могут отлучить от больших постов и не избрать ректором. Но нужен ли Литинституту столь боязливый ректор? Может, пока не поздно, подобрать другие кандидатуры, отличающиеся большим профессионализмом, умеющие принимать соответственные решения и обладающие харизмой. Литинститут устал от посредственных руководителей. Он ждет ярких и смелых личностей, а не трусов».

<...>

Когда уже уезжал из Института, то на вахте мне передали письмо с новогодним поздравлением от Т. В. Дорониной. Я всегда перепечатаваю ее подобные послания, во-первых, потому что это и приятно и статусно. Сегодня я делаю то же самое, но мысли совершенно другие. Печатаю как еще и некий неподражаемый образец той духовной жизни и владения чувством и словом, которые в своем большинстве общество потеряло. Как же обмельчала наша духовная жизнь! Что сами-то мы пишем в наших эсэмэсках, что говорим по нашим мобильным телефонам! Распластываюсь перед интеллектом и духовной мощью великой актрисы.

«Дорогой Сергей Николаевич!

Пишу Вам в канун Нового года и Рождества Христова и вижу, как склоняетесь над листом очередной книги или статьи. С Новым 2015 годом, дорогой Сергей Николаевич! Считаю очень важным сказать Вам теплое слово ободрения и нежности именно в новогоднюю ночь. Всегда рада видеть Вас в театре, но эти встречи бывают такими короткими, и на душе остается невысказанное тепло.

Ценю нашу дружбу, наши общения, остроумие Ваше. Надеюсь, что Вы будете беречь своё здоровье, энергию Вашего таланта, понимание, что Вы очень дороги и нужны людям.

С Новым годом, с новым счастьем, с новыми свершеньями!»

**30 декабря, вторник.** <...>

Утром дочитал мемуары Эриха Голлербаха, опять делал пометки на полях, возможно, кое-что спишу в собрание цитат. Если надумаю переиздавать под каким-нибудь коммерческим брендом «Власть слова», придав тексту через заголовок типа «Как стать писателем» коммерче-

ский оттенок, то некоторые высказывания могли бы пригодиться. Вот только одно, из почти забытого Константина Паустовского.

«У меня есть одна слабость: мне хочется возможно большее число людей приохотить к писательству. Часто встречаются люди, пережившие много интереснейших вещей. Багаж прожитой жизни они таскают всюду с собой и тратят попусту, рассказывая случайным попутчикам или, что гораздо хуже, не рассказывая никому. Сожаление о зря погибающем великолепном материале преследует меня непрерывно. К таким людям я обычно пристаю с просьбой описать всё пережитое, но почти всегда наталкиваюсь на неверие с их стороны в собственные силы, на испуг и, наконец, на ироническую усмешку. Плоская мысль, что писательство – вздорное и недостойное занятие, до сих пор колом сидим в мозгах многих людей. Большинство ссылается на свое исключительное пристрастие к правдивости, полагая, что писательство – это вранье. Они не подозревают, что факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт, освещенных слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей в сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол».

<...>

**31 декабря, четверг.** Утром банк буквально завалил меня деньгами – видимо, Варламов потряс и нашу бухгалтерию, и министерские кадры, и все бюджетные долги пришли. Даже Ашот похвастался, что ему дали премию. Я прикинул, что этот премиальный остаток в институтском бюджете возник из-за того, что деньги перестали растворяться на верхушке айсберга. Здесь несколько составляющих: новый ректор, акт и некоторые факты в нем, о которых написала комиссия, возможно, не обошлось и без моих инвектив на ученом совете, застеснялись.

На встрече Нового года были сосед Мих. Мих., С. П. Сын С. П. Сережа, которого тоже пригласили, сказал, что как человек верующий – прости, папа, – считает, что встреча Нового года – язычество. Сейчас идет пост. Я к Новому году надел черный костюм, белую рубашку и бабочку. Прикрепил к костюму две или три большие звезды, которые мне вручали в начале перестройки, веселил себя. <...>

Было много, как обычно, телефонных звонков. Тронул звонок Саши Белова из МГИМО – звонил и поздравлял от имени группы.

По телевизору была какая-то эстрадная невнятица. Ощущение, что это класс английского языка, все или почти все пели на английском. Киркоров в фиолетовой обтяжке и с массой перьев на голове. Здесь вспомнилась Кончита Вурст.

## Стихи по кругу

**Максим АМЕЛИН**

*Москва*

\* \* \*

Слышу сквозь сон рокот немолчный где-то поблизости,  
точно в ночи прибыл товарный поезд на станцию,  
полный пустых бочек железных, и перекачивать  
принялись их с места на место крепкие грузчики.

Вижу, глаза приоткрывая, всполохи яркие,  
будто трубу в доме соседнем водопроводную  
вдруг прорвалó, но за починку без промедления  
дружно взялись в масках и робах грозные сварщики.

Хоть и с трудом, но начинаю в тёмном сознании  
перебирать бочки и трубы, связь их нащупывать,  
и не могу, – знать, происходит битва великая  
на небесах, здесь отзываясь блеском и грохотом.

### Памяти Михайла Семенка

*Мертвопетлює авіатор в хмарах.*

Всё знают о тебе страна и люди:  
одной дают, другой берут врасплох.  
Плывёт по небу голова на блюде;  
на землю чёрный сыплется горох.

Стручок шершавых виршей и трескучих  
на дереве мичуринском созрел.  
Мертвопетляет самолётчик в тучах;  
выводят речетворца на расстрел.

\* \* \*

Я спал в самолёте «Пекин – Москва»;  
проснулся, глянул в окно,  
а там, внизу, – пустая Сибирь,  
и только волчьи глаза  
сквозь дымку вышек огнём нефтяных,  
поблёскивая, горят.

Одной извивающейся змее  
другая вцепилась в бок:  
вдоль каждой в разбросах полуколец  
заметны следы борьбы, –  
я знаю, что там впадает Иртыш  
не в Иппокрену, а в Обь.

И сон как будто рукой сняло,  
мне виделись наяву  
железных и клацающих клыков  
желтеющие ряды,  
стекающий медленно липкий яд  
с раздвоенных языков.

## Виктор МАХРОВ

*Выкса, Нижегородская область*

\* \* \*

Не за горизонтом – где-то дальше,  
Не за облаками – где-то выше.  
Там, где голос мой никто не слышит.  
Там, где никогда я не был раньше, –  
Там должно быть то, что мне незримо,  
До чего нельзя мне прикоснуться.  
Те, кто там блуждают, – не вернуться,  
На земле не будем мы едины.  
Тем далеким людям светят звезды,  
Те, что не видны обычным взглядом.  
Там, где не бывает слишком рано,  
Там не может быть и слишком поздно.  
Нас туда не пустят раньше срока.  
Срока, что отмерен нам судьбою.  
Мам, мы повстречаемся с тобою  
Где-то у вселенского истока.  
Из того великого фонтана  
Бьют ключом серебряные искры.  
Все, кого привык считать я близким,  
Обнимать меня с улыбкой станут.  
В парке под дубами вековыми,  
Что расстелют кроны облаками,  
Все, кто уходили стариками,  
Снова меня встретят молодыми.

\* \* \*

Странный был вечер – в сквере на лавочке  
С тобой разругались мы врызг.  
Ты подарила мне сердце на палочке,  
А я его сгрыз...

Между собой говорили лишь мельком мы,  
 Как герои веселых реприз.  
 Ты угощала меня карамельками,  
 «Раечка» и «Барбарис».  
 Ты говорила, что хочешь в Италию,  
 Флорентийского выпить латте.  
 Я загляделся на бедра и талию,  
 И утонул в декольте.  
 Свет погасили внезапно и затемно,  
 День так внезапно уплыл.  
 Я вспоминал, что же на дом мне задано,  
 Но прочно забыл.  
 Нас незнакомцы снабжали шкатулками,  
 В которых мне слышался джаз.  
 Мы зашагали во тьму переулками,  
 За руки крепко держась.  
 Странная ночь – на пустом подоконнике  
 С тобой разругались мы вдрызг.  
 Ты протянула мизинчик свой тоненький  
 И прошептала: «Мирись»...

## Рустам МАВЛИХАНОВ

*Салават*

### Самум

Моё тело – песок,  
 Дух – движение вечной пустыни:  
 Иссущающий вдох,  
 Выдох – плетью на плечи рабыни.

Моя кровь холодна –  
 Закипает на бледной полыни,  
 Мои жизни – вода –  
 Оставляют лишь трещины в глине.

И сомненье как эхо,  
 Злой огонь в недрах диких ущелий.  
 Умирать мне не к спеху –  
 Даже смерть не имеет здесь цели.

Это тело бредёт,  
 Пожирая оазисы-раны.  
 Джинна долог излёт  
 К истреблению метящий страны.

И багровой звездой  
 Царь печалей всего мироздания –  
 Первозданный изгой,  
 Не простившее Бога создание.

## Стальное

Если однажды в закате карминовом путник  
в часе восьмом, или в двадцать один по старинному счёту,  
встретит тебя, сам китайского имени сутью,  
на чёрном ковре меж мирами живых и ушедших,  
на тёплом асфальте беззнойного сизого неба –  
последняя дверь, его улица, дом пять и восемь,  
(счёт здесь неведом, счёт здесь неведом, счёт здесь неведом) –  
странствуя годы и тысячу с тысячей с тысячей лет  
(Может быть, звали когда-то его Агасфером?  
Сколько раз кожу меняет змея, человек – свои души?),  
услышит вопрос от тебя, ввитый в локоны смоли,  
ознобом горящий во взгляде дрожащей Вселенной,  
с рукой, обещающей чашу иных наслаждений  
(перед ними все женщины меркнут, как перед Иштар – шлюхи),  
с призывом к страстям, что испить не дано и за тридцать столетий,  
с намёком на долг, что тебя проведёт сквозь стальные эпохи  
(где даже не кровью платить и неведом лик смерти):  
Обнять твои плечи, рискнув позабыть всё в себе человечье,  
рискнув потерять саму память о Доме богов, песни пьющих,  
глазами шахида заставив сам Космос рожать вечно звёзды,  
иль всё же уйти за пределы миров всеживых и немёртвых,  
в царство холодной, безумной, слепящей Свободы,  
и ветром нестись по-над тёмными водами жизни,  
тебе улыбаясь с молчащего Синего Неба –  
что выберет он? Выберет он, выберет кто?  
И кто будет молвить устами твоими и телом?

## Александр ВДОВИН

*Салават*Кошачьи шахматы  
(Премудрому Кроту)

На лужайке у ворот  
Рыжий кот и чёрный кот.

Не помнут малютку-клевер  
Строго сложенные лапы.  
Чёрный кот глядит на север,  
Рыжий созерцает запад.  
Две минуты без движенья,  
Три. Одновременно встали,  
Своё местоположение  
На лужайке поменяли.  
Строго сложенные лапы,  
Даже не кивнут друг другу.  
Чёрный кот глядит на запад,  
Рыжий взгляд направил к югу.

Человеку бесполезно  
Изучать, снимать их, слушать...

Резко вдруг сорвутся с места –  
Их зовут хозяйки кушать.

\* \* \*

В тихом озере дремлет изгнанник.  
Он печален и черен. Во сне  
Вспоминает неведомый странник  
Лишь о ней. Лишь о ней. Лишь о ней.

Рыбы мимо него проплывают,  
Плавниками касаясь корней.  
Рыбам ведомо все, но не знают  
Лишь о ней. Лишь о ней. Лишь о ней.

И пускай он навеки растает,  
Неизбежно поглощенный дном.  
Он мечтает, что где-то мечтают  
Лишь о нем. Лишь о нем. Лишь о нем.

**Петр РОДИН**  
*Воскресенское*

## Тишина

*Андрею Иудину*

Зеленух с грузочками,  
Будто на подбор,  
За болотной кочкою  
Презентует бор.  
Осень распогодилась,  
В лес маня.  
Красотища в кузове  
У меня.  
Рекс – дружок преданный,  
Лучший в мире пёс,  
От поганок-врединок  
Свой воротит нос.  
На грибы охотиться  
Он привык.  
Сделал стойку – вытروпил  
Боровик.  
А лисички-лапочки  
Так и льнут к рукам.  
Листья, словно лампочки,  
Гаснут тут и там.

Листопадный, медленный  
Вальс-полёт.  
Дуновенье вечностью  
Из болот.  
Помолчать положено  
В чреве тишины.  
И грибы, похоже, нам  
Больше не нужны.  
Думы паутинками:  
Мир каков!..  
Из болота вывести  
Рекс готов.

### Осенний лес

Осенний лес, в преддверии разлуки  
Прими меня в скудеющий массив.  
Эпитет в строчку просится «красив»,  
Но мрачен ты во вдохновенной скуке.

А облака кропят макушки сосен  
Тяжёлым непролившимся дождём,  
И кажется, что жизнь *была*, но вёсен  
Хоть сколько-то осталось. Подождём.

Весенний бред, как и печаль о лете,  
Хоть закричись в туман: «Не уходи!»,  
Полощут листопадные дожди  
Необратимо, как и всё на свете.

И никакой я тайны не открою,  
Печаль и боль наивны и смешны  
Перед великим таинством покоя  
И перед вечной правдой тишины.

## Из будущих книг

### Алексей ИВАНОВ

Родился в 1969 году в Горьком. В 1971 году семья переехала в Пермь. Окончил Уральский государственный университет. Работал сторожем, школьным учителем, журналистом, преподавателем университета, а также гидом в турфирме.

Автор 20 книг, изданных общим тиражом более миллиона экземпляров: «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Псоглавцы», «Ёбург», «Ненастье» и др. Произведения Иванова включены в программу курса по современной литературе для вузов. Автор, сценарист и продюсер телепроекта «Хребет России». Живет в Перми.

### Юлия ЗАЙЦЕВА

Окончила Пермский государственный университет, затем училась в Санкт-Петербургском университете по специальности «PR». Кандидат филологических наук. Работала преподавателем на кафедрах русской литературы, журналистики.

С 2006 года продюсер писателя Алексея Иванова. Руководит продюсерским центром «Июль». Генеральный продюсер и ведущий-испытатель документального телепроекта «Хребет России».

### ДЕБРИ\*

(Фрагменты)

### МАНГАЗЕЯ ЗЛАТОКИПЯЩАЯ

#### История Мангазеи и пушного промысла

Мангазею построили безбашенность и расчёт.

К концу XVI века в Заполярье набежало много разных людишек. Спасались от государственных податей, от судов и долгов, прятали награбленное или искали выгоды там, где соболей – что снегов, а царёвых казначеев днём с огнём не сыскать. Мангазея – самая северная duty free на планете, к тому же отсюда через Ледовитый океан можно было выйти на европейские рынки, жадные до мягкого золота. В обход казны

---

\* Алексей Иванов, Юлия Зайцева «Дебри». Книга по истории российской государственности в Сибири: от Ермака до Петра. Выйдет в феврале 2017 в издательстве АСТ.

шёл гигантский пушной трафик. Обуздать его и направить в государев карман Борис Годунов в 1600 году послал князя Михаила Шаховского с войском. Экспедиция была тут же разгромлена инородцами, князь ранен. Подозревали, что местным самоедам побить царского посланника помогали русские, которые надеялись и дальше промышлять в этих краях бесконтрольно.

Однако князей у государя много, и каждому подавай соболиную шубу. На следующий год покорять Мангазею послали другого князя, Василия Мосальского, с отрядом в двести вооружённых до зубов воинов. Они и выполнили царский наказ: «отыскать места лутчево, которое бы угодно, крепко, и водяно, и лесно, и впредь бы в том месте городу стоять было мочно, и всякие торговые люди с товары мимо того острогу не обходили никоторыми дорогами и никоторыми делью». Деревянный Мангазейский острог был заложен на руинах старого незаконного поселения на высоком берегу большой реки Таз. С двух сторон его защищали притоки поменьше, а с тыла прикрывали непроходимые леса и болота, находить дорогу в которых умели только собаки и олени местных жителей.

Через три с лишним века археологи с трудом поверят, что великолепный архитектурный ансамбль, достойный лучших произведений мирового зодчества, смог вырасти из вечной мерзлоты Заполярья. Стройные колокольни церквей и пять башен острога крестами пропороли низкое северное небо, предупреждая небесного всадника Мир-Сусне-Хума, что посадки не будет: под копыта его боевого лося здесь уже не положат серебряных блюд. Кроме крепости выстроили двести домов, гостинный двор на двадцать торговых лавок, два приказа, винный подвал, хлебные, соляные и пороховые магазины и больше двух десятков ясачных зимовий для стрелецких гарнизонов, таможенных застав и сборщиков ясака. Самый северный город Российского государства контролировал пространство в тысячи вёрст и приносил в казну гигантские прибыли: в год до ста тысяч только ценных соболиных шкурок, а были еще лисы, куньи, песцовые, беличьи...

Богатства «украсно украшенной», «златокипящей» и «благословенной» Мангазеи – соболиного Клондайка и песцового Багдада – нужно было защищать от местных инородцев, которые не хотели платить ясак, от своих же буйных промысловиков, которые вдали от столиц привыкли жить по «закону тайги», и от иностранцев, чьи корабли уже бороздили Студёное море в поисках северных сокровищ. Из острога во все концы рассылались «отъезжие караулы» – охотники за разрушителями царских указов о торговле пушшиной. Но по Ледовитому океану через Обскую губу контрабандисты могли попасть в Мангазею, минуя таможи в Тобольске и Берёзове. Поэтому в 1619 году царь запретил морской путь и пригрозил смертной казнью тому, кто покажет иностранцам проход в устье Оби.

По слухам, инородцы за медный котёл давали столько шкурок, сколько в него вмещалось. В раскалённых котлах русского азарта мягкое золото Мангазеи бурлило несколько десятилетий – пока не выкипело до дна.

Жару подавали и мангазейские воеводы, которые порой вместо того, чтобы контролировать фарт, сами бросались за ним в погоню. Серьёзные разрушения городу принесла ссора воевод Григория Кокарева и Андрея Палицына. Старший и младший воеводы с самого начала невзлюбили друг друга: в Мангазею потребовали везти их на разных

кочах, отказались жить в одном воеводском доме, отгрохали себе терема на московский манер и беспрестанно строчили кляузы друг на друга. А в 1630 году развязали настоящую войну. В город с караваном кочей прибыли брат и племянник Палицына. Кокорев устроил у них обыск и обнаружил контрабандное вино. Возмущённый младший воевода поднял посадских жителей, Кокарев с частью войска закрылся в остроге. Палицын держал острог в осаде несколько месяцев. Старший воевода ежедневно палил из пушек и разбомбил половину домов посада. «Мангазейская смута» продолжалась два года, людей за это время было убито немного, но большие территории остались без должного управления. Сцепившихся воевод растащили власти: Палицына для профилактики в Москве ненадолго заключили под домашний арест, а потом отправили воеводить на другие территории, а Кокарев верховодил в Мангазее ещё год.

Вот в таких ярких страстях и пронеслась короткая история Мангазеи – города буйных, азартных и предприимчивых. За семьдесят лет всё вино было выпито, а весь зверь в окрестностях выбит. Содержать острог государству стало в убыток, и в 1672 году на Енисее торжественно заложили Новую Мангазею, нынешний город Туруханск.

## ДОБЫТЬ И ПОКАЯТЬСЯ

### Култ святого Василия Мангазейского

В 1649 году стрелец Стефан Ширяев примчался к мангазейскому воеводе Фёдору Байкову с чрезвычайным сообщением: на пустыре у приказной избы из земли вышел одним концом гроб. Воевода пожелал удостовериться лично. Гроб открыли и увидели юношу в кровавой рубашке. Старожилы вспомнили, что ещё при основании города был безвинно замучен мальчик-приказчик. Полвека прошло, а гроб цел, и тело будто только что схоронили. Служилые из молодых смотрели на покойника как на чудо. А старожилы не удивлялись, знали уже: что для москвиты нетленные святыи мощи, то для сибиряка – климатические условия. Вечная мерзлота и гроб из земли может выдавить, и тело в целости сохранить.

Но вскоре начались исцеления. Кто-то припомнил историю убиенного мальчика, и мангазейцы окончательно убедились, что сибирская мерзлота вернула не тело, а мощи. Самые дерзкие из русских – те, кто пришёл за добычей в дикий северный край, оставив семью и веру, – поверили, что Господь даже здесь не забыл про них и дал в помощь святого, первого и единственного заступника посреди чужой языческой земли.

Мальчика звали Василий. Он был сыном ярославского торговца, всё детство работал в лавке. В 15 лет отец отправил Василия в Мангазею приказчиком к богатому купцу. Скромный молитвенный юноша отличался от грубых, напористых искателей сибирских сокровищ. Купчина воспылал к нему греховной страстью, но получил отпор. А дальше рассказывали по-разному, но всё равно выходил святой.

По одной версии, лавку обокрали. Чтоб отомстить Василию, купец обвинил его в соучастии и отдал государевым людям выбить признание. Василий мог оговорить себя, получить наказание и сохранить жизнь, но решил, что ему дороже христианская честность и не сознавался, и его забили до смерти. В Мангазее, куда каждый второй приходил с но-

вым именем и подложной бумагой, где за грехи платили соболиными шкурками, жизнью за правду мог отдать только святой.

Другой рассказ о Василии предприимчивым мангазейцам показался и вовсе невероятным. Мальчик молился в часовне рядом с лавкой; он слышал, что начался грабёж, но отвлекаться не стал, чтобы не осквернить моление. Когда он закончил молитву и кинулся за помощью, было уже поздно. Купец заподозрил приказчика в соучастии и замучил пыткой, добываясь признания. В суровую, неустроенную, опасную Сибирь приходили не жить, а превозмогать лишения, холод, голод и страх. Все терпели ради корысти, а терпеть ради молитвы мог только святой.

Место, где явился гроб, огородили, потом построили для святыни часовню, начали прикладываться к мощам и записывать чудеса. У Василия Мангазейского, покровителя промышленников и звероловов, мангазейцы просили форта. То ли молитва помогала охоте, то ли удача, но к 1660 году почти весь зверь в окрестностях Мангазеи был выбит. За добычей промысловики потянулись дальше к востоку, на Енисей, и основали Новую Мангазею (Туруханск). В новых землях со своим святым казалось не так страшно, и в Туруханске основали Свято-Троицкий монастырь – теперь было, куда перенести мощи.

В 1670 году из Свято-Троицкого монастыря в Мангазею за мощами Василия пришёл иеромонах Тихон. По легенде, Тихон увидел спящего на холме мальчика. Кругом был снег, а верхушка холма под мальчиком оттаяла и покрылась цветами. Тихон взял мальчика на руки и понёс в Туруханск. Восемьсот верст шёл он без сна и отдыха, и в снегах перед ним протаивала тропа и вырастали цветы.

Иеромонах поместил мощи святого Василия в Троицкой церкви у царских врат. В 1719 году в монастыре построили Благовещенскую церковь, и в Туруханск из Тобольска приехал сам святитель Филофей (Лещинский), чтобы поклониться мощам и перенести их в новый храм. Когда Филофей возвращался, его дощаник на Енисее попал в страшную бурю. Судёнышко кидало волнами как щепку, ветер выворачивал мачты, а Филофей молился Василию Мангазейскому, защитнику от всех бед и опасностей грозной Сибири. Этим и спасся. В благодарность святитель прислал для мощей Василия Мангазейского раку и написал в его честь кондак.

Василий Мангазейский стал первым православным святым, явленным в Сибири. Русские напористо и дерзко освоили Сибирь за одно столетие. И всё это время от страха, злобы и отчаяния бородатых матёрых мужей спасал кроткий молитвенный мальчик.

## ТАМОЖНЯ БЕРЁТ ДОБРО

### Внутренние таможи в России

До середины XVIII века в Российском государстве неисповедимы были только пути господни. Дороги простых смертных правительство тщательно контролировало. Особенно пристально государево око следило за движением в Сибирь и обратно: по этому пути шёл стратегический для казны пушной трафик.

Российская присказка о том, что у нас не дороги, а направления, не работала, когда дело касалось казённого кармана. Дороги делились на «государевы» и «воровские». «Государевы» были обустроены,

с трактирами и постоянными дворами, с ямскими станциями и почтовой службой; здесь находились таможни и потому разрешалось движение купеческих караванов. Внутренние таможни контролировали перемещение любых товаров из одной части страны в другую и взимали пошлины.

Основной таможенной пошлиной была «десятая доля», её брали только российской монетой: серебром или золотом. Имелся перечень товаров, запрещённых к вывозу из Сибири: табак, ремень, водка, лён, медные пятикопеечные монеты и полушки, канифоль, скипидар, мышьяк, свинец, порох, поташ, лосиные кожи, оружие. Но всегда находился способ нарушить запрет, и административная система этому помогала.

Руководили таможнями «таможенные головы». Их назначали в Сибирском приказе. Это были купцы и посадские люди, пользующиеся авторитетом, чаще – из Москвы, а не местные. Жалованья за работу начальникам не полагалось, они должны были «кормиться от дел». Вот они и старались «окупить» свою службу поборами. Государство получало свою долю с легальных товаров, а хозяева таможен разжигались ещё и взятками с контрабанды. Их помощники – подьячие, целовальники и сторожа – на свой карман работали особенно усердно. В поисках запрещённых товаров они задирали боярыням юбки и заботливо следили за тем, чтобы купцы по весне не парились в трех лисьих или собольих шубах.

Контрабандистов называли мехоношами. Они проносили в поклаже или провозили в небольших обозах пушнину, соль, порох и другие лёгкие или необъёмные, но дорогие товары. Мехоноши пользовались «воровскими» дорогами. Их прокладывали местные жители для своего удобства. Эти тайные тракты не были обустроены, не имели таможен, и купцам с товарами ездить по ним запрещалось. Хитрых мехонош подкарауливали государевы дозоры и вольные разбойники, выставя на «воровских» путях пикеты и засады. Но всегда был шанс проскользнуть под защитой метели или тумана, надуть дозорных, отбиться от разбойников. Повезёт – и за дерзость мехоношам отвалится жирный куш, а таможенникам достанется большой кукиш.

Бабиновский тракт был единственной официальной дорогой в Сибирь. По нему шли китайские посольства, легендарный протопоп Аввакум, все великие землепроходцы, ссыльные бояре, купцы и крестьяне-переселенцы. 250 вёрст от Соликамска до Верхотурья зимой на санях преодолевали за пять-шесть дней, в распутицу тащились неделями, а летом в хорошую погоду караваны двигались со скоростью пешехода: 40–50 километров в день. Главная стратегическая дорога России была всего лишь шестиметровой просекой, которую переметало снегом и заваливало буреломом. Паводки сносили мосты, ручьи промывали ямы, в дождь глубокие грунтовые колеи становились непреодолимы. Иностранцы, проехавшие по Бабиновскому тракту, оставили красочные воспоминания о русском экстриме, когда встречные сани сшибались друг с другом и путь продолжал сильнейший, а повозки неслись под гору с такой скоростью, что сминали запряжённых в них лошадей.

У страха глаза велики, но для русских сильнее страха был фарт. В надежде на удачу в конце XVII столетия в Сибирь по Бабиновской дороге каждый год проходило две-три тысячи человек и проезжало около тысячи подвод. На Сибирском тракте главной таможней была Верхо-

турская, она контролировала товарооборот с Центральной Россией. За выходом из Сибири в Китай следила другая таможня – Нерчинская. Между этими двумя границами на тысячевёрстном пути располагались промежуточные таможни и Гостиный двор в Тобольске.

После губернской реформы 1708–1711 годов таможни перешли в подчинение сибирским губернаторам. Губернаторы назначали таможенных надзирателей из числа сибирских дворян и купцов. Прежние целовальники и сторожа стали называться канцелярскими и ларёчными служителями. В новом «регулярном» государстве воровство таможенников доросло до организованной преступности под контролем губернаторов, которые сорок с лишним лет эффективно управляли казённым пушным трафиком, прогоняя немалую его часть через свой карман.

Тобольск всегда спорил с Верхотурьем, кто главнее: тот, у кого таможня, или тот, у кого торговля? В 1753 году победил Тобольск, потому что внутренние таможни в России были отменены. Все пути в Сибирь стали теперь легальными. Это убило Бабиновский тракт – он потерял статус единственно дозволенного пути. Вымерла и организованная преступность вокруг «государевых дорог».

А имперские казначеи, любуясь, как с ладони меж перстней струится шёлковый соболиный мех, уже и представить не могли, сколько мягкого золота утекло из казны сквозь пальцы сибирских таможен.

## ПЕРВОССЫЛЬНЫЙ НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ

### История Угличского колокола

В лето 1591-е шестьдесят семей из Углича вышли в ссылку в Сибирь. Больше года избитые, закованные в цепи и колодки мужики и бабы с маленькими детьми впроголодь месили три тысячи вёрст снега и грязи, падали от ветра, теряли в болотах раскисшие лапти и подмётки, заворачивались в тряпье, мазали дёгтем кровавые, изъеденные мошкой лица, просили милостыню и грызли кору. Это были первые сибирские ссыльные: их прогнали на восток через полстраны осваивать стратегически важные территории за Уралом. На каторжных угличанах испытали путь в Сибирь, по которому потом прогонят больше миллиона ссыльных. Ссыльные будут кормить своей кровью эту дорогу смерти до конца XIX столетия, пока в Сибирь не проложат первые рельсы.

Из шестидесяти семей несчастных угличан едва ли половина добрела до Тобольска. Хорошо перенёс дорогу лишь один-единственный ссыльный. В Угличе его сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо и наказали 12 ударами плетей. Всю дорогу в Сибирь ссыльные тащили опального калеку на себе. А весил он 19 пудов 20 фунтов (319 кг), было ему триста лет, и звали его Набатный колокол. Вина на нём была страшная: подстрекал к бунту.

15 мая 1591 года в 12 часов этот колокол собрал на площади весь город Углич. Соборный сторож Максим Кузнецов и поп Федот по прозвищу Огурец что есть сил били в набат: изменники зарезали девятилетнего царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного и Марии Нагой! Царевич был последним Рюриковичем, он жил с матерью в ссылке в Угличе. Народ кипел от гнева, крики собравшихся на соборной площади заглушали

гул набатного колокола. Брат царевны Дмитрий Нагой выкрикнул имена подозреваемых, и взбешённая толпа кинулась на расправу. При самосуде забили до смерти 15 человек.

Весть о массовом народном самосуде долетела до Бориса Годунова, и на третий день в Углич вошло царское войско, а следом прибыла следственная комиссия Василия Шуйского и митрополита Геласия. Двести человек казнили, Кузнецова, Огурца и ещё 60 семей сослали в крепость Пелым на северном Урале. Наказали и ни в чём не повинный колокол.

В Тобольск колокол прибыл в 1593 году. Воевода Фёдор Лобанов-Ростовский распорядился запереть его в приказной избе и клеймить надписью «Первоссылный неодошевлённый с Углича». Но вскоре начальство решило, что «неодошевлённый ссыльный» должен работать наравне со всеми; ему приделали вырванный язык и повесили на колокольню церкви Всемилоостивого Спаса. Позже «по причине резкого и громкого голоса» заключённого перевели на Софийскую соборную колокольню, чтоб отбивал часы и звонил в набат во время пожара.

Через сто лет правнуки ссыльных угличан уже положили своих стариков в мёрзлую сибирскую землю, и теперь считали её своей. Они знали тайные тропы в болотах, ставили капканы на пушного зверя, плели рыболовные морды из прутьев и сети из крапивной пряжи, ходили на Ямыш-озеро за солью, служили на «посылках» у тобольского воеводы. И только один ссыльный за всех всё помнил и почти сто лет кричал о себе грозным набатом. К 1785 году соборная колокольня состарилась и развалилась, и острожника вместе с другими колоколами перевесили на бревенчатые козлы, где он чуть не расплавился в пожаре 1788 года. Новая колокольня была готова в 1797 году, и «ссыльный неодошевлённый» снова заступил на службу. За сто лет колокол превратился в местную знаменитость, к нему, как друзья по несчастью, приходили сосланные в Сибирь декабристы. В 1837 году по случаю приезда наследника угличский колокол на время снимали с колокольни «для удобного обозрения этой исторической достопримечательности». А в 1890 году заключённого перевели в тобольский музей в качестве экспоната.

Но в Угличе о колоколе не забыли. Уже через несколько лет после убийства царевича народ объявил колокол страстотерпцем, осуждённым безвинно. К 300-летию ссылки под давлением общественности колокол «амнистировали». После большой общественной дискуссии решено было увезти его в Углич, а в Тобольске оставить копию. Обычно сибирские узники не возвращались на родину, на обратную дорогу не хватало ни денег, ни жизни. А угличский набатный вернулся один за всех.

Расходы по возвращению колокола оплатили восемь богатых жителей Углича. К встрече земляка Углич готовился как к большому празднику. У Спасо-Преображенского монастыря на берегу Волги построили специальную пристань, чтобы пароход с колоколом мог причалить торжественно, под громкое «ура» двухтысячной толпы. Засвидетельствовать своё почтение в парадной форме явилось всё городское начальство и духовенство. В городе было объявлено народное гуляние. К всеобщему ликованию справедливость восстановили. Жаль только, что сотни тысяч сибирских ссыльных, не отлитых в металле, а из плоти и крови, своё наказание не пережили.

## ЗВЕРЬ В СИБИРИ МАМОНТ

## Сибирские мамонты

Иностранцы говорили, что в Сибири обитает сатана. Местные жители то и дело натыкались на его гигантские рога, которые угрожающе торчали прямо из земли или прорубались сквозь ледяные глыбы. Страшно было представить, какое чудище орудовало ими, прокладывая себе путь из глубин на поверхность через твёрдую как камень вечную мерзлоту. Религиозные иностранцы уверенно заявляли: «Это бивни земноводных бегемотов. А Бегемот, как известно, – одно из имён дьявола». Но нехристи-инородцы быстро смекнули, что бивни и кости потустороннего зверя отличаются невиданной на земле крепостью и могут пригодиться в хозяйстве. И аборигены придумали свою легенду, очень практичную. Подземный зверь – это злой дух. Каждый, кто увидит его торчащие из почвы клыки, должен немедленно выкопать их, тогда опасное отродье лишится силы. Легенда превратила промысел мамонтового клыка в миссию спасения человечества от потустороннего зла. И жители Сибири самоотверженно боролись с демонами несколько столетий, не подозревая, что враг давно повержен. Ещё в начале XIX века на севере Сибири добывали около двух тысяч пудов мамонтовой кости в год. Бивни отправляли через Москву в Англию и через Кяхту в Китай.

Кости невиданного животного находили в болотах, в береговых кручах, в земляных отвалах, в талых ручьях. Поэтому зверя считали подземным. Говорили, что он «громаден, чёрен и страшен, и два рога имеет и может двигать этими рогами как захочет. Пища зверя-мамонта – эта самая земля, и ходит он под землёй, земля от того подымается великими буграми, а позади его остаются глубокие рвы, и леса рушатся наземь. И целые населения проваливаются в эти рвы, и люди гибнут». Особенно коварно зверь вредил хозяйственным русским крестьянам. На высоких берегах Тобола и Иртыша крестьяне ставили свои просторные и основательные подворья с банями и конюшнями. Весной большая вода отламывала от берега внушительные куски и глотала их вместе с избами. Когда река отступала, мужики находили в отвалах бивни и по ним определяли обидчика: берег изнутри подгрыз гигантский зверь мамонт. Чтоб отвадить нечисть от деревни, в половодье крестьяне выносили к реке иконы и опускали их в воду.

Опасный подземный зверь будоражил умы сибирских учёных, любопытство которых было сильнее страха. Целое исследование посвятил мамонтам миссионер Григорий Новицкий: «кости доброты и красоты единые с костми слониовыми», «великостью знамениты», «ветхостью неистленны». Чаще всего, писал Новицкий, кости находят на берегах «Лдистого окиана» и в береговых обрывах рек в Берёзове, Обдорске, Туруханске, а «найпачу Якуцку». Новицкий составил свод версий, кто такой мамонт. По одной из них, это зверь, живущий в недрах земли в пещерах. Когда он случайно выходит наружу, то от сухости воздуха умирает, если поскорее не вернётся обратно. Выглядит это чудовище так: «высотю трёх аршин, длиною пяти аршин, ноги подобни медведя, роги оныя крестообразно сложении на себе носяща, и егда ископывает пещеры, тогда согибается и простирается в подобие ползящего змия».

В конце XVII века тобольский архитектор и знаток Сибири Семён Ремезов нарисовал мамонта для главы Сибирского приказа Андрея

Виниуса. Рисунок он подписал: «Зверь в Сибири мамонт». Ремезов сам нашёл огромный скелет мамонта в Барабинской степи вблизи озера Чаны. Тридцать казаков доставили находку в Тобольск, а Ремезов собрал этот скелет и установил для всеобщего обозрения на воеводском дворе. Мамонт получился высотой в 36 локтей. Мужики, глядя на это рогатое чудище, украдкой крестились, бабы охали, а торжествующий Ремезов с секирой в руке гордо стоял внутри конструкции под рёбрами и показывал, что до макушки мамонта не дотянутся и кончиком секиры.

В 1720 году Ремезов показывал своё творение знаменитому исследователю Сибири Даниилу Готлибу Мессершмидту, и тот описал тобольского мамонта в своих дневниках. В 1740 году во время Второй Камчатской экспедиции академик Герхард Фридрих Миллер забрал тобольский скелет и увёз в Академию наук, но через семь лет мамонт Ремезова погиб при пожаре Академии.

**Александр РЯБОВ**

Родился в 1988 году в Нижнем Новгороде. Окончил радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В настоящее время там же работает младшим научным сотрудником.

**ДАРВИН?**

О романе Романа Сенчина «Зона затопления»

В 2015 году увидело свет полноценное издание романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»\*. В романе повествуется о пугающих событиях раннего Советского Союза: главную героиню, жительницу татарской деревни, вместе с переселенцами из других городов страны отправляют по каторжному пути в Сибирь. Особенно ценно в романе то, что описываются не только мысли и чувства жертв строительства коммунизма, но и переживания, сомнения (или их отсутствие) и мечты представителей противоположной стороны; ведь только через описание всех сторон этого суперконфликта может прийти понимание, что это не борьба добра со злом, света с тьмой, правды с ложью (а ведь как хочется позволить сказочному мышлению взять верх над здравым смыслом, и разделить всех на хороших и плохих!), а борьба Развитого (вернее, считающего себя таковым) и Неразвитого (вернее, считаемого таковым Развитаым). В истории есть большое количество архетипов автопрезумпции правоты Развитого. Наиболее понятным является случай, когда метрополии навязывали колониям свою культуру, будучи уверенными в верности этого подхода. Можно вспомнить диалог между героями фильма Сидни Поллака «Из Африки» датской баронессой, миссионеркой, пытающейся в начале XX века обучить африканских детей грамотности (роль исполняет Мэрил Стрип), и европейцем, искателем приключений в этой дикой местности (Кения), относящимся с уважением к здешним традициям (Роберт Редфорд).

---

\* Романы «Зулейха открывает глаза» и «Зона затопления» активно конкурировали за литературные премии 2015 года. Например, книга Гузели Яхиной удостоилась первого места в рамках премии «Большая книга», а произведение Романа Сенчина – третьего.

*Редфорд:* Как они (африканские дети. – А.Р.) вам сообщили, что не прочь научиться читать? Вы уверены, что им понравится Диккенс?

*Стрип:* По-вашему, им незачем читать?

*Редфорд:* Надо спросить у них.

*Стрип:* Вы просили ребенком, чтобы вас учили? Чем им могут навредить наши рассказы?

*Редфорд:* У них есть собственные. Они просто не записаны.

*Стрип:* Почему вы хотите держать их в неведении?

*Редфорд:* Они не невежественны. Просто не надо превращать их в маленьких англичан. Вы любите все менять?

*Стрип:* К лучшему, я надеюсь. Я хочу, чтобы мои кикуюю (африканский этнос. – А.Р.) умели читать.

*Редфорд:* Мои кикуюю, мой хрусталь, моя ферма – не много ли вам?

*Стрип:* Я за все заплатила.

*Редфорд:* И что именно здесь ваше? Мы не владеем этим миром – мы лишь гости здесь.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять – здесь нет правого и неправого, пока мы не зададим каких-то занудных критериев, которые в конечном счете тоже будут эфемерными. В этом примере нет ни доли сатиры, все педантично разложено по полочкам, поэтому хочется привести еще и бичующий пример. В романе Курта Воннегута «За-втрак для чемпиона» есть забавный фрагмент:

...школьные учителя в Соединенных Штатах Америки постоянно писали на доске вот такую дату и заставляли детей вызубривать ее и повторять гордо и радостно:

1492

Преподаватели говорили ребятам, что их континент был открыт именно в этот год. А на самом деле в этом самом 1492 году миллионы людей уже жили там полноценной, творческой жизнью. Просто в этом году морские разбойники стали убивать, грабить и обманывать этих жителей.

И вот еще какую вредную чушь учителя вбивали в головы ребятам: будто бы эти пираты основали правительство, которое стало факелом свободы для всех людей на свете. И детям показывали статуи и картины этого воображаемого факела свободы. Факел был похож на фунтик с мороженым, из которого выбивалось пламя.

Кроме того, морские пираты, которые главным образом участвовали в создании нового государства, владели людьми-рабами. Они пользовались человеческими существами вместо машин, и даже после того, как рабовладение уничтожили потому что все-таки это было очень стыдно, – те пираты и их потомки продолжали относиться к простым рабочим людям как к машинам.

Развитое борется с Неразвитым, то – упирается ногами, не желая отказываться от привычного для него уклада жизни, и не собирается соглашаться с Развитым, что оно качественно улучшит их жизнь (да и как однозначно оценить это «улучшит»? ). Развитое же убеждает кого-то дипломатично, доходчиво и въедливо, а того, кто уже вконец достал упрямством, – кулаками. И в итоге все это выливается в борьбу не на жизнь, а на смерть.

Но это все в идеализированном тривиальном случае. В реальной же жизни в борьбу идей, соперничество Развитого и Неразвитого, вклиниваются многие другие факторы: доброта, злость, корысть, зависть,

себялюбие, чувство несправедливости, инстинкт самосохранения, личные взаимоотношения, усталость и бесконечное число прочих аспектов – в борьбу идей вмешивается человеческое. Все это размывает противостояние парадигм практически в ноль, и постфактум становится невозможным понять, какая же идея была правильнее сама по себе. Институт экспериментальной истории – это фантастика.

И тем не менее множество людей оказываются по обе стороны линии схватки – людей идейных и безыдейных, инициативных и действующих сугубо по инструкции, умных и глупых, людей, втянутых в эту бойню по своей воле или против нее. А так как человек обычно не прямая дорога, а тернистый путь, то даже будучи верным одной идее – человек на разных этапах будет разным; иногда человек может изменить свои убеждения и перейти на другую сторону; а порой человек на деле и душою будет по разные стороны баррикад. Развиваться могут идеи, развиваться могут люди – и им становится не по пути; но нередко человек соглашается резать себя на части. Иной раз борец за идею в пылу противостояния шаг за шагом забывает, что противостоит не людям, высказывающим иную точку зрения, а как раз этой противоположной позиции; в результате через некоторое время он сам в ужасе осознает, что уже борется не за идею, а за себя; или не осознает и уверен – вокруг сплошь враги (а ведь раньше нормально общались!) или идиоты. Эти метаморфозы тем более могут представить противостояние идей чем-то иллюзорным.

Но это не кажется иллюзией людям, оказавшимся на поле боя Истории, в конкретный момент. Наиболее идейным борьба заменяет смысл жизни, для других – борьба как способ исправить историческую несправедливость, для третьих – необходимость историческую справедливость отстаивать, для четвертых – мать родна, большинство – пытаются разобраться по ходу пьесы.

В романе Гузели Яхиной показан уже конец борьбы, момент, когда Развитое отчасти разуверилось в возможности перевоспитания Неразвитого, а отчасти посчитало, что эффективнее для будущего дела будет использовать Неразвитое в утилитарных целях, а если кто-то все же изменится – тем лучше для него. И несомненная удача Гузели Яхиной в том, что она смогла показать всю глубину этой борьбы, не сбиваясь не то что на популизм, но даже на минимальные предубеждения и предрассудки, столь свойственные даже очень умным и мудрым людям при описании тех страшных лет.

Главной причиной этой удачи молодой писательницы является верно подбираемая на протяжении всего произведения дистанция между автором и описываемыми событиями эволюционного соперничества. Описывая их, Яхина, когда надо, оказывается на самой передовой (и хорошо, что с пером, а не со шпагой), но в нужный момент словно бы удаляется от действия. Этому чувству дистанции должны позавидовать многие современные писатели. И благодаря ему романистке удалось объяснить мотивацию всех сторон конфликта, до сих пор столь неприемлемо поляризующего наше общество, и не сфальшивить.

Чувством дистанции между писателем и повествованием замечателен роман Романа Сенчина «Зона затопления». В этой книге, наоборот, жителей сибирских деревень спешно переселяют в города из-за строительства ГЭС. Но в отличие от Гузели Яхиной автору «Зоны затопления» значительно реже приходится удаляться или идти на сближение с сюжетом: он большую часть времени работает на средней дистанции.

На поверхности лежат две возможные причины этого: 1) время действия романа Сенчина – сегодняшний день, а «Зулейха открывает глаза» про относительно далекое прошлое – 1930–1940-е; 2) все сталинское до сих пор вызывает больше полемики, чем даже сегодняшний день. Но на самом деле есть еще одна скрытая, но очень важная причина разного подхода у писателей.

Иногда заявленная борьба Развитого и Неразвитого – всего лишь предлог для тех, кто хочет под этой личиной пробить свои собственные, довольно мелкие (хоть и измеряемые многими нулями), интересы. Двое играют в шахматы, а над ними стоит кто-то другой. И играет он в карты, а не в шахматы, и на руках у него все козыри.

И Сенчин, и его читатель понимают, что, быть может, они присутствуют при такой сцене и подыгрывать не намерены. Поэтому-то писателя не слишком волнует эволюционная подоплека всего происходящего, и именно поэтому, вкупе с рядом других причин, его погружение в события практически на протяжении всего романа сравнительно одинаковое.

Сомнения по поводу того, являются ли изломанные судьбы людей данью прогрессу и борьбой Нового и Старого, роднят книгу Романа Сенчина с фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан». Однако если выполненный в жанре притчи (или параболы) фильм прямо-таки провоцирует на жаркие дебаты вокруг его сюжета, то роман всячески пытается от этого уклониться. И оттого забавнее, что так же как и фильм, большинство интерпретирует книгу либо как диагноз социально-политическому устройству страны, либо как политизированную агитку, не понимая, что в нем есть множество других тем и идей, а не просто художественный анализ и констатация фактов, о которых мы и так знаем или догадываемся. Что ж, это претензия уже к читателям и зрителям.

Интересно, что хорошим помощником для понимания романа «Зона затопления» и сопоставления его с повестью Валентина Распутина «Прощание с Матерой» (относительно которого произведение Сенчина многими рассматривается в качестве ремейка) может послужить другая притча, правда, во всех отношениях большего масштаба – роман-притча Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». В романе колумбийского писателя тоже описывается жизнь одной деревни, Макондо, которая находится в относительной изоляции от крупных городов; однако показан не конкретный момент, а вся многолетняя история этой деревни – и мы можем видеть, что одна и та же деревня, во многом сохраняя свой дух, все же значительно меняется с ходом времени, и от этого нельзя откеститься. Так и здесь, сенчинские деревни и Матера во многом одинаковы, но время (тридцать лет разницы) делают их разными воплощениями одного и того же исходного объекта. Совокупность многих факторов (политических, экономических, социальных, технологических, культурных) оказывают большое воздействие на быт, который в свою очередь – вода камень-то точит, а если не камень? – сильно меняет сознание среднестатистического жителя деревни. Технологии принесли в деревенские дома телевизоры, и вот – сельские (по нынешнему законодательству разницы между понятиями «село» и «деревня» нет; кроме того, для данного текста исторические отличия двух терминов не принципиальны – поэтому здесь и далее эти слова считаются синонимами. – *А.Р.*) жители чаще слышат городскую речь, и их язык сильно меняется; новая экономи-

ческая система заставляет больше иметь дело с теми финансовыми инструментами, о которых раньше не знали; социальное устройство заставляет быть мобильнее и не надеется на государство – теперь надо быть сноровистее во всяких юридических тонкостях. Бесчисленные вызовы времени приводят к тому, что той отстраненности от города, которая была раньше, даже во времена «Прощания с Матерой», у сенчинских деревень нет.

И все это в конечном счете ведет к тому, что нет уже той огромной ментальной пропасти между городскими и деревенскими жителями, что была раньше (хотя небольшая, отчасти инерционная, а отчасти перманентно объективная, конечно, осталась). Павел Басинский в книге «Святой против Льва» рассказывает о том, как сильно отличались между собой эти две группы во времена Льва Толстого:

Нам трудно представить себе, до какой степени одежда того времени подчеркивала социальное происхождение человека. Барин и мужик, оказавшись рядом, не просто отличались друг от друга по внешнему виду, но воочию представляли собой пример встречи двух совершенно разных миров, вроде встречи Миклухо-Маклая и коренных жителей Новой Гвинеи. Начиная с петровской эпохи внешние различия между бариним и мужиком достигли такого масштаба, что, оказавшись рядом, эти два представителя *homo sapiens* не могли общаться друг с другом как два представителя человечества, но только как барин с мужиком.

Однажды в жизни Толстого был забавный случай. Зимой он шел по Москве в своем обычном бараньем тулупе. Мимо на извозчике мчался известный славнофил Иван Аксаков. Толстой закричал и замахал руками, радуясь случайной встрече со старым знакомым. Но Аксаков промчался мимо. Он не узнал Толстого, решив, что ему машет руками и что-то кричит обыкновенный мужик. Ему даже не пришло в голову остановиться и спросить: может, этому мужику что-то нужно? Толстой говорил об этом усмехаясь: «Это была проверка на его “народность”».

Там же:

Инстинктивное недоверие к «барину», который еще совсем недавно был рабовладельцем по отношению к ним, было в крови у русских крестьян. Даже сейчас городской человек, оказавшись наедине с сельским жителем, чувствует это недоверие. Но еще меньше крестьяне были бы разговорчивы с откровенно ряженым человеком (речь о стили одежды Льва Толстого. – А.Р.).

Вполне возможно, сближение между деревенскими и городскими жителями шло быстрее, если бы не Великий перелом и последующая за этим некоторая скрытая общественная реакция в селе, которая, хоть и в сильно измененном виде, реанимировала бывшие взаимоотношения. Но здесь важно помнить о непрерывном, сквозном ходе истории. Конечно, причины и механизмы событий, описанных Джоном Стейнбеком в «Гроздьях гнева», сильно отличаются от наших 30-х, но все-таки это тоже были годы жутких потрясений для американцев, и можно было бы ожидать, что возникнет некоторая отчужденность между деревней и городом. Она и была, но явно в меньшей степени и в иных формах, чем в России. Причины этой разницы надо искать в истории – будущее во многом вытекает из прошлого: разные государственные строи, финансово-экономические системы, климатические условия, религии

и прочие отличия между Россией и Америкой. Сходств тоже немало, но во многие из них надо внимательно вглядываться. Казалось бы, в России рабство (дипломатичнее: крепостное право, полурабство) было отменено в 1861-м, а в США лишь четырьмя годами позже, и Александр II, симпатизировавший Америке, был рад такому совпадению. Но и структура рабства была совершенно разной: классовая в России и расовая в США, и последовавшие аграрные реформы сильно различались (в Соединенных Штатах прошла заметно эффективнее), и реализация на практике: России понабилось 30–40 лет, чтобы большинство бывших рабов почувствовали себя по-настоящему свободными, а США как минимум 100 лет (удивительно: только в 2013 году штат Миссисипи, далеко не самый маленький штат, ратифицировал 13-ю поправку к конституции США, отменяющую рабство, – конечно, это формальность, но символичная). Словом, эволюция взаимоотношений между деревней и городом обусловлена не только сегодняшним и вчерашним днем, но далеким прошлым.

Таким образом, толпой промчались годы, а культурная разобщенность во взаимоотношениях русского города и деревни слабо выветривалась, и ко времени, описываемому у Распутина в «Прощании с Матерой» (1970-е), чувствовалась очень заметно, несмотря на то что научно-технический прогресс вроде бы их сближал. И шел бы этот процесс одним путем, но тут история-вертихвостка подкинула новый неожиданный, сильно изменив русло описываемого вопроса. Перестройка, развал СССР, возникновение нового государства подарили/«подарили» («мало исторического зазора» для оценки необходимости кавычек) нам новые возможности, социальную незащищенность, открытые границы, ориентацию на прибыль, Пиццу Хат и дикую внутреннюю миграцию. И все это привело к тому, что культурной разобщенности стало заметно меньше, да вот душевной как будто прибавилось. Таким образом, с ментальной точки зрения нет того явного разделения на городских-деревенских, что была раньше, но на фоне некоторой новой формы неприязни возникает искусственно индуцированная стигматизация.

Конечным итогом текущих взаимоотношений больших и малых населенных пунктов вместе с социальными и экономическими реалиями является дикая внутренняя миграция, которая практически выхолащивает население малых территорий. Исходя из исследований демографов, в 1989–2002 годах внутренняя периферия теряла до 40 % выпускников школ, а в последние годы в поисках лучшей доли уезжает 70 % бывших школьников. Депрессивные кольца образуются не только вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, а практически вокруг всех региональных центров: где пошире, где поглубже.

А миграция в свою очередь – где яйцо, где курица? – вкупе с постоянно возвращающимися погостить и дистанционно поддерживающими связь с родными местами новыми городскими обитателями приводит ко все большему бытовому сближению между людьми маленьких и больших территорий, еще совсем недавно казавшимися едва ли не разными цивилизациями. Того сказочного и таинственного, чего еще недавно было в деревне с лихвой, сейчас становится все меньше. Это уже не иной мир, подобный тому, который описан в книге Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока», где от маленькой высокогорной армянской деревни веет чем-то фэнтезийным; далеко сегодняшнее село и от татарской деревушки, в которой прожила свои первые 30 лет Зулейха; и

даже от Матеры, язык жителей которой можно было воспринимать как некий местный диалект. Да, и сейчас остаются по-настоящему медвежьих углы, но их становится все меньше.

Технологии и активная миграция привели к тому, что сегодняшний сельский язык уже не так сильно отличается от городского в сравнении с тридцатилетней давностью. И особенно явно это бросается в глаза при сопоставлении текстов Сенчина и Распутина. Сравним разговоры деревенских женщин у обоих авторов.

Цитата из Распутина:

– Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. – Это Дарья Настасье. – Я уж в памяти находилась, помню.

– Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.

– Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была – оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

– Я помню.

– Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Цитата из Сенчина:

– Чё, как ты, бедолажка? – спросила Фёдоровна и сразу добавила: – Совсем тебя не видать... Мы уж думали посылать, чтоб проверили... Вишь как, – Фёдоровна кивнула на покойницу, – третьего дня бегала, а нонче лежит.

– Лежи-ыт, – повторила плачущим распевом баба Зина, а Ульяна Павловна, все продолжая глядеть на маленький, обрамленный белым платком овальчик, ответила:

– Я давно не бегаю. Курам зерна сыпануть – и то история... Наверно, не переживую уже.

– Так не говори, – остановила Фёдоровна строго. – Там, – приподняла глаза, – там знают, кому когда. Нам нельзя загадывать.

– Я и не гадаю. Я сказала – «наверное».

– Хе-хе, – вдруг тихо засмеялась баба Зина, – а три кузова дров Генке-то заказала.

– Что же – не замерзать же.

– Это правда. Не замерзать.

Это не специально подобранные отрывки – можно привести множество других, кроме того, едва ли разная обстановка может так сильно влиять именно на основы грамматики. Интересно обнаружить, что наибольшее сближение, что и логично, произошло по линии синтаксиса: деревенская речь распутиных героев изобилует различными перестановками слов внутри предложения, кажущимися необычными и будто бы нарочито, умышленно просторечивыми для современных городских жителей; в то же время в речи сенчинских героев этого заметно меньше. Еще стоит отметить, что заметно реже используется частица смягчающего повеления «-ка» (например: оглянись-ка), а случаи использования этой морфемы в «Зоне затопления» не отличаются от случаев, в которых она употребляется в современной урбанистской речи. Что касается необычных грамматических основ, то их как раз таки в речи современной деревни осталось довольно много (причем многие из них имеют полноценную замену из городского языка), и это вполне логично. Во-первых, некоторые слова не имеют емкого аналога (иная семантика или иная эмоциональная окраска), во-вторых, слова,

имеющие синонимы, еще не вытеснены – на это требуется время, в-третьих, привычка, порой осознанная, а порой – нет.

Сенчин в конце своей книги предлагает деревенско-городской словарь, и встает вопрос: зачем писатель это делает? Пытаясь реконструировать историю жизни древнего народа, мы используем многие инструменты, и одним из наиважнейших является язык; вот почему так важно проникнуть в недра языка ушедшего этноса и попытаться уловить значения хотя бы некоторых слов, которыми люди прошлого оперировали, и именно поэтому столь же ценны с точки зрения истории верно прочитанные и понятые письма прошлого, как и материальные драгоценности ушедшей эпохи; надо быть благодарным тем, кто много веков тому назад упростил нам процесс декодировки текстов прошлого, оставив подсказку. В фильме «Овсянки» есть сцена, в которой поэт-чудак из вымирающего народа топит самое ценное, что у него есть – печатную машинку, а спустя некоторое время поэт и сам умирает; на фоне действия, посвящённому угасанию конкретного народа, эту сюжетную линию можно интерпретировать так: уходит этнос, уходит поэт как хроникер, уходит язык. Быть может, и этот словарик в конце книги Сенчина – последняя опись перед затоплением: язык как капитал истории конкретных деревень, канувших в Ангару. Проблема в том, что из-за расшифровок многих слов по ходу текста, которые вроде бы и нужны для решения тактических задач (темы, проблематика, связность сюжета, мотивировка действия персонажей), не чувствуется той боли, которую хотел передать Сенчин, и словарик просто вырождается в разъяснительную записку по поводу непонятных слов. Автор этой рецензии не знает, как можно было бы исправить эту неудачу, так как попытка изменить хоть что-то незначительно нарушает баланс в других местах и не приводит к улучшению ситуации; а крупные изменения в этом случае – это уже другая книга. Нос вытащишь – хвост увязнет, хвост вытащишь – нос увязнет. Увы!

Если абстрагироваться от аллегории, описанной в прошлом абзаце, словарик может показаться протестом Сенчина против восприятия среднестатистическим городским читателем его текста. В самом деле, и без этого словарика многие слова понятны из контекста; кроме того, их не так уж и много, особенно в сравнении с распутинской повестью. Почти все эти «деревенизмы» можно было бы проглотить и не поперхнуться. Сенчин словно бы демонстративно заставляет нас обратить внимание на то, как много самобытных слов в лексиконе современного деревенского жителя. Надо помнить, что профиль текста – художественный, а не просветительский, и оформлены «переводы слов» не в качестве сносок (как, например, в уже упоминавшемся здесь романе «С неба упали три яблока») или примечаний в конце книги, а именно в качестве словарика, и это само слово – «словарик» – указывает на некоторый авторский посыл.

Если бы Распутин составлял такой словарик, то он бы получился у него еще больше, тем паче что когда читаешь советского автора, складывается ощущение, что он практически не прибегает к художественной обработке речи героев и подает ее весьма натуралистично. В то же время при прочтении Сенчина кажется, что он довольно активно «редактирует» своих героев. Многие чересчур буквально понимают следующую фразу А.П. Чехова: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни». Этой фразой Чехов естественно не призывал к документальному натурализму, а всего лишь

говорил о том, что глубина проблем в искусстве должна быть такой же, как и в жизни; структура же подобия между действительностью и вымыслом может быть разнообразной. Писатель сам волен выбирать тот способ преломления действительности, который по своим соображениям сочтет нужным. Вот и думаешь, сопоставляя стили авторов, что Сенчин чуть больше и витиеватее преломляет реальность, чем это делает Распутин, и можно найти ряд причин этому: Сенчину комфортнее работать в таком поле мимесиса, он считает, что его читателю будет проще, не хочется повторяться с предшественником, и, не главное, но важное – это наиболее сильный способ заострить внимание на главном мотиве произведения. Если в последнем факторе и кроется некоторая гипербола, то это нормально – гипербола и служит творцу, чтобы достучаться до читателя. Важно помнить, что художественные тексты не могут быть буквальными методическими материалами для лингвистических исследований специфики местных языков, а могут быть лишь иллюстрациями в случае, если эти тексты честно написаны.

Разница в «реально-вымышленных переходах» у Распутина и Сенчина является важным опорным пунктом для понимания того, что оценка всей деревенской тематики у авторов сильно отличается, и главным основанием этому служит то, что русская деревня и отношение (и словом, и делом) к ней очень сильно изменились. Конечно, можно спекулировать на тему, до какой степени привходящие условия могли сделать авторов несвободными или неискренними при написании произведений, однако при внимательном рассмотрении очевидно, что обе работы крайне достоверны. И роман Сенчина, и повесть Распутина очень выразительно и правдиво описывают не просто жизнь деревни, но и то, как деревня реагирует на внешние раздражители. И язык в этой ситуации служит индикатором борьбы двух цивилизаций: деревенской и городской. Но если у Распутина язык деревни оказывается еще устойчив, и создается уверенность, что в незатопленных селениях он так и останется крепким, а культурный пласт, стоящий на нем, не размоется, то в романе Сенчина деревенский язык представляется угасающим, уже не способным в полной мере изобразить голос прошлого: даже песня на посиделках передает лишь эмоции героев. Не является ли нежелание Сенчина обратиться к фольклору еще одним способом передать умирание языка, на котором он основан? Если это так, то кажется, что автор пожертвовал отличной возможностью уловить эволюционный переход в мироощущении деревни и ее жителей. В романе «Зулейха открывает глаза» сказка, которую заглавная героиня рассказывает своему сыну, является отличным камертоном, по которому можно сверить то, какой была героиня, и то, какой она стала. В произведении Распутина отсутствие обращения к фольклору – за исключением великолепных образов Хозяина (миф) и Царского лиственя (легенда-про-сегодня) – объясняется тем, что слома того уровня, как в «Зоне затопления», нет и тем, что жанр – повесть. Для Сенчина обращение к народному творчеству еще бы могло помочь в решении проблемы автономности отдельных глав, которые выходили в периодике по отдельности; автор довольно удачно смог идейно-тематически сшить главы, однако фольклор, столь уместный для деревенской тематики, мог бы стать таким метрономом для всех частей произведения.

Все-таки дарвинистская проблематика столь увлекает и Распутина, и Сенчина, вкуче с будто бы обязательствами перед жанром деревенской прозы быть во всех смыслах поближе к земле, что порой им

не хватает близости к героям (забавно, что термин «деревенская проза» чувствует себя уютно рядом с повестью «Прощание с Матерой» и совсем неуместно рядом с романом «Зона затопления», хотя – казалось бы! – нет ли в этом печати лукавства в формализме современного восприятия этого термина?). И если это отчасти можно простить Распутину по причине того, что с его героями История действует организованнее и продуманнее, то видимая деликатность Истории по отношению к героям Сенчина приводит к череде столь глубоких потрясений, что автор должен пойти на большой психологизм. Все познается в сравнении, и здесь опять же хочется обратиться к «Гроздьям гнева»: гениальный Джон Стейнбек изумительно точен в выборе слов для передачи всех тех драм и трагедий, через которые проходят персонажи книги, при этом органично сочетает это с остросоциальной проблематикой. К сожалению, Сенчину чего-то не хватает при описании проблем своих героев, и не является оправданием, что они потерянные и отчаявшиеся: потерянный человек – не овощ, он тоже может страдать. Это же служит источником тому, что голоса деревенских жителей звучат слишком одинаково, приводя к некоторой обезличенности их отчаяния.

Драмы при описании переживаний действующих лиц не так много, из-за чего ошибочно создается впечатление уменьшения значимости вопроса об уместности затопления деревень; в этом кроется некий парадокс, потому что Сенчин расстановкой акцентов пытался добиться, чтобы первая не отвлекала от второго, рискуя превратить все в бытовую спекуляцию. Основанием для вопроса необходимости затопления конкретной деревни у писателя служат не только судьбы отдельных героев, но и дилемма о необходимости существования всей Деревни в ее прежнем виде. Здесь уместно столкнуть мысли двух героев произведения: деревенского мужчины и городской женщины.

Главное, что мучило: разве нет других, новых способов добывать электроэнергию, кроме как строить плотины, затапливать тысячи гектаров земли? Атомные станции ругают, но ведь они все-таки разумней, чем вот это – то, что сделали у них. И их ГЭС не последняя, не доделка советского времени – собираются новую строить ниже по реке. И снова, значит, будут топить огромные территории, переселять людей, вырубать, жечь, бросать, судиться.

Ее, уроженку почти миллионника, выезжавшую за его пределы редко и недалеко, всегда удивляло, что люди могут, а главное, хотят жить в глухих деревнях, в избушках, где, если не потопить зимой печку, через несколько часов вода в ведре превратится в лед.

Зачем эта добровольная ежедневная борьба за существование? Конечно, двести лет назад это было в порядке вещей, но ведь человечество давно научилось быстро строить высотные здания, проводить водопровод, централизованное отопление, оно прорыло сотни километров туннелей для метро, придумало, как на крошечном участке развести потоки автомобилей; цивилизованному обществу не нужны теперь бесконечные гектары земли, чтобы вырастить необходимое количество пшеницы, картошки, огурцов; каждой семье не нужна теперь своя корова, свои свиньи, куры, овцы.

Человечество стремится к оптимизации, экономии, а вот эти деревушки с сотней-другой упорных жителей тормозят прогресс. Ведь они не просто живут отдельно от большого мира, но и требуют, чтобы им привозили в магазин городские товары, был у них врач, клуб с киносеансами, школа, детский сад, рабочие места, которые по сути-то государству не нужны, убыточны.

Стоит отметить, что спустя некоторое время героиня изменила свое мнение и стала всячески бороться за деревенских жителей, но движущей силой было, прежде всего локальное стремление к справедливости, которое героиня очень смутно, скорее на интуитивном уровне, пыталась увязать с вопросом о необходимости расселения. И вообще, разговоры о том, насколько это действительно необходимо государству и всем его жителям, практически не ведутся: все эти пересуды обычно скукоживаются до, может, и справедливых, но все равно переливающихся из пустого в порожнее бесед о коррупции и неграмотности властей. Причина в том, что в какие-то высокие цели никто не верит. И сравните эти настроения с диалогом из «Прощания с Матерой» между отцом и сыном.

– Там видно будет. – И, почувствовав, что этого мало для ответа, заговорил быстрее и уверенней, с какой-то новой у него, печальной и словно бы обиженной интонацией: – Как вы не понимаете?.. Бабушка не понимает – ей простительно, она старая. А ты-то? – Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать «отец», но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как казалось ему, детскому «папа». – Ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя. Далек не уйдешь. Разве что по Матере топтаться... Много ли толку от этой Матеры? И ГЭС строят... наверное, подумали, что к чему, а не с бухты-барахты. Значит, сейчас, вот сейчас, а не вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако, памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу. Жалко Матеру, и мне тоже жалко, она нам родная... По-другому, значит, нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли, долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить. Люди и то больше чем сто лет не живут, другие роятся. Как вы не понимаете?

Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно, будто только теперь по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне разумный человек, но уже не из его – из другого, из следующего поколения.

– Почему не понимаем? – задумчиво и не сразу сказал он. – Маленько и мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нет. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.

– Вот вы и работайте. Работа, она тоже вроде как по возрастам. Где новые стройки, где, значит, трудней всего – там молодежь. Где полегче, попривычней – другие. Все-таки не сравнить – там или здесь, условия-то разные. Туда люди для того и едут, чтоб одну большую работу всем вместе сделать, она для них – самое главное, они там и живут только для этой работы, а вы здесь вроде как наоборот, вроде как работаете для жизни. Ты говоришь, внимание. Внимание, оно от важности, от нужности, ничего в нем особенного нет. Помоему, всегда так было. У тебя тоже... если тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь, хочешь не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в масштабе, значит, всей страны, там, может, от этой стройки много чего другого зависит. Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все. Не для славы, а для дела. Ну, может, получше работают, чем в другом месте. Так требуется...

– Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать получше, а в другом считаем, что можно как попало.

– Плохо, конечно, – не задумываясь, думая над тем, что еще возразить отцу, кивнул Андрей. – Вспомни, как было, например, тридцать или двадцать лет

назад и как теперь. Сколько всего понастроили да напридумывали! Когда-то, наверно, и на нашу Матеру, казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не хватало? А кто-то пришел и остался – и вышло, что земли без Матеры и правда не хватало. А сын его пошел дальше – не все же тут задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их, молодых, тоже не остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены, наверно, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее...

– А почему ты думаешь, что здесь полегче?

Все-таки выражение «цель оправдывает средства» нелепо без уточнения, каковы цель и средства. Дарвинистские разговоры с горящими глазами о необходимости затопления Матеры, кажущиеся абсолютно уместными для своего времени, превратятся в лукавые и наивные, перенеси их на страницы «Зоны затопления». Именно непонимание своего жертвоприношения является одной из причин той апатии и отчужденности, которая свойственна многим героям романа и которая создает атмосферу безжизненного.

На страницах «Зоны затопления» Смерти действительно много. Ей роман начинается: умирает одна из деревенских жительниц, но вместо того, чтобы похоронить усопшую на малой родине, родные предпочитают забрать тело и провести погребение в другом месте; и эта сюжетная линия оказывается закольцована с концовкой, где выбившаяся из планируемых пределов вода пускает на дно городское кладбище, куда и были перенесены останки умерших из затопленных деревень.

Много места в книге уделено как раз целесообразности и трудности транспортировки захоронений из старых мест в новые. Один из героев книги не знает, как правильно поступить.

Весь последний год был уверен, что переносить нужно, а теперь, увидев череп потревоженного, сомневался все сильнее, боялся сделать ошибку, за которую и его, и его живых близких людей накажет высший закон. В далекой древности этот закон велел людям хранить покой своих мертвых, а он, Алексей Брюханов, его нарушает – взял лопату и стал копать.

К тому же есть в этом перезахоронении нечестность, ложь.

Вот собираются на городском кладбище члены большой семьи. Старшие рассказывают детям, внукам о бабушках, прабабушках. И младшие спрашивают: «А они тоже здесь, в Колпинске, жили?» И старшие натужно, стараясь не касаться действительно важного, объясняют: «Нет, в деревне. Там, на реке... Теперь той деревни уже нет». Да, деревни нет, а те, кто там всю жизнь прожил, там умер и был похоронен, теперь лежат здесь. И, получается, ничего страшного, если могилки все-таки сохранены, имена-фамилии, фотокарточки уцелели. Другое дело, когда отвечаешь на вопрос младших, где их бабушки-прабабушки, дедушки-прадедушки так: «Они лежат на кладбище родной деревни. Это место теперь под водой, его затопили из-за вот этой электростанции».

Интересная аллегория: даже перенос могил заканчивается трагично, и человек, отвечающий за этот процесс, умирает. Харон – в греческой мифологии перевозчик душ через реку Стикс в Аид – соглашался перевозить только тех умерших, чьи останки обрели покой; но видимо, сенинский Харон – Ткачук – не выполнил это условие перед самим собой или души мертвых этому воспротивились, и перевозчик сам не смог пережить это действие. Но, несмотря на столь символически странную

смерть еще недавно казавшегося здоровым человека, чувство отрешенности продолжает пронизывать книгу.

Меланхолия «Зоны затопления» не просто в том, что Старая Деревня угасает, и не только в том, что мы ничего не можем сделать, а еще и в мерзко саднящем чувстве лицемерного самообмана будто бы мы отдаем ее (Неразвитое) нечто новому (Развитому). Но вглядываясь в Сегодня, приходится признать: пытаюсь найти оправдание своему безволию и слабости необходимостью уступить якобы чему-то большему, общество лишь предоставляет отписку своей совести. Опережающая же горечь возникает не из-за верности поговорки «что имеем – не храним, потерявши – плачем», а оттого, что, когда мы вконец обнаружим потерю, не останется даже тени уходящего права на стыд, печаль и плач – лишь бездушная пустота.

## Константин ВАСИЛЬЕВ

Родился в 1952 году, окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор многочисленных пособий по английскому языку.

Готовил к печати для петербургского издательства «Азбука» серии «Русская словесность» и «Наследие», редактировал и снабжал примечаниями такие произведения, как «История кабаков в России» И.Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г.В. Есипова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского, «Имена» П. А. Флоренского, «Витязь в барсовой шкуре» Руставели. Сотрудничает с философским изданием Vox, печатается в журналах «История в подробностях», «История Петербурга», «Север» и «Сибирские огни». Живёт в Санкт-Петербурге.

## КРЫЛАТАЯ ГАЛИМАТЯ

Как-то я наткнулся в «Словаре» В.И. Даля на определение *пингвина*: это «морская птица чистик; плохо летает и ходит стойком». Представим, что, ссылаясь на озвученное толкование, я стану уверенно поправлять современных зоологов. У них пингвин совсем не умеет летать и не имеет никакого отношения к чистикам с их полноценными крыльями для ближних и дальних перелётов, а я тычу их в «Толковый словарь живого великорусского языка»: смотри третий том, страница сто однадцатая! Если у кого возникнут сомнения в авторитетности далевских суждений, я перечислю полученные им научные награды и звания: член-корреспондент Петербургской академии наук за естественно-научные труды! почётный член Академии по отделению естественных наук! почётный член Общества любителей российской словесности!..

На зоологах я не проверял, а филологи и всякого рода культурологи при упоминании гуманитарных авторитетов принимают покорно-приниженный вид, если кто и хотел сказать что-то от себя, то сразу тушется. Однажды, задав вопрос о пингвинах в филологической среде, я намеренно начал со ссылки: по Далю, пингвин – птица, которая плохо летает. Люди не решались возразить. Потом один из филологов сказал осторожно: «Когда пингвин прыгает в воду с камня, он всё-таки взмывает своими крыльями – как бы взлетает».

Редактируя в одно время сборник русских частушек, в другое время поговорки, собранные тем же В.И. Далем, затем «Мёртвый дом» Ф.М. Достоевского и «Историю кабаков» И.Г. Прыжова, я обращал внимание составителя или автора примечаний на очевидные несоответствия или неточности... Например, в комментариях к «Запискам из

Мёртвого дома» пишут, что *язёвый* значит *клеймёный*, тогда как в Сибири *язёвым лбом* обзывали того, кого считали *дурачиной*. Или вот утверждается, что, по Библии, глас народа – это глас божий, но в Библии такого нигде не говорится... В ответ мне указывали или намекали: вы вторгаетесь в чужие епархии, в каждой из которых есть специалисты на своей специальности собаку съевшие, на указанную проблему жизнь положившие или, по крайней мере, по означенной теме сотню научных публикаций написавшие и диссертацию защитившие. Если во всех академических изданиях Достоевского *язёвый лоб* объясняется как *клеймёный каторжник*, то не хочу ли я подорвать авторитет прославленных литературоведов из Пушкинского дома? Или, того хуже, авторитет Священного Писания – когда начинаю рассуждать на библейские темы, вместо того, чтобы повторять слово в слово канонические высказывания канонизированных богословов.

Помню, как некоторым, – впрочем, даже многим удобно жилось при коммунизме: не надо мучиться, пытаюсь дойти до чего-то своими мозгами, на все случаи жизни были авторитетные определения. Ты просто заучивай наизусть и повторяй, ты просто цитируй: учение Маркса всесильно, потому что оно верно, из всех искусств для нас важнейшим является кино, религия – опиум для народа...

Постараюсь не вторгаться в чужие отлаженные сферы и буду говорить о том, чему учился, – на ту тему, которая соответствует моей специальности, полученной в своё время в Ленинградском университете, о чём имею диплом, заверенный подписями и печатью. Учился я, действительно, не на русском отделении с частушками, Далем и Достоевским, а на английской филологии, и как-то встретилось мне слово *galimatias* – в английском тексте. Обратившись к английскому же этимологическому словарю, составленному в Оксфорде, я узнал, что это заимствование из французского языка со значением *nonsense*, *rigmarole*, но происхождение его неизвестно. В другом, менее академическом источнике подтверждалось, что *galimatias* значит *бессмысленная речь, тарабарщина* (*meaningless talk, gibberish*), а насчёт происхождения высказывалось предположение, что слово возникло в XVI веке в студенческой среде, где бытовало прозвище *gallus*, что на латыни *петух*, в адрес кандидата на докторскую степень: для получения оной степени требуется умение складно и продолжительно разглагольствовать на философские темы, и это умение окрестили *gallimathias*, слив латинское *gallus* с греческим *mathia*, или *matheia* (учение, знание).

Исходя из зачитанного объяснения, жаргонное новообразование *gallimathias* можно перевести примерно как *трепломатика* (умение трепаться).

Поскольку английские и немецкие филологи уверенно говорят о французском происхождении *галиматьи*, мне интересно было узнать мнение французов. Они, увы, сами не знают, откуда взялось это словечко. Французы, как и англичане, пишут о его неясном происхождении: *origine inconnnue*. У них среди версий тоже высказывается предположение о насмешниках-студентах, придумавших *трепломатику*.

Несколько лет назад мне довелось редактировать книгу С.В. Максимова «Крылатые слова». Честно говоря, я сам предложил её для переиздания. По идее, работу над указанным произведением нужно было поручить кому-либо из специалистов по *русской* филологии – человеку с научной степенью в области этнографии и фольклористики, и он с должным благоговением, или, как сейчас предпочитают выражаться,

с должным пиететом, донёс бы до современного читателя мудрые высказывания известнейшего русского этнографа, почётного академика Петербургской Академии наук, чьи научные и научно-популярные сочинения вышли в своё время в двадцати томах. Я не ёрничаю. Я искренне, я без камня за пазухой предложил напечатать «Крылатые слова» – чтобы дать слово дореволюционному исследователю, которому, в отличие от советских языковедов, не нужно было всю жизнь подгонять свои суждения о русских словах и фразах под каноны коммунистического мировоззрения и марксистского языкознания. Ещё в начале работы, ознакомившись с оглавлением, я подумал с радостью, что наконец сам узнаю ответы на многие вопросы, например, про выражение *бить баклуши* – откуда оно взялось, вернее, как возникло его современное значение *лодырничать, бездельничать*. По поводу баклушей тут и там пересказываются, приправленные отсебятиной, невнятные рассуждения записных филологических популяризаторов, но лично мне не встречалось толкового и достоверного объяснения; бить баклуши – колоть топором поленья на чурки определённого размера, делать заготовки для деревянных ложек; занятие нудное, тупое, но это всё же – занятие, это работа. С.В. Максимов должен был объяснить, наконец, почему *бить баклуши* стало применяться к праздным личностям, от работы отлынивающим!

Максимов пишет – как бы лучше выразиться – с большим удовольствием, но как-то без царя в голове. В пространном очерке о баклушах он обстоятельно повествует, в каких российских краях делают лучший щепяной товар и какой лес лучше для деревянных ложек, и как из заготовок-баклушей эти ложки вытачивают, и какие ложки для каких надобностей применимы... Так, а где, собственно, объяснение *крылатой* приговорки *бить баклуши* в смысле *бездельничать*? А у Максимова его попросту нет!

Зато я узнал о происхождении французского слова *галиматья*.

В статье «Галиматья» русский языковед Максимов со знанием дела объясняет:

«Жил себе в Париже врач, обладавший необыкновенным даром смешить своих больных в такой степени, что вынужденный смех служил освежающим и зачастую целительным лекарством. Приедет он, насмешит и уедет, не оставив ни клочка рецептов. Между тем больной уже почувствовал облегчение, обрадовался, похвастался перед знакомыми, всех удивил и соблазнил. Доктор по имени Галли Матьё вошёл в моду и получил обширную известность и практику. Его стали приглашать нарасхват и, конечно, затруднили ему личные посещения: надо было придумать новый способ. Он стал вместо себя рассылать своим пациентам печатные листки, в заголовке которых стояло его имя, а под ним разнообразны острооты и каламбуры. Отсюда производят обычай называть бессвязный и бессмысленный вздор, словесную чепуху именем и фамилией оригинального и счастливого целителя душ и телес. Впрочем, у народа для пустословов, вздорных болтунов, умелых городить такую чепуху, от которой вянут уши, придумали слово *алалой*: по звукоподражанию, как уже сказано раньше, от *алалыкать*, или *картавить* (нечисто произносить буквы и слова)».

Подождите, это же бессмысленный вздор... Простите, откуда такие точные сведения? На всякий случай я ещё раз обратился к французским словарям, где, помимо уже озвученной выше версии, высказывается предположение, что *галиматья* идёт от греческого *κατά Ματθαίου*

(по Матфею, согласно Матфею): Евангелие от Матфея начинается перечислением предков Иисуса Христа, этот длинный список иудейских имён, монотонно зачитываемый священником в церкви, утомлял и ничего не сообщал пастве: Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи... В недрах паствы, вроде бы, и могло родиться словечко *galimateus*, в корне которого *Матфей*.

В.И. Даль в своём «Словаре» называет слово *галиматъя* французским и объясняет его как: бестолковщина, вздор, бессвязица, бессмыслица. В современных словарях мы читаем то же самое: *галиматъя* (фр. *galimatias*) – бессмыслица, нелепость, чепуха. В некоторых справочниках в ряду синонимов имеется ещё колоритное *ахиня*: «Несёт какую-то галиматъю (или ахиню)».

Во время этих разысканий я выписал из «Толкового словаря» пример, приводимый В.И. Далем к прилагательному *сугубый*: «Галиматъя простая, коли слушающий ничего не понимает; галиматъя сугубая, когда ни слушающий, ниже беседующий сами себя не понимают». Высказывание, как я понимаю, принадлежит Ю.Н. Бартенёву (1792–1866), чиновнику и мемуаристу.

Как определить ту галиматъю, которую привнёс в русское языкознание С.В. Максимов? Он, скорее всего, понимал всё, что пишет. Я, слушающий и читающий, понимаю все его слова и предложения. Но где же смысл? Сначала *беседующий*, то есть Максимов, утверждает, что доктор Галли Матъё лечил разнообразными остротами и каламбурами. Если пациент смеялся, значит, он их понимал. И тут же, в следующем предложении, Максимов причисляет эти остроты и каламбуры к бессвязному и бессмысленному вздору, к словесной чепухе!

Мне скажут: зачем подмачивать авторитет давно умершего человека, к чему ворошить давно забытое старое. Забытое? Написанное пером и напечатанное чёрным по белому не забывается. Как-то показывали телевизионную игру для эрудитов, и среди вопросов, присланных зрителями, был такой: «Что клали за пазуху поляки, когда ходили в гости к русским во время захвата Москвы в 1610 году?» Один из знатоков сразу же поднял руку: «Ответ готов! Поляки клали за пазуху камень».

И зритель, и начитанный знаток знали книгу С.В. Максимова «Крылатые слова». Его статья, посвящённая *камню за пазухой*, небольшая, приведу её полностью:

«Камень за пазухой – остался в обращении с тех пор, как, во время пребывания поляков в Москве, в 1610 году, последние хотя и пировали с москвичами, но, соблюдая опасливость и скрывая вражду, буквально держали за пазухой кунтушей про всякий случай булыжные камни. Об этом свидетельствует очевидец, польский летописец Мацеевич. *С москалём дружи, а камень за пазухой держи* – с примера поляков стали поговаривать и малороссы одним из своих присловий в практическое житейское свое руководство и в оценку великороссов».

Написанное пером воистину не вырубешь топором, особенно если это написано каким-либо авторитетом. А ведь на самом деле, отправляясь *пировать* к москвичам, поляки за пазуху ничего не засовывали.

Нас очаровывают уверенно изречённые красочные фразы, но полезно и в смысл вникать. Представим: вы один из тех, кто недавно одержал победу в Клушинском сражении над русско-шведским воинством, в Москве вас, победителя, приглашают в гости, вы идёте, но перед теремом русского боярина задумываетесь: как бы эти коварные москвиты не лишили меня жизни во время застолья! И вы, гордый шляхтич,

гусар летучий, распахиваете свой *кунтуш* и засовываете под него поднятый с земли грязный булыжный камень. Не в переносном смысле, а буквально, как подчёркивает Максимов. Придерживая свой булыжник за пазухой, ибо кунтуш – одежда распашная, сам по себе камень не будет покоиться у вас за пазухой, вы явились на порог. А я, предположим, коварный москвит, смотрю и дивуюсь: что такое у ляха под евойным кафтаном на груди сильно выпирает, что это он рукой придерживает? Уж не булыжник ли он туда засунул? А для чего? Если из *опасливости* и *про всякий случай*, так я, пожалуй, могу ляшского гостя отравить или заколоть, или удавить, когда он сидит за столом, рукой удерживая свой булыжник, чтобы тот не выпал. Если уж он такой опасливый, мог бы кинжал или пистолет скрытно держать под полой своего длинного кафтана.

Согласитесь, что я нарисовал сцену, которая противоречит здравому смыслу.

Про здравый смысл все готовы послушать, но как не верить С.В. Максиму, известному этнографу и почётному академику? Он и свидетеля привлекает в своей статье – польского летописца Мацевича! А я кого-нибудь могу привлечь?

Свидетелей из 1610 года разыскать трудно, но я попробую. Пока другие ищут все по справочникам летописца *Мацевича*, я сошлюсь на Самуила Маскевича, чьё существование подтверждает «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «Самуил Маскевич – литовец по происхождению и польский офицер, участвовавший в походе на Москву. Маскевич вёл дневник, в котором он описал своё пребывание в России...» «Большой энциклопедический словарь», изданный в 1981 году, считает Маскевича не литовцем, а белорусским феодалом, «участником польской интервенции в Россию в 1609–12 годах».

Какие же впечатления вынес польский гусар, он же белорусский феодал, участвовавший в *интервенции*? Его показания отличаются от тех, которые приводит Максимов. В своём «Дневнике» Самуил Маскевич написал об отношениях поляков с русскими после захвата Москвы: «Несколько недель мы жили с ними, друг другу не доверяя. Кумились с ними, а камень, как у них говорят, за пазухой. Бывали друг у друга на пирах, а ведь думали о себе. Мы должны были также крепко сторожиться; караулы днём и ночью стояла у городских ворот и на некоторых перекрёстках...» Для убедительности я прилагаю к своему переводу ту часть польского текста, которая относится к обсуждаемому речению: «a kamień, jak oni mówią, za pazuchą».

Поляки не вооружались *булыжными камнями*, а пословицу о камне за пазухой гусар Маскевич услышал впервые от русских и понял её так, как и следует понимать человеку, обладающему здравым умом, – в переносном, а не в буквальном смысле. И пословица эта восходит, конечно, к более давним событиям, чем польское вторжение в Москву. Она, скорее всего, ещё из пещерных времён: какая-либо из враждующих сторон отправлялась к противнику на мирные переговоры, пряча в складках одежды острые обломки камня – кто-то из предосторожности, а кто-то и для внезапного нападения...

В «Записках из Мёртвого дома» есть сцена, где один арестант (лет пятидесяти, мускулист и сухощав, в лице что-то лукавое и вместе весёлое), явившись на кухню, заводит разговоры с обедающими, напрашиваясь на угощение:

«– Ну, здорово ночевали! Что ж не здороваются? Нашим курским! – прибавил он, усаживаясь подле обедавших своё кушанье, – хлеб да соль! Встречайте гостя.

– Да мы, брат, не курские.

– Аль тамбовские?

– Да и не тамбовские. С нас, брат, тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси».

Гостя отваживают, с ним не хотят делиться своей едой: пусть ест казённую. А он, лукавый и весёлый, продолжает – лукаво и весело – напрашиваться:

«– В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна; а где он, богатый мужик, живёт?

– Да вон Газин богатый мужик; к нему и ступай.

– Кутит, братцы, сегодня Газин, запил; весь кошель пропивает. <...> Что ж, не примете гостя? Ну, так похлебаем и казённого».

Что значит *Иван Таскун да Марья Икотишна*? Это значит: человек так проголодался, что у него живот подвело, у него в брюхе волки воют. К слову, Достоевский перенёс эту фразу в произведение из своей «Сибирской тетради» – где было написание *Марья Еготишна*. В фольклорных сборниках мы обнаруживаем сходную пермскую приговорку о голоде: «В брюхе Иван Постный да Марья Икотишна (или Леготишна)». Есть также «В одном кармане Иван Тоший (или Иван Постный), в другом Марья Леготишна» – сочувственный или пренебрежительный отзыв о бедняке, у которого, как говорится, *в карманах ветер гуляет*.

Но это моё объяснение, а в тридцатитомном собрании сочинений Ф.М. Достоевского, изданного Академией наук СССР, и в пятнадцатитомном собрании его же сочинений, подготовленных к печати в издательстве «Наука» сотрудниками Пушкинского дома, слова лукавого каторжника объясняются со ссылкой на почётного академика С.В. Максимова:

«Этнограф С. Максимов писал, что так называли в арестантской среде болезни, зависящие от дурной и преимущественно сухой, *без приварка* пищи» (Максимов С.В. Сибирь и каторга. 3-е изд. СПб., 1900, с. 161).

Вот видите, бессмысленный вздор... извините, научное объяснение, прозвучавшее из уст Максимова более ста лет назад, до сих пор повторяется литературоведами, и по этому объяснению, весёлый и лукавый каторжник, явившись на общую кухню, не бесплатный обед себе выклянчивает, а жалуется товарищам по каторге – не с удручённым, а весёлым и лукавым видом: в брюхе у меня сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна – желудочные болезни, зависящие от дурной каторжной пищи без приварка!

Возможно, в Сибири, при посещении того или иного острога, этнограф Максимов услышал нечто про желудочные болезни от какого-нибудь каторжного лекаря, или арестанты, хитро перемигиваясь, наплели чего-нибудь приезжему профессору, или он услышал одно, записал несколько другое, потом, сидя уютно в своём кабинете в Москве, домыслил что-то третье... По очеркам о галиматье и о камне против москалей у поляной за пазухой можно уверенно говорить о своеобразной фантазии почётного академика. В любом случае, ссылка на Максимова неуместна применительно к обсуждаемой сцене из «Мёртвого дома».

В указанных академических собраниях сочинений, как я говорил, *язёвый* толкуется как *клеймёный*. Чем мне не нравится объяснение признанных наших достоевсковедов?

Вспомним, как Достоевский описывает утренние занятия в казарме после того, как в остроге объявили подъем:

«В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. <...> У ведер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта. <...> Из-за ковша, который был один, начались немедленно ссоры.

– Куда лезешь, язёвый лоб! – ворчал один угрюмый высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своём бритом черепе...»

Ну, наверно, этот каторжник, сам, возможно, неклеймёный, видит клеймо на лбу у второго каторжника, поэтому, наверно, и награждает того уместным прозвищем... Но вспомним «Сибирскую тетрадь», в которую Достоевский, выйдя из острога, записал по памяти словечки и фразы из каторжного лексикона. *Язёвый лоб* в «Записках из Мёртвого дома» восходит к следующему разговору двух арестантов (в «Сибирской тетради» он под номером 75):

«Ах ты язевоу лоб! – Да ты не Сибиряк-ли? – Да есть мало-мало! А что? – Да ничего».

Услышав *язёвоу лоб*, второй каторжник предполагает, догадывается, что его сотоварищ – сибирский житель. По этой подсказке мы берём любой словарь сибирских говоров и читаем объяснение: *язёвый лоб* – дурак, дурачина. Чтобы меня не обвинили в голословности, чтобы не показаться ненавистником всего академического, сошлюсь, однако, на академический источник, оформив ссылку так, как полагается в научных кругах, с точным указанием того авторитета, коего я привлекаю в свидетели: в семнадцатом выпуске совершенно академического «Словаря русских народных говоров» (1981 год) на 93-й странице в подробнейшей статье, посвящённой существительному *лоб*, напечатано буквально следующее: «*Вязовый лоб*: об упрямом, тупом человеке». Вы считаете, что я притягиваю за уши, что *вязовый* – не *язёвый*? Я ещё не договорил. Чуть ниже в том же столбце на той же странице находим: «*Язёвый лоб*: то же, что *вязовый лоб*». Помета сообщает, что это употребление было записано в 1865 году. Где? В Енисейской губернии. *Язёвый лоб* – сибирский вариант *вязового лба*. В «Мёртвом доме» Достоевского один каторжник обзывает другого дурачиной.

Сошлось так, что в 2012 году я редактировал для издательства «Азбука-Аттикус» упомянутое произведение Ф.М. Достоевского – именно «Записки из Мёртвого дома». Мне передали предисловие и примечания, уже предоставленные издателю – нетрудно догадаться – сотрудником Института русской литературы, известного как Пушкинский дом. В примечаниях я прочитал в очередной раз, что *Иван Таскун да Марья Икотишина* – название болезней, которые, по толкованию С.В. Максимова в его книге «Сибирь и каторга», зависят от дурной и преимущественно сухой, *без приварка* пищи. Я позволил себе не согласиться: каторжник просто сообщает, что сильно проголодался. Мне ответствовали: в примечаниях всё правильно написано!

Кроме объяснения про означенные желудочные болезни, вызванные сухой пищей, составитель примечаний счёл нужным объяснить читателям нашей книги... Нашей? Ну, Достоевский написал, «Азбука-Аттикус» издавала, достоевсковед из Пушкинского дома приложил серьёзные научные примечания, я присоседился к их славе в роли редактора! Итак, в серьёзных примечаниях объяснялось, что такое *бить зорю*.

Помните, я выше зачитывал отрывок с язёвым лбом, сцена начиналась со слов: «В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю...» *Бить зорю* – это играть побудку, давать сигнал к пробуждению. Побудку, естественно, производят в одно и то же время – по воинским частям, в колониях, лагерях и тюрьмах, только в выходные дни, как я помню, побудка, или, как у нас говорили, подъём, был на час позже... Я служил в воинской части или сидел в тюрьме? Нет, я ездил когда-то в пионерский лагерь... Так это кто объясняет про зорю – знатоки Достоевского из Пушкинского дома, или я, всего лишь редактор? Извините, это я увлёкся, полез со своими ненужными воспоминаниями и замечаниями. Знающие люди из Пушкинского дома написали другое: «Бить или играть зорю – оповещать, по воинскому уставу, о восходе или закате солнца, для чего установлены особый барабанный бой и музыка».

По этому объяснению, летом воинов, каторжан и пионеров будят утром часа в четыре, в пять – ибо раньше солнце восходит. Зимой, соответственно, подъём объявляют на два, три, а то и четыре часа позже. Если погода пасмурная, побудку не играют: ибо восход солнца не наблюдался. У нас в Петербурге в июне солнце исчезает за горизонтом совсем ненадолго, так что ты не успеешь, услышав вечернюю зорю, забраться в кровать, как уже барабанным боем и музыкой требуют: Подъём!

Страдая из-за этой *зори*, я снова обратился в Пушкинский дом. После отповеди касательно желудочных болезней, известных в арестантской среде как *Иван Таскун да Марья Икотишина*, я получил вторую отповедь в виде лаконичной рекомендации посмотреть *зорю* у В.И. Даля.

Я начал этот очерк с Даля, с его крылатого *летающего* пингвина, и заканчивается он на Дале. Следуя поданному совету, я открыл «Толковый словарь живого великорусского языка», а именно первый том, где в пространной статье с головным словом *Зарево* для меня обнаружилось следующее объяснение: «Бить зорю или играть зорю – обвещать, по воинскому уставу, при караулах, о закате и восходе солнца, делить день и ночь...» Ничего не поделаешь: если почётный академик В.И. Даль дал такое объяснение, какие могут быть сомнения и опровержения. Тем более и в воинских уставах, как он утверждал, то же самое прописано – против устава уж точно ничего не возразишь.

## Юрий НЕМЦОВ

Родился в 1950 году в Кинешме Ивановской области. Окончил Горьковский госуниверситет (филологический факультет), преподавал в средней школе литературу и русский язык, работал журналистом.

Шеф-редактор публицистического вещания ННТВ, редактор видеожурнала «Строй!». Лауреат премий им. М. Горького и Нижнего Новгорода, гран-при телефестиваля «Вся Россия» (программа «Парад “Побед”», 1995 г.), гран-при фестиваля «Зодчество-98» («Архотека»). Автор трилогии документальных фильмов «О человеке, земле, воде и дереве»: «Сделай себе ботник», «Черная глина», «Сила Кориолиса».

Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Нижнем Новгороде.

## ПОГОДА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

### Опыт выборочного чтения вслух

«Ненастье» – новый роман Алексея Иванова. Погода стала его названием – и знаком времени, как Смута, Оттепель, Застой. Поговорим о роли погоды в современной русской литературе.

«Всё равно потом хлынул дождь. Он поливал в темноте город Батуев, его типовые панельные пятиэтажки и гастрономы, его площади, парки, промзоны и долгострой. Капли грохотали по жестяным карнизам окон и вспыхивали на свету из комнаты, похожие то ли на монеты, то ли на гильзы. Трамвайные рельсы заблестели в ночи, будто открытые для перезарядки затворы. На тротуарах возле ресторанных витрин стояли бандитские иномарки, и ливень разноцветными огнями бегал по их изысканным обводам, точно чёрный музыкант играл на чёрных рояля... Из амбразур ночных ларьков, вооружившись газовыми баллончиками, осторожно выглядывали продавщицы – это кто так уверенно молотит по прилавкам?

Гильзы, затворы, амбразуры... Не поймешь, то ли дождь идет, то ли война. Ненастье – это название дачной деревни, это эпоха, в которой завязла страна, это помутненное состояние души.

Книга начинается с вооруженного ограбления, которое шофер Герман Неволин совершает в пятницу, 14 ноября 2008 года. В дождливую пятницу: «Низкое, плоское и просторное небо казалось таким же мокрым, как асфальт». Та, ради которой он идет на преступление, под стать осеннему пейзажу. «Девочка лет пятнадцати мыла в умывальнике стаканы. Узкие плечики, тонкая русая косичка, неяркое и нежное лицо, бледные губы». Такой ее впервые увидел Герман в начале 90-х. С тех пор она мало изменилась:

«Танюша оставалась все такой же, как в юности, – тихой, светлой и девически-тоненькой. Вечная Невеста. Она словно бы всегда пребы-

вала в зачарованной полночи перед свадьбой, словно бы всегда – в ожидании жениха, и не простачка вроде Германа, а настоящего волшебного королевича, который поцелует расколдует ее и пробудит к счастью».

Заколдована не только Танюша. Заколдована вся страна, над которой не расходятся серые облака. Лихие девяностые обнулились, ушли бандиты и банкиры, пришли мошенники и менты, на месте бронированных ларьков выросли небоскребы и супермаркеты, но светлее не стало. Впрочем, кому как:

«Владику нравилось быть среди чиновников – среди этих самоуверенных, холёных и мордатых мужчин с убедительной речью. Вот так же в юношестве Владику нравилось быть среди “афганцев” с их понтами, трицепсами и стволами».

Владик Танцоров – ничтожество, мокрица, мелкий лавочник, спекулянт на недвижимости – чувствует себя великолепно. Как и майор КГБ Щебетовский, сваливший лидера афганской группировки Серегу Лихолетова и прибравший к рукам его активы. А вот Танюша Куделина с неярким и нежным лицом, Герман Неволин, приросший к баранке, – кто они в этом холодном неуют?

«Щебетовский отключил рацию и посмотрел на Германа и Таню. Теперь можно было разобраться и с этими. Майор знал их по разработкам оперов. Куделина – дочь тренера из “Юбиля”, малолетняя сожительница Лихолетова, дура. Неволин – водитель автобуса “Коминтерна”, приятель Лихолетова и сослуживец по Афгану, обычный – как все. Короче, эти двое – никто и ничто».

Никто и ничто. Это ведь общий приговор, точка зрения всех персонажей «Ненастья», даже родителей Танюши, даже героического атамана «афганцев» Сереги Лихолетова, который поначалу великодушно пригрел малолетку, но скоро остыл:

«Кто она теперь? Простая парикмахерша из салона “Элегант”. Девушка, каких много, а не девочка, близость с которой была вызовом всему свету. Лилейность Танюши, её русалочья бестелесность уже не насыщали Серегу».

Итак, она звалась Татьяна... Героиня ивановского «Ненастья» и героиня пушкинского «Онегина» не просто тезки. Обе в семье своей родной казались девочкой чужой, обе мечтательны, непрактичны, наивны, неопытны (душа ждала кого-нибудь), обе отданы другому. У одной кто-нибудь – блестящий дворянин, у другой – мелкий мошенник, одна была отдана герою войны с Наполеоном, другая – герою криминальных войн, но это лишь приметы времени.

Пушкин не был пуританином, видел жизнь без прикрас, недаром его называют основателем русского реалистического романа. Но он бы ужаснулся, узнав, какого рода инкарнация ждет его Татьяну Ларину:

«Встречи с Серегой в камерах райсуда для Тани были почти невыносимы. Милиционеры, подвал, решетки, грязная и тесная комнатуха, а в ней одичавший, чужой и грубый Сергей. <...>

В эту встречу он был особенно напорист: ворочал Танюшу на скамейке, будто солдат, который, наедаюсь перед сражением, вертит свой котелок так и сяк и скребет ложкой по доньшку. <...>

Таня лежала на скамейке, застеленной простынкой, голая, будто для операции или для казни».

Уверяю вас: Алексей Иванов любит и жалеет свою Татьяну не меньше, чем Александр Сергеевич – свою. Зачем же ему понадобились такие откровенно жестокие сцены, напоминающие заклятие? Сам писатель в одном из интервью говорит об этом со всей определенностью:

– Танюша Куделина – «овца», в смысле «агнец», то есть и кроткая, и жертва – жертва эпохи, жертва девяностых. Она Вечная Невеста, ее девичество непреходяще, оно никогда не станет женственностью и поэтому бессмертно.

После этих слов мы спокойно можем поставить Танюшу в один ряд с Катериной из «Грозы», Сонечкой Мармеладовой из «Преступления и наказания», Катюшей Масловой из «Воскресения». Все они жертвы Ненастья.

Но ведь и Герман – жертва, к тому же двойная: и обстоятельств, и собственного волевого решения – грабануть инкассаторов, чтобы навсегда увезти свою Танюшу в далекую Индию, к теплему Аравийскому морю, на золотые пляжи Малабара, где каждый день светит солнце и все улыбаются. Утопия, конечно: никуда не отпустит Ненастье. Но мечта благородна, поступок самоотверженный. И ведь Герман – единственный, кто не способен убить, даже если в него стреляют.

Да, эти двое – «никто и ничто» – предназначены друг для друга. Почему же тогда – Вечная Невеста? Чья же все-таки – невеста?

Было бы натяжкой говорить, что небо в романе Алексея Иванова «Ненастье» закрыто наглухо. Оно грозно сверкает звездами Афганистана, где воевал Герман, солнечно сияет над побережьем Индии, где он однажды побывал, но все это не Россия. Русское небо по-настоящему открылось только раз – в ту зимнюю ночь, когда Таня Куделина решила покончить с собой.

Это было еще до встречи с Германом, еще до Сереги Лихолетова. Осознав, что никому не нужна, всем мешает, всех раздражает, все ее ругают, а некоторые даже бьют, она сбежала из дома. Решила покончить со своим девичеством, с той Танюшей, которая как белая ворона не похожа на всех остальных. Местом преступления выбрала дачу в Ненастье, в качестве подельника взяла с собой Владика Танцорова, свидетелем, а может быть, и участником душевного суицида должна была стать Луна.

«Синее ледяное окно казалось полыньей; луна свешивалась, как петля. Таня разделась до майки и трусов.

– Владик, – позвала она. – Иди.

Владик не шел.

– Ну, Вла-адик... – умоляюще повторила Танюша.

А Владик заснул на тахте, завалившись в угол. Недосып, похмелье, марафон и плотный ужин срубили его. Танюша постояла над ним, переступая босыми ногами по холодному полу, и вернулась наверх. Она по-турецки уселась на топчан, закуталась в одеяло, а потом угрелась и тоже уснула».

Дальше начинается кино. Собственно, вся эта книга – киносценарий, но следующий абзац – готовая раскадровка: бери и снимай.

«Печка догорела. На шиферной крыше трубы протаяло темное пятно. Транзитные поезда как стрелы неслись строго по прямой линии через снежную равнину мимо маленькой дачной деревни Ненастье».

Спящая Таня, печка, труба, крыша; камера поднимается выше, чтобы взять самый общий план – бескрайние снега: это все еще взгляд сверху. Но вот он запрокидывается к небесам, а в небесах – торжественно и чудно: «в алмазных и морозных небесных водах, веерами распустив хвосты и плавники, грозно и величественно, словно сквозь какие-то стеклянные сферы, плыли огромные и прозрачные неевклидовы рыбы с яркими лунными глазами».

В Каппадокии, в пещерной церкви, есть фреска XIII века – «Тайная вечеря». Вокруг стола святые в нимбах, в центре – Иисус, и он же в виде Рыбы лежит на столе, в чаше Святого Грааля. Рыба – ἰχθύς (их-



«Ненастье». Предупреждающая надпись на обложке: книга содержит нецензурную брань. Подзаголовок: «В каком ненастье ты пропал без вести, солдат?» Война, тюрьма, драки, убийства, рэкет, мат, кровь, пот, насилие... А впечатление от книги светлое. Потому что в ней живет Таня Куделина, нежная как девочка, лучистая как зори, взглядом необъемлемая, как страна, Вечная Невеста – надо ли говорить, чья.

И вот мы подходим к финалу. Все завершилось совсем не так, как планировал Герман. Для него, маленького, одинокого, несчастного человека это огромный провал – а может быть, и взлет? Потому что он любим, прощен и понят той девочкой, ради которой готов бы жизнь отдать.

«Танюша повернула в переулочек и увидела, что ей навстречу несётся Герман – большой и нескладный мужчина с добрым и несчастным лицом. Ей показалось, что он бежит, будто взлетает старинный неуклюжий аэроплан, – как-то косо, внаклон, наполовину распластавшись над заснеженной дорогой. Это был Гера, Гера, Гера, живой Гера. Её Гера!

Басунов видел только спину упавшего Неволлина и приближался, чтобы добить: всего-то один патрон отделял его от победы. И вдруг откуда-то из ниоткуда (ведь она же никто и ничто! – Ю.Н.) на Басунова, визжа и рыдая, упала Танька Куделина, упала как зверюга, как нетопырь, повисла на его локте, вцепилась в пистолет, бешено впиалась зубами в руку, не давая выстрелить в Неволлина.

Она всегда была овца, и у нее все отняли, и теперь она отчаянно дралась за последнее, что у нее было: жертва взбунтовалась, агнец взбесился».

Сейчас мы дочитаем роман до самого конца, и вы услышите, как звучит последнее слово. Прошу обратить внимание: события, начавшиеся в пятницу, заканчиваются в субботу. Сейчас мы узнаем прогноз погоды на завтра. Куда смотрит камера? Конечно же, в небеса:

«За синими крышами дач, за кронами неурожайных яблонь черный небосвод с краю багрово потеплел. Но это был отсвет пожара, а не рассвета. Рассвет разгорался невообразимо далеко от деревни Ненастье – над хребтами Гиндукуша, над побережьем Малабара. Ненастье пока еще лежало в темноте этой долгой субботы. Хотя на земле, пусть и очень далеко, все равно уже началось воскресенье».

## Круг чтения

### КТО ЛЮБИТ, МОЖЕТ СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ

Три новые книги трех поэтов

Елизавета ЕМЕЛЬЯНОВА-СЕНЧИНА. КОБАЛЬТ

*М.: «Художественная литература», 2016*

Многие из нас довольно часто принципиально неправильно читают новые сборники стихов, взяв впервые их в руки. Мы открываем книгу посередине, отыскиваем знакомые названия, посвящения, строки, образы, забывая, что автор составлял её, соотносясь с неким внутренним замыслом, создавая единое, цельное и законченное произведение искусства.

Бывает, правда, и хуже: неискушенный автор, издавая свою новую книжку стихов, не затрудняет себя тем, чтобы создать нечто внутренне связное, а потому получается набор стихотворений, выстроенных в хронологическом порядке, а то и просто по алфавиту.

В хлебные для поэтов советские времена, разрешалось в новую книгу стихов ставить до 30% старых, уже публиковавшихся текстов. Зачем? А для того, чтобы легче было выстроить внутреннюю сюжетную линию нового стихотворного сборника. Ведь, как правило, от чьей-то новой книги стихов остается в памяти несколько стихотворений, запавших в душу, а целиком книга – редко. Из таких поэтических книг, составляющих единое целое, у меня в памяти остались лишь «Всадники» Сосноры, да «Уроки музыки» Ахмадулиной, да «Ветром и пеплом» Чухонцева – как цельный литературный текст, имею в виду.

Я трижды открывал новый сборник стихов Елизаветы Емельяновой-Сенчиной «Кобальт», прочитывал два, три, четыре стихотворения, наткнулся на чудную метафору и, тормозил, пытаясь её зафиксировать или осмыслить. Только после этого я понял, что эту книгу надо читать как цельный текст.

Более ста стихотворений, разбитых на шесть глав или разделов, – они не равноценны ни по качеству, ни по объемам. Любовная лирика и гражданская, философская и православная, политическая и сатирическая – автор не ограничивает себя в выборе тем, его волнует всё, он ставит перед собой вопросы и сам же отвечает на них, потому что владеет всем арсеналом русского стихосложения, если можно так выразиться.

Я читал книгу с карандашом и мог бы сейчас проиллюстрировать стихами из нее каждое из направлений русской лирической поэзии – эпических стихотворений в книге фактически нет. Не буду этого делать:

препарировать поэзию дело неблагодарное, да и не благородное. Однако как человека не чуждого виршесложению меня постоянно преследовали профессиональная зависть и профессиональное любопытство. «Два смелых карася в прозрачный водоём...», «А вечер добр и усат всё гладит по спине...» – читая книгу, я раз за разом наталкивался на образы и метафоры, про которые думал: «Да это же моё!», «И почему я раньше этого не нашёл?».

«Я у эпохи дочь» – говорит Лиза в одном из стихотворений, и это напомнило мне строчку из написанного мной десять лет назад – «наверняка – я пасынок эпохи»...

После прочтения книги «Кобальт» у меня создалось впечатление, что автор находится в постоянном состоянии восторженной влюбленности: в погоду и в природу, в детей и в зверей. А для меня в современной русской литературе возникла ещё одна фигура, о которой я буду постоянно помнить, – Елизавета Емельянова-Сенчина.

И после прочтения книги афоризм Ван Гога, поставленный в качестве эпиграфа к одной из глав, – «Тому, кто хочет стать художником, нужна любовь!» – захотелось инвертировать и отнести к автору.

Тот, кто любит, – может стать художником.

## Владимир РЕШЕТНИКОВ. ВЯЗЬ

*Н. Новгород: «Книги», 2016*

Где-то я уже сталкивался с рассуждениями о том, что чтение книги лирических стихов чаще состоит не из обращений поэта к читателю, а происходит в форме поиска читателем в тексте возможности сопереживания и даже попыткой возбудить или возродить в себе чувства и эмоции некогда волновавшие его. А бывает, что читатель ищет в одной и той же любимой его книге или у любимого своего автора ответы на новые, вдруг возникшие вопросы. Хотя такая позиция в случае моего интереса к книге Владимира Решетникова «Вязь» и не совсем точная: я знаю автора уже много лет и все вопросы, которые хотел бы ему задать, уже задал и ответы получил. И тем не менее.

После прочтения книги «Вязь» осталось ощущение, будто встретил я на улице приятеля, давно знакомого, но немного подзабытого, и разговорился с ним, честно поговорил: не скрывая ни радости, ни обиды, делясь и болью за Родину, и удачами в личной жизни. И острое словечко, возможно даже матерное, раз пришлось его прятать в тексте за точками, – не от бедности словаря, а от избытка эмоций, от искренности. Потому, что привык он (автор) так выражать свои чувства и мысли.

Мне не раз приходилось слышать в адрес автора упреки в эпигонстве, да и сам он не скрывает своих симпатий к Есенину и Рубцову, и я думаю, что многие поэты были бы счастливы, когда бы их сравнили с такими литературными величинами. Мне кажется, что ни подражательства, ни заимствования не предосудительны, когда они становятся локомотивом прекрасных открытий.

Кто упрекнёт Пушкина в заимствовании первой строчки «Евгения Онегина» у Крылова, если создан «Евгений Онегин»?

Потому, читая стихи из книги «Вязь», многие из которых мне давно знакомы (книга анонсируется, как избранное), я слышал музыку, кото-

рую всегда слышу, читая Есенина и Рубцова. И это меня не корбило и не раздражало, а радовало

Вот эти у меня ассоциировались с «есенинскими настроениями»:

Сторона моя глухая,  
Хлябь заброшенных дорог...

Или:

... На берёзы смотрел белоногие  
На родные, от дождика мокрые.

Или:

Ты поднесешь меня к своим губам,  
И захмелевши склонишься к другому.

Или:

Я про тебя живую  
Другой скажу: была...

Или:

Снег тихонько хлопьями  
Лег в округе всей,  
Слышно даже хлопанье  
Заячьих ушей.

Или:

А на деревьях одежды  
Красным и желтым горят.

А вот для меня безусловно «рубцовская музыка»:

Топится по-черному  
Банька у пруда,  
Девушка точеная  
Бегаёт туда.

Или:

Отражается в маленьком городе  
Вся святая великая Русь.

Столь обильное цитирование связано с тем, что есть ещё у Решетникова одна серьёзная и больная тема, тема – гражданская, тема утраченной советской Родины. И если мои позиция, моё отношение к вопросу с авторскими схожи, то реализация их через стихотворные строки меня не удовлетворяют.

И у Есенина, и у Рубцова гражданская лирика присутствовала, они отдавали ей должное, они не стеснялись своей любви к своей стране,

и болезненно воспринимали перемены, происходящие в ней, и мы эти строки помним и при случае воспроизводим. А вот у Решетникова в книге «Вязь» стихи, связанные с гражданской темой, темой патриотизма, на мой взгляд, выглядят вымученными и засушенными.

## Олег ЗАХАРОВ. ЕСТЬ ПОВОД

*Н. Новгород: «Книги», 2016*

Как мастер стихотворной пародии Олег Захаров давно уже известен и писателям и читателям. Неизменный и участник и организатор ежегодных всероссийских фестивалей «Русский смех», на сцене он смотрится так же замечательно и профессионально, как и на страницах своей очередной книжки.

Читая эту новую книгу поэта «Есть повод», я раз за разом сталкивался со знакомыми уже мне стихами и улыбался, и завидовал, ощущая свою беспомощность в этом трудном и далёком для меня жанре. Повод рекомендовать книгу читателям поэзии, ценителям весёлого, остроумного – есть!

И всё же главным для меня в книжке оказалось совсем другое. С самых моих молодых юношеских лет, привыкший учиться, я искал, находил и изучал книги, пособия, рекомендации, с советами по технике писательского ремесла. «Книга о русской рифме» Давида Самойлова или «Я читаю рассказ» Сергея Антонова так же, как и статьи Бориса Пастернака о точности литературного перевода и многие-многие другие откровения мастеров слова должны ложиться в фундамент техники начинающих литераторов.

То есть рекомендации, что надо делать и чего не надо делать, уже даны для начинающих работать во всех литературных жанрах. И лишь для такого лежащего на поверхности и всеми используемого упражнения, как литературная пародия, нет четких инструкций! Или они мне не известны? А ведь это жанр, в котором не попробовал себя редкий версификатор, известный и широко используемый со времен античных лириков и трагиков, предоставивший возможность защитить докторские диссертации сотням соискателей на всех континентах мира.

И вот Олег Владиславович почти половину объема своей книги «Есть повод», 70 страниц, посвящает школе, а точнее, заводит нас на свою творческую кухню, опубликовав статьи: «Как не надо писать пародии» и «Как не надо писать стихи». Думается, для многих начинающих (и не только) создателей поэтических текстов знакомство с этими статьями пародиста и юмориста Олега Захарова окажется полезным.

Перечислить все возможные поводы для литературной пародии, видимо, невозможно, хотя Захаров и попытался это сделать в своей книге. Хотя очевидно, что на прицеле у пародистов всегда находится или двусмысленность строчки, выдернутой из контекста, или литературная безграмотность, или явная неточность. Поэтому Олег Владиславович и говорит, что «сборник хороших пародий – это своего рода учебник русского языка, где в развлекательной форме разъясняются ошибки».

Автор сетует на то, что в последнее время деградировал институт редакторов и на свет всё чаще выходят очень слабые в отношении грамотности поэтические книги: денег на типографию хватает, а на редактора – нет! Такие книги – кусок хлеба для пародиста. И тут же Олег Владиславович объявляет пародиста санитаром поэтического леса.

Позволю себе не согласиться: после таких пародий, особенно написанных известным поэтом, этот безграмотный виршеслагатель только возгордится, ничего не поняв и ничему не научившись. Поэтому писать пародии на заведомо слабых и безграмотных авторов дело вредное, этим пародист оказывает им, возможно, даже медвежью услугу. Объект пародии чаще гордится вниманием к его текстам, чем обижается. По крайней мере, я очень радовался, когда много лет назад Евгений Нефёдов, выступая на праздничном концерте в ЦДЛ, читал пародии на мои стихи.

*О.Р.*

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

**О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ**

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

**УЧРЕДИТЕЛЬ**

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Выпуск издания осуществлен  
по заказу  
правительства  
Нижегородской области

Издание осуществлено  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий

и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

Редакция не вступает в переписку.

Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. Ответственность  
за достоверность фактов несут авторы  
материалов. Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов.  
При перепечатке материалов ссылка  
на журнал «Нижний Новгород»  
обязательна

Подписано к печати 21.11.2016.

Выпущено в свет 14.12.2016.

Формат 70×108<sup>1</sup>/16. Усл.-печ. л. 23,8.

Тираж 1000 экз.

Цена свободная.

Отпечатано в типографии «Растр»  
603024, Нижний Новгород,  
ул. Белинского, 61